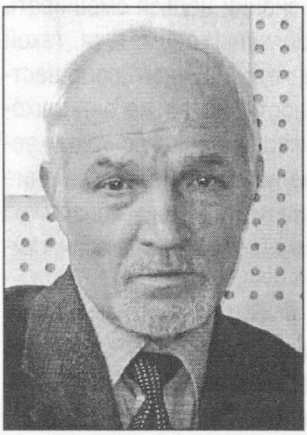
Социальное познание и ценности[1]

В. П. ФИЛАТОВ



Принято считать, что с XVII–XVIII вв. утвердился идеал ценностно-нейтральной науки: ученые своими исследованиями постоянно расширяют сферу объективного знания, ориентируясь на универсальные критерии истины, рациональности и эмпирической обоснованности. Это представление подкрепляется тезисом о том, что ученые объединены в автономное социальное сообщество, нормы которого также направляют их на получение объективного знания, свободного от вненаучных личных или групповых интересов, пристрастий и ценностей. Идеи автономии науки были положены в основу деятельности первого независимого сообщества ученых – Лондонского королевского общества, в уставе которого было записано, что его целью является «совершенствование знания о естественных предметах и всех полезных искусствах... с помощью экспериментов, не вмешиваясь в богословие, метафизику, мораль, политику»[2]. Одновременно принцип ценност-

[1] Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 06-03-00322а.

[2] Юдин Б.Г. Нормы и ценности научного сообщества // Философия и методология науки. М., 1996. С. 447.

ной нейтральности блокировал встречное вмешательство религиозно-этических и политических установок и интересов в научную деятельность.

Конечно, такое представление о некоем автономном социальном пространстве, в котором производится чистое, объективное знание, выступало лишь идеалом и очень приблизительно отражало реальную ситуацию даже в естественных науках. И генезис, и дальнейшее развитие новоевропейского естествознания сопровождались постоянным и весьма напряженным диалогом науки с религией, метафизическими и моральными доктринами, политическими идеологиями. Это проблематика достаточно прояснена в современной философии и истории науки[3]. Вместе с тем ученые-естественники единодушно соглашаются в том, что в самих природных объектах нет каких-либо ценностных измерений и что в получаемом знании нельзя смешивать факты и ценности. Разумеется, ученые обязаны держаться такой ценностно-нейтральной позиции только в рамках научного сообщества и в конкретной познавательной деятельности. Когда же они выходят на более широкий форум и выражают свое мнение по таким вопросам, как ядерная энергетика, глобальное потепление, сохранение биологического разнообразия, клонирование и т.п., они неизбежно начинают переплетать факты и теоретические положения с этическими и идеологическими оценками.

Существенно сложнее дело обстоит в социальном познании. И здесь перед учеными, поскольку речь идет о научном познании, стоит та же самая основная цель, что и в естественных науках, – получение достоверного и объективного знания. Однако реальность, которую они изучают, – индивидуальная и коллективная деятельность людей – в отличие от явлений природы насквозь пронизана ценностями. Важно также то, что ученый живет в обществе, которое он изучает. Хотя это обстоятельство, по мнению многих методологов социального познания, и дает обществоведу некоторые дополнительные познавательные возможности, которых нет у физика или химика (поскольку они не живут в мире взаимодействующих атомов или молекул), оно же создает и дополнительные проблемы. Позиция «внутри»

[3] По этим вопросам написано огромное количество работ, поэтому отметим лишь несколько отечественных книг: Косарева Л.М. Рождение науки Нового времени из духа культуры. М., 1997; Метафизика и идеология в истории естествознания. М., 1994; Белов В.А. Ценностное измерение науки. М., 2001; Сокулер З.А. Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб., 2001; Наука и религия. Междисциплинарный и кросскультурный подход. М., 2006.

изучаемой реальности с неизбежностью порождает определенное «видение» этой реальности, которое неизбежно является ценностным, «перспективным».

Нужно учитывать также факт длительного существования и развития социального знания в лоне философской, политической и религиозно-этической мысли. Все социальные и гуманитарные науки имеют в этом смысле краткую историю и большую предысторию. Об экономической науке, например, С.Н. Булгаков в статье «Народное хозяйство и религиозная личность» (1909) писал так: «Политическая экономия в настоящее время принадлежит к наукам, не помнящим своего духовного родства. Ее начало затеривается в зыбучих песках философии просветительства XVIII века. У ее колыбели стоят, с одной стороны, представители естественно-правовых учений с их верой в неповрежденность человеческой природы и предустановленную естественную гармонию, а с другой стороны – проповедники утилитаризма – И. Бентам и его ученики, исходящие из представления об обществе как совокупности разрозненных атомов, взаимно отталкивающихся представителей различных интересов»[4]. И хотя формирование социальных наук как самостоятельных научных дисциплин шло под позитивистским лозунгом их отделения от философско-этической «метафизики», размежевание с вековым «духовным родством» давалось непросто. Так, вплоть до середины XIX в. в англоязычной литературе эти дисциплины назывались «моральными науками», этот термин использовался и на континенте[5] наряду с названием «практические науки», в котором отражалась их генетическая связь с «практической философией» (этикой и социально-политической философией). В этом контексте вопрос о ценностной нейтральности подобной «моральной науки» может выглядеть достаточно странно – вроде вопроса о круглом квадрате.

Я отметил только некоторые причины, по которым спор о роли и месте ценностей в социальном познании приобретает сложный и нередко крайне запутанный характер. Чтобы более продуктивно обсуждать эти вопросы, нужно прояснить и расширить язык, на котором можно говорить о месте ценностей в научном познании. Представ-

[4] Булгаков С.Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1993. С. 343.

[5] Например, глава австрийской экономической школы К. Менгер в своих «Исследованиях о методах социальных наук и политической экономии в особенности» (1883) относит экономику к «этическим наукам» (Менгер К. Избранные работы. М., 2005. С. 324). Немецкую историческую школу национальной экономии также называли «этической школой политической экономии».

ляется, что также важно свести в эпистемологическом анализе весьма туманное и возвышенное слово «ценность» к более ясному и простому значению. Замечу еще, что в различных социальных науках – социологии, экономике, этнографии – существуют особенности в проявлении ценностей в познании. Поэтому в качестве примера здесь берется экономическая наука, в которой дискуссия о ценностях идет уже полтора века.

Сущее и должное. Принцип Юма

В философской аксиологии существует множество трактовок природы и типов ценностей[6]. Среди них можно выделить три основных подхода. Первый исходит из понимания ценности как субъективной значимости того или иного объекта для индивида или определенного сообщества людей. Второй – объективистский подход – настаивает на более независимом существовании ценностей, на том, что они являются благами самими по себе, а не конституируются лишь отношением к ним субъекта. Третье направление идет от неокантианского понимания ценностей как нормативно-целевой структуры практического разума; ценности здесь противопоставляются сущему (они «не существуют, но значат») и предстают как общезначимые образцы, выступающие условиями целеполагания в разных областях человеческой деятельности.

В современных дискуссиях о ценностях в социальном познании ценности обычно понимаются в субъективном смысле и конкретизируются через понятия сущего и должного[7]. Так звучит определение ценностей, которое дает наш известный специалист по логике оценок: «Ценность – отношение между представлением субъекта о том, каким должен быть оцениваемый объект, и самим объектом. Если объект

[6] См.: Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов. М., 1967; Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии. М., 1994; Grice P. The Conception of Value. Oxford, 1991.

[7] Очень оживленная полемика вокруг роли ценностей в связи с категориями сущего и должного велась еще в начале XX в. в немецкой социологии и экономической науке. Анализ этой дискуссии, перекинувшейся и в отечественную методологию социальных наук, дает выдающийся русский экономист Н.Д. Кондратьев в главе «Категория сущего и должного в социально-экономических науках» своей незаконченной методологической работы «Основные проблемы экономической статики и динамики» (М., 1991).

соответствует предъявляемым к нему требованиям (является таким, каким он должен быть), он считается хорошим, или позитивно ценным; объект, не удовлетворяющий требованиям, относится к плохим, или негативно ценным; объект, не представляющийся ни хорошим, ни плохим, считается безразличным, или ценностно нейтральным»[8].

Важным следствием такого понимания является то, что ценность как отношение соответствия объекта представлению о нем является противоположностью истины как отношения соответствия представления объекту. Истинностное отношение между мыслью и объектом находит свое выражение в описаниях, ценностное отношение – в оценках. Если описательное утверждение не соответствует объекту, должно быть изменено описание, а не его объект; если же оценочное утверждение не соответствует объекту, то изменению подлежит уже сам объект. Иными словами, в рамках ценностного отношения речь идет не о том, каков объект «есть», а каков он «должен» быть.

Впервые на противоположность сущего и должного в этом контексте и невозможность логического перехода от «есть» к «должен» обратил внимание Д. Юм. В «Трактате» он отмечает: «Я заметил, что в каждой этической теории, с которой мне до сих пор приходилось встречаться, автор в течение некоторого времени рассуждает обычным образом, устанавливает существование бога или излагает свои наблюдения относительно дел человеческих; и вдруг я, к своему удивлению, нахожу, что вместо обычной связки, употребляемой в предложениях, а именно *есть* или *не есть*, не встречаю ни одного предложения, в котором не было бы в качестве связки *должно* или *не должно*. Подмена эта происходит незаметно, но тем не менее она в высшей степени важна. Раз это *должно* или *не должно* выражает некоторое новое отношение или утверждение, последнее необходимо следует принять во внимание и объяснить, и в то же время должно быть указано основание того, что кажется совсем непонятным, а именно того, каким образом это новое отношение может быть дедукцией из других, совершенно отличных от него»[9].

Утверждение о том, что фактуальные, описательные утверждения сами по себе могут повлечь или подразумевать лишь другие описательные утверждения, но никак не суждения долженствования, включая ценностные суждения и этические предписания, получило назва-

[8] Ивин А.А. Ценность // Философия. Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. М., 2004. С. 968.

[9] Юм Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 2, 3. М., 1995. С. 229–230.

ние «принцип Юма» (или «гильотина Юма» за резкое размежевание сферы фактов и сферы ценностей).

В последующих философско-методологических дискуссиях сложился целый набор антонимов, с помощью которых описывались проблемы, возникающие вокруг этой дилеммы в социальном познании:

факты	ценности
есть	должно быть
объективное	субъективное
описательные/дескриптивные суждения	предписывающие/прескриптивные суждения
референтные суждения	нереферентные суждения
истинный/ложный	хороший/плохой
позитивная теория	нормативная теория
наука	практика/политика

Хотя в логическом плане эти разделения представляются достаточно четкими, в реальных научных суждениях описания и ценности нередко явно или неявно переплетены. Это связано как с природой языка, так и с тем, что за фактуальными суждениями часто скрываются завуалированные предписания и оценки. Например, суждение «плохие деньги вытесняют хорошие» из-за использования в нем оценочных слов, на первый взгляд, кажется ценностным. Между тем это одно из самых объективных и ценностно-нейтральных утверждений экономической теории. Этот закон, сформулированный Т. Грешемом еще в XVI в., предсказывает, что там, где одновременно обращаются два вида денег (например, золотые и серебряные монеты) с официально установленной стоимостью, не совпадающей с относительной рыночной стоимостью этих двух металлов, деньги с более высокой истинной стоимостью будут неизбежно изыматься людьми из оборота и сохраняться в виде сокровищ. С другой стороны, в социально-экономических науках в описательных на вид суждениях постоянно используются такие слова, как «неравенство», «свобода», «справедливость», «капиталистический» и т.п. Использование таких ценностных по своей сути понятий практически неизбежно привносит неявные оценки в фактуальные рассуждения. Ф. Хайек считает, что это происходит даже с таким относительно нейтральным словом, как «социальный», в суждениях, например, о «социальной рыночной экономике», «социальном продукте», «социальном согласии» и др. В подобных контекстах «фактическое и нормативное значения слова "социальный" из-за его явной дихотомичности постоянно меняются местами,

и то, что поначалу кажется описанием, исподволь превращается в предписание»[10].

Позитивная и нормативная наука. Критическая теория

Позитивистское по духу стремление обособить объективную, эмпирически обоснованную часть социальных наук от ценностных и идеологических суждений о том, что «должно быть», в экономической науке с середины XIX в. получило форму разграничения *позитивной* и *нормативной* экономической теории, «научной» экономической теории и практических советов по вопросам экономической политики. Впервые это появилось в работах Н. Сениора и Дж.Ст. Милля в виде различения между политической экономией как наукой и как «искусством». Позднее в книге «Предмет и метод политической экономии» Дж.Н. Кейнс (отец знаменитого экономиста) различал «позитивную науку» - систематическое знание о том, что есть, «нормативную науку», которая определяет цели экономического развития, и «искусство» как формулировку рецептов для достижения этих целей.

В своем известном методологическом эссе М. Фридмен присоединяется к этому разграничению, считая, что его затемняют лишь ангажированные «эксперты», которые склонны принимать только те позитивные выводы, которые соответствуют их предвзятым нормативным убеждениям. Сама же «позитивная экономическая наука принципиально независима от какой-либо этической позиции или нормативных суждений. Как говорит Кейнс, она занимается тем, "что есть", а не тем, "что должно быть". Ее задачей является создание системы обобщений, которые можно использовать для корректных предсказаний тех следствий, к которым приведет любое изменение обстоятельств. О ее качестве следует судить по точности, широте охвата и согласованности с реальностью тех предсказаний, которые она дает. Короче говоря, позитивная экономическая наука является или может являться "объективной" наукой точно в том же смысле, как и любая из физических наук»[11].

Хотя большинство экономистов, видимо, согласны с тем, что есть интуитивно ясное различие между чисто теоретическими положения-

[10] Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. М., 1992. С. 197.

[11] Фридмен М. Методология позитивной экономической науки // THESIS. 1994. Т. II. Вып. 4. С. 21.

ми и нормативными ценностными суждениями, граница между ними все же представляется некоторым ученым и методологам проницаемой по ряду причин. Во-первых, экономическая наука, как и любая человеческая деятельность, ориентируется на некоторые ценности. Последние, конечно, не могут быть тождественны тем, которые влияют на экономическую политику, но вместе с тем сомнительно, чтобы они принципиально отличались от ценностей и целей людей, которые принимают политические решения по экономическим вопросам. В частности, ученым-экономистам приходится более ясно формулировать и интерпретировать те неполные формулировки целей, которые обозначают политики. Во-вторых, значительная часть современной экономической науки построена вокруг теории рационального выбора, в которой понятие рациональности может приобретать ценностные смыслы. Например, это может проявляться в дискуссиях о совместимости индивидуальной рациональности как максимизации полезности с тезисом о том, что на социальном уровне максимизация общего блага может ограничиваться в свете желаемого уменьшения неравенства или соблюдения прав людей. В-третьих, приводятся данные о том, что знакомство людей с экономическими теориями, которые описывают людей как мотивированных только собственными интересами, побуждает их расценивать такое экономическое поведение более благоприятно и реально становиться более эгоистичными.

Наконец, границу между чистой теорией и экономической политикой поколебала возникшая в 1930-е гг. «новая экономическая теория благосостояния, представляющая собой нормативную экономическую теорию, якобы свободную от субъективных оценок, после чего оказалось, что различие между позитивной и нормативной экономической теорией заключалось в противопоставлении бесспорных фактов и ценностей, с одной стороны, и спорных ценностей, с другой. В результате область традиционной позитивной экономической теории была расширена за счет включения в нее чистой экономической теории благосостояния, при этом в области нормативной экономической теории остались только специфические вопросы экономической политики, где о ценностях и целях нельзя сказать почти ничего определенного кроме того, что говорят нам политики. За всем этим стоит ужасная логическая путаница, открывшая путь для массированной атаки на саму идею свободной от ценностей позитивной экономической теории»[12].

[12] Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют. М., 2004. С. 190.

Одними из первых направление для такой атаки наметили представители Франкфуртской школы, разработавшие концепцию так называемой «критической теории». Истоки этой концепции восходят к К. Марксу, который считал, что его теория дает наряду с объективным описанием капиталистической экономической системы ее критику в смысле выявления механизмов, которые приведут к отказу от этой системы и ее смене более развитой общественно-экономической формацией. Т. Адорно в известном «споре о позитивизме» с К. Поппером[13], ранний Ю. Хабермас сходным образом трактовали задачи критической теории. При этом они доказывали также, что «позитивная социальная наука» на самом деле не является ценностно-нейтральной. Эта наука, ограничивающая себя описанием того, что «есть» и не предлагающая существующему положению вещей в обществе никаких альтернатив, реально идеологически поддерживает сложившиеся условия господства человека над человеком. Иначе говоря, «свободная от ценностей» наука становится инструментом поддержки интересов тех, кому наиболее выгоден наличный социально-экономический порядок.

Эта критика не лишена определенных достоинств, однако стремление увидеть и оценить существующую социальную систему в свете более желаемой для теоретика альтернативы открывает простор для спора об идеологиях и утопических построений. Хотя и того, и другого было немало в истории социально-экономической мысли, реальный ее прогресс определяется не этим, а развитием средств анализа и объяснения. В этом плане можно согласиться с Й. Шумпетером, который призывал выделять как наиболее значимое аналитическое и методологическое ядро экономической науки и отделять его от преходящих ценностно-идеологических наслоений. «Аналитическая работа начинается с видения, а оно идеологично почти по определению. Если есть хоть какой-нибудь мотив, побуждающий нас видеть факты так, а не иначе, то можно не сомневаться, что мы увидим их так, как нам хочется... Кстати, тот, кто ненавидит свою общественную систему, вовсе не обязательно создаст более объективный ее образ, чем тот, кто ее любит. Ненависть не менее слепа, чем любовь. Единственное, что утешает, так это то, что существует широкий круг явлений, никак не затрагивающих наши эмоции и поэтому представляющихся разным людям одинаково. Кроме того, мы можем отметить, что правила и приемы анализа в той же мере независимы от идеологии, в какой наше видение пронизано ею»[14].

[13] См.: Адорно Т. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. № 10.

[14] Шумпетер Й. История экономического анализа. Т. 1. СПб., 2001. С. 51.

Внутринаучные и внешние ценности

С позицией Шумпетера сходны взгляды некоторых философов науки, которые стремятся отграничить объективные стороны социальных наук путем более внимательного анализа их ценностного содержания. Так, Э. Нагель предложил различать в социальных науках два вида ценностных суждений: характеризующие и оценивающие[15]. Первые относятся к выбору предмета исследования, эпистемологическим предпочтениям, выбору методов исследования и процедур обоснования полученного знания. Без такого рода ценностей, которые можно назвать методологическими, никакая наука не может функционировать, поскольку они входят в структуру научного исследования в качестве его неотъемлемых компонентов. Нужно отметить, что и в нашей философии науки их роль достаточно хорошо изучена, правда, в основном применительно к естественным наукам[16].

Второй вид – оценивающие суждения – включает в себя нормативные ценностные суждения о состояниях мира: о желательности того или иного человеческого поведения и его социальных последствиях, о «хорошем обществе» и путях движения к нему и т.п. Согласно Нагелю, социальные науки, как и естественные, не могут существовать без методологических ценностей, но могут освободиться или, по крайней мере, минимизировать влияние нормативных ценностных суждений как внешних для науки.

Насколько значимо такое различение между методологическими и внешними оценочными суждениями? Как представляется, в нем есть вполне реальный смысл, если рассматривать науку как коллективную человеческую деятельность. В самом деле, существуют достаточно рациональные, хотя и не дающие однозначных результатов способы обсуждения методологических и эпистемологических предпочтений и достижения определенного консенсуса в этой сфере[17]. Дискуссии же о том, каким должно быть общество или его экономическая система, носят иные формы и проходят прежде всего во вненаучной среде: от межпартийных перепалок до противостояния на баррикадах.

---

[15] См.: Nagel E. The Structure of Science. L., 1961. P. 492–495.

[16] См.: Идеалы и нормы научного исследования. Минск, 1981; Микешина Л.А. Ценностные предпосылки в структуре научного знания. М., 1990.

[17] См., например: Лаудан Л. Наука и ценности // Современная философия науки. М., 1996.

По-видимому, большинство ученых единодушны в том, что эти два типа дискуссий и, соответственно, два форума, на которых они происходят, необходимо различать. Вместе с тем есть и иные позиции, согласно которым общественные науки должны смелее выходить на внешний форум, а не замыкаться во внутренних ценностях. Например, очень страстно об этом пишет П. Бурдье: «В умах большей части образованных людей, особенно тех, кто занимается общественными науками, присутствует дихотомия, которая мне представляется совершенно гибельной: раскол между scholarship и commitment, между теми, кто посвящает себя научной работе, используя научные методы и адресуя свои труды другим ученым, и теми, кто вступает в бой, вынося свои знания за пределы научного сообщества. Это противопоставление — искусственное. На самом деле нужно быть независимым ученым, который работает по правилам scholarship, для того, чтобы производить ангажированное, легитимно ангажированное знание и вводить это знание в бой... Мне кажется, что в настоящее время у исследователя нет выбора: если он уверен, что существует определенная взаимозависимость между неолиберальной политикой и уровнем преступности, между неолиберальной политикой и признаками того, что Дюркгейм назвал бы аномией, как он может не говорить об этом? Ему не только нельзя поставить это в упрек, его нужно с этим поздравить»[18].

Интересно отметить, что несмотря на пафос позиция Бурдье по сути не столь уж отличается от проведенного Нагелем различия. Ведь *в науке,* пишет Бурдье, нужно быть «независимым ученым», работать по «правилам scholarship», «необходимо сперва представлять то, что мы считаем научным открытием, на критику коллег»[19]. Боевую позицию ученые все же занимают за пределами научного сообщества. В этом с Бурдье, вероятно, согласились бы и не любимые им неолибералы. В частности, Хайек или Фридмен, которые по одним правилам писали свои экономические трактаты, а по другим – весьма боевые и ангажированные «Дорогу к рабству» и «Капитализм и свободу».

[18] Бурдье П. За ангажированное знание // Неприкосновенный запас. 2002. № 5.

[19] Более того, Бурдье разработал весьма сложную концепцию «двойной объективации», которая нацелена на максимально полную экспликацию нетематизируемых ценностных предпосылок, что позволяет ученому занять позицию «объективного» воззрения на свой предмет. См.: Бурдье П. За рационалистический историзм // Социо-Логос постмодернизма'97. М., 1996.

Возможна ли свободная от ценностей социальная наука?

Этот вопрос, который поставил М. Вебер столетие назад, вызвал не прекращающиеся до сих пор дискуссии и породил массу ответов. Есть несколько необходимых условий и различений (часть из них была отмечена выше), при которых обсуждение этого вопроса приобретает осмысленный характер, а не превращается в неразрешимое противостояние тех, кто убежден во всецелой пропитанности социальных наук ценностями, и тех, кто верит в существование некой привилегированной позиции внутри общества (Маркс) или вне его («свободно парящий интеллектуал» Мангейма), с которой, как с островка истины, открывается объективный взгляд на социум.

Понимание того, что логический статус фактуальных и ценностных суждений весьма отличен, что целесообразно различать методологические ценности и собственно ценностные суждения, что необходимо разграничивать ценности изучаемых агентов социального действия (которые описываются в фактуальных суждениях) и ценностные предпосылки субъекта познания, что свобода от ценностей достигается не столько личным усилием мюнхаузеновского типа вытаскивать себя из погруженности в общество, сколько критическими возможностями научного сообщества, позволяет в наши дни более детально и продуктивно обсуждать вопрос об объективности социальных наук.

Достоинством веберовского подхода, который сохраняет свою значимость и сейчас, является то, что в нем не отрицалась нагруженность социальных наук ценностями и идеологическими предубеждениями, но постоянно подчеркивалась возможность и плодотворность *рационального анализа и рациональных дискуссий* о ценностях. Этот «спор о ценностях» может идти как в рамках научной дисциплины, так и на философско-методологическом уровне, когда речь идет о методологических или идеологических ценностях. Как уже отмечалось, для социальных наук характерно наличие смешанных описательно-оценочных суждений. В них оценки зависят от фактов и теоретических доводов, поэтому рациональные дебаты о спорных ценностях могут опираться на анализ фактов и конкурирующих теорий, что обычно для науки. Сложнее обстоит дело при обсуждении чистых нормативных ценностей. Но и на этом уровне возможны и полезны рациональные формы дискуссии. Так, по мнению М. Блауга, в экономической науке они принимают формы: «(1) изучения внутренней последовательности ценностных предпосылок, из которых выводятся расходящиеся нормативные суждения; (2) определения последствий этих ценностных предпосылок в свете практических обстоятельств их применения;

и (3) отслеживания фактических последствий альтернативных способов воплощения нормативных суждений»[20].

Наконец, возможен рациональный спор и по поводу идеологий. Но для этого нужно отказаться от марксистской трактовки идеологии как «ложного сознания», поскольку здесь, помимо прочего, неясен критерий отличия ложного от истинного. Это не случайно, поскольку ядро любой идеологии составляют ценностные суждения, к которым характеристики истина/ложь неприменимы. Вместе с тем идеологии являются достаточно когерентными совокупностями ценностных суждений, склонными предъявлять себя изложением фактов и их концептуальной обработкой. Это придает им убедительность, но одновременно открывает возможности рациональной критики с позиций оценки внутренней последовательности и фактуальной оправданности. Н. Луман также указывает, что в условиях все более ускоряющихся общественных перемен критический анализ идеологий облегчается их исторической изменчивостью. «При этом дело может дойти до обмена темами между правыми и левыми, так что темы, бывшие некогда консервативными, такие как культурный пессимизм, критика техники и обращение к "государству", обнаруживаются теперь главным образом в лагере "левых"»[21].

Человеческая деятельность невозможна без норм и оценок. Науки, изучающие человека и общество, неизбежно говорят не только о том, что «есть», но и о том, что «должно быть», применяют оценки и опираются на определенные явные и неявные ценности. «Ценности суть "слепые пятна", которые вооружают способностью к наблюдению и действованию. Ценностность ценности есть та позиция, исходя из которой наблюдают, требуют, ангажируются и обнаруживают себя способными к действованию... В фиксированной таким образом перспективе видят лучше (четче, глубже, а также дальше в будущее), но именно в силу этого подставляют себя также и под наблюдение со стороны других. Ценности не суть формулы согласия, напротив, они побуждают к критическому наблюдению наблюдения»[22]. Взаимодействие объективных описаний и ценностей является одним из основных механизмов, который продвигает исследования в социальных науках. Вместе с тем этот механизм работает хорошо, когда в сообществе поддерживается постоянное «критическое наблюдение наблюдения», что позволяет если не освободить науку от ценностей, то постоянно совершенствовать ее аналитические возможности в достижении объективного знания.

[20] Блауг М. Цит. соч. С. 197.

[21] Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества // СОЦИО-ЛОГОС. М., 1991 С. 202.

[22] Там же. С. 203.

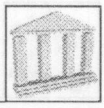
Под академической сферой исследований долгое время понимались только фундаментальные науки, лишь опосредованно связанные с потребностями общества и промышленности. Сегодня отношения между фундаментальными и прикладными исследованиями, наукой и технологией переживают существенное изменение, еще недостаточно осознанное в рамках философии науки. К такому осознанию побуждают, вместе с тем, как междисциплинарные трансформации внутри философии и наук о познании, так и насущные потребности в изменении общественного сознания и практики. Для России, в которой востребованность результатов научно-технического прогресса сильно отстает от развития науки, философское осмысление новой ситуации бытия науки в обществе отличается особой актуальностью. Статья немецкого философа Г. Бехманна вводит в контекст современных дискуссий по данной теме.

Новые формы производства знаний: проблемно-ориентированные исследования

Готтхард БЕХМАНН[1] *(Германия)*

Отношения между наукой и обществом в последние десятилетия изменились. Ориентацию на познание и объяснение, оторванную от практики искусства экспериментирования и построения теорий и соответствовавшую идеалу классической физики, можно сегодня встретить лишь в некоторых частях науки. При этом появляется новая оценка функционирования науки и научного потенциала, вследствие которой даже фундаментальные исследования – хотим мы этого или нет – должны быть релевантными

[1] Доктор Готтхард Бехманн (1945 г. рождения) является ведущим научным сотрудником Института оценки последствий техники и системного анализа Исследовательского центра г. Карлсруэ «Техника и окружающая среда», изучал правоведение, социологию и политологию в университе-



и подчиненными общественным интересам. Производство научных знаний должно непосредственно интегрироваться в процессы принятия экономических и политических решений. Тем самым возрастает значимость науки для экономики (инновации) и для политики (в качестве поставщика тем, проблем и знаний, необходимых для принятия решений). Наука увеличивает деятельностную мощь тех социальных сфер, в которые она поставляет не только объяснения, но и модели структурирования реальности и альтернативные решения.

С построением «промышленности, основанной на знании», а также возникновением научного исследования, которое поддерживается государством и имеет стратегическую и прагматическую направленность, появляются новые формы знания. По способу своей организации они не подпадают более под классическую триаду «фундаментальные исследования – прикладные исследования – коммерциализация». Кроме того, полученные научным путем опытные знания трансформируются с их помощью в контролируемые знания для принятия решений. К такого рода исследованиям относятся в первую очередь экологические исследования, например климатических изменений, направленные на прояснение механизмов и предсказание их возможных воздействий на современное общество и его дальнейшее развитие, а часто и существование.

В науке, которая ориентирована на решение социальных проблем, развиваются новые формы производства научных знаний. В нашем случае важны два заметных изменения: изменение способа организации и изменение установки по отношению к политике.

Важнейшей организационной формой науки, которая пронизывает сегодня все исследовательские области и научные дисциплины, является «проектная» форма. Проектное исследование является вклю-

---

тах Франкфурта-на-Майне и Западного Берлина, член правления Международной академии устойчивого развития и технологий. Основная область исследований: философия техники, исследование риска, социология науки, теория общества, методология экологических и инновационных исследований. Выборочный список некоторых последних публикаций: Bechmann G. Risiko und Gesellschaft. Opladen, 1997; Banse G., Bechmann G. Interdisziplinäre Risikoforschung. Opladen, 1998; Bechmann G. Natur als Eigenwert der Gesellschaft? // Halfmann J. (Hrsg.). Technische Zivilisation. Zur Aktualität der Technikreflexion in der gesellschaftlichen Selbstbeschreibung. Opladen, 1998. S. 73–92; Bechmann G., Frederichs G. Environmental Research between Knowledge and Organisation // René von Schomberg (Hrsg.). Democratising Technology: Theory and Practice of Deliberative Technology Policy. Hengelo, Buenos Aires, 1999. P. 71–91; Bechmann G. Alteuropa und Wir. An Essay on Niklas Luhmann's «The Society of Society» // Associations. 1999. № 3. P. 11–21; Bechmann G., Stehr N. Risikokommunikation und die Risiken der Kommunikation wissenschaftlichen Wissens – zum gesellschaftlichen Umgang mit Nichtwissen // GAIA. 2000. H. 3. S. 14–22.

чением научной деятельности в заранее определенные временные рамки (проект имеет начало и конец) и делает ее в плане организации зависимой от других общественных сфер. Проекты являются во временном отношении лимитированными, финансово ограниченными, а в конце должны быть произведены вполне определенные результаты, которые могут оказать влияние на приложения. При этом методологический характер науки на социальном уровне преобразуется в некую организационную проблему.

Вследствие этого исследование становится эпизодическим и принципиально не завершенным. Его высказывания являются достоверными лишь в плане соответствующего состояния организации данных и развития теории и поэтому находятся всегда под знаком их будущей ревизии.

С точки зрения вышеуказанной перспективы междисциплинарность необходимо понимать не иначе, как координацию процессов принятия решений с организацией и интеграцию состояния знания и исследовательской активности. В результате от исследования требуется не только научное понимание мира, но и определение того, что мы хотим знать и что в данный момент является важным. Через организацию исследования, таким образом, просматривается селективность научно произведенного знания. Знание зависит от организационных факторов и само является зависимым от принятия решений.

Аналогичным образом изменяется и соотношение науки и политики. Раньше наука была односторонне связана с собственными внутренними проблемами построения теории, разработки методов или фундаментального исследования. В противоположность этому современная наука выступает как деятель, как Кассандра, принимающая меры.

Принцип науки Нового времени, обеспечивший ей успех, а именно возрастание продуктивности через дисциплинарное разделение научного труда, не способен разрешить новые проблемы, стоящие перед современной наукой. Что же представляют собой эти «новые проблемные темы», которые заставляют науку так глубоко переориентироваться?

Обычно при этом указывают на возросшую сложность новых проблем, которая прорывает все дисциплинарные границы. Однако не существует никакого единого критерия и мерила этой «сложности». Можно, конечно, понимать под ним, например в духе комбинаторики, число возможных связей между элементами одного множества. Если перенести это представление на современные проблемные темы, то речь должна идти о числе возможных тематизаций частичных аспектов и подаспектов. Под сложностью интуитивно также понимают непрозрачность и непрогнозируемость предметных отношений, касающихся этих тем, так что комбинаторный масштаб сложности приводит

к утверждению, что каждое предметное отношение, интуитивно обозначаемое как сложное, является бесконечно сложным.

В этом месте обычно приводится указание на то, что развитие физики точно отражает данный феномен. Рассуждения о линейной картине мира классической физики, которая может свести сложность макроскопических природных явлений к простым структурам микромира, разбиваются современной микрофизикой с ее универсумом сверхсложных предметных отношений. Тем самым опровергается аргумент о большей сложности современных проблем, поскольку старые проблемы, точно так же как и новые, «бесконечно сложны». Собственно различие заключается в способе тематизирования. В сущности «новое» здесь в том, что нет возможности втиснуть такого рода тему в определенные, приемлемые для всех рамки.

Одним из примеров такого теоретизирования являются экологические исследования.

1. Экологические исследования: когнитивные изменения

Экологические дискуссии в 80-е гг. XX столетия претерпели два важных сдвига в своем развитии, которые привели к значительным изменениям в исследовательской сфере. Со стороны политики их инициировало обсуждение проблем устойчивого развития, а со стороны науки – исследование глобальных изменений.

Введение в политический оборот «устойчивого развития» способствовало новому осмыслению экологических, социальных и экономических перспектив в рамках общей концепции. При всей неточности и разнородности определений понятия устойчивого развития эти дебаты позволили найти новую точку отсчета для глобально-ориентированной экологической политики. Слово «глобальный» означает в данном случае следующее: в международную деятельность привносится растущий разрыв между богатством развитых стран и бедностью стран третьего мира, что приобретает новый поворот в контексте необходимости справедливого решения проблем окружающей среды. Новый аспект рассмотрения заключается здесь, собственно говоря, в мысли о том, что обращение с природой представляет собой неотделимую часть общего социального развития. Тем самым экологическое мышление претерпевает решающее изменение: преодолевается защитный характер экологической политики, которая приобретает ориентацию на перспективную социальную политику. Перед экологическими исследованиями возникает задача рассматривать во взаимосвязи экологические, социальные и экономические отношения и представить политикам конкретные результаты, способные служить

долгосрочному и экологически справедливому развитию. Все это побуждает придать таким исследованиям междисциплинарный и интегративный характер и одновременно осознать, что полученные знания должны служить организации деятельности.

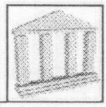
Экологические исследования глобальных изменений также оказали существенное влияние на дебаты по проблемам окружающей среды. Уже в концепции устойчивого развития оговаривается глобальный характер экологической политики в тесной взаимосвязи с результативными локальными действиями. Это делает необходимым учет международной политики и включение глобалистики в мировые проекты исследовательских организаций. Каждое такое исследование становится неотделимой составной частью вновь формируемой исследовательской области, которая выходит за рамки собственно экологического исследования. В отличие от дебатов по проблемам устойчивого развития, направленных на разработку позитивной концепции и критериев и целевых индикаторов для определения ориентации социальных действий, исследование глобальных изменений отталкивается от антропогенных изменений в природе и нацелено на анализ негативных последствий производственной деятельности. Такое исследование будет, кроме того, рефлексивным, поскольку оно изучает обратные воздействия социальных действий на общество. Изменение климата, засоление почв, сокращение биоразнообразия, уничтожение лесных массивов – все это следствия человеческого воздействия, управлять которым возможно лишь с помощью принятия дальнейших решений.

Устойчивое развитие и исследование глобальных изменений, таким образом, с необходимостью ведут к акцентированию внимания во вновь формирующемся сегодня экологическом исследовании на двух конституирующих его проблемах:

(1) экологические проблемы должны быть в глобальной перспективе тематизированы в плане интегративного, междисциплинарного подхода;

(2) природа не должна более рассматриваться как нечто отделенное от общества, а способ обхождения с ней представляет собой социальное решение.

Если вышесказанное является верным, то экологическое исследование приобретает центральное место в связи с модернизацией общества. Оно должно изучать, во-первых, сложные отношения между общественным развитием и изменениями в окружающей среде, во-вторых, перед ним выдвигается проблема привнесения этих знаний в процесс принятия решений. Его обратная связь с политикой или иными важными областями деятельности делает его проблемно-ориентированным и тесно связанным с практикой и наукой. Обществен-



ная роль науки в рамках экологического исследования и экологической политики претерпевает тем самым существенное преобразование.

Важнейшей организационной формой науки, как уже было отмечено выше, является «проектная» форма. Прежде всего это относится к экологическому исследованию, но, естественно, и к другим областям науки. Для него междисциплинарность следует понимать как координацию процессов принятия решений. Научно произведенное знание зависит от его организационных факторов и само является зависимым от принятия решений. Соответственно, в рамках экологического исследования изменяется и соотношение науки и политики. То, что в 70-е гг. XX столетия зародилось как движение критического знания и альтернативных экспертов, сегодня превратилось в научную систему.

Для иллюстрации этого тезиса особенно подходит пример с изменением климата. В принципе изменение климата происходит всегда, оно может быть или глобальным, охватывающим огромные временные рамки, или связанным с региональным микроклиматом в относительно короткие временные интервалы. Чтобы политизировать проблему изменения климата, т.е. сделать его предметом регулирования, необходимо прежде всего провести различие между естественным и антропогенным изменением. Если до сих пор целью классического естественно-научного исследования была «природа» климата, которую фактически нужно было наблюдать для того, чтобы лучше понять и в конечном счете вывести из этого наблюдения объяснения, а, возможно, и законы, то темой исследования последствий (изменения) климата главным образом становятся антропогенные факторы, и само изменение климата рассматривается лишь с точки зрения возможного его регулирования. Климат и раньше, по-видимому, во всей его сложности и долгосрочном изменении был доступен человеческому пониманию. Однако, сегодня, поскольку выявлены антропогенные причины климатических изменений, появляется возможность реальной политической ответственности и адекватного регулирования отношений. Поэтому изменение климата из природного предмета внезапно было переформулировано в политический или социальный конфликт и стало общественным отношением, которое может быть подключено к дальнейшему исследованию или политическим решениям.

Перевод природного объекта в культурный, социальный или политический объект приводит к повышению сложности этого объекта. Можно, например, провести различие между сегодняшними и будущими последствиями той или иной причины и можно с помощью исследования по-новому рассчитать как локальные, так и глобальные

такого рода последствия. Речь идет не о принятии решений в области научных задач, а о подготовке описаний или планов и о предложении конкретных действий. Решающей новацией оказывается то, что наука в контексте политики определяет реальное содержание соответствующей проблемы и ее возможные следствия. Кроме того, от нее ожидают рассмотрения возможностей решения этой проблемы.

Тем самым наука покидает традиционно предписанную ей область компетенции и становится конкуренткой политике. В тот момент, когда наука преобразует опасность, т.е. возможность вероятных негативных следствий независимого от человека климатического изменения, в риск (именно потому, что она показывает социальные причины этого изменения и приписывает их возможным негативным последствиям общественных решений), она поджигает фитиль взрывоопасной смеси науки и политики. С помощью компьютерного моделирования, расчета расходов и социально-научной техники прогнозирования определяются подлинные причины климатических изменений, а на политическую систему оказывается давление для принятия решений.

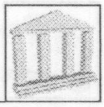
То, что было показано на примере климатической политики, может быть легко продемонстрировано также на проблематике биоразнообразия, засоления почв, в принципе на примере всех тем исследования глобальных изменений: везде там, где природные изменения приписываются результатам человеческой деятельности, возникает спираль знания и решения.

Мы уже неявно указали на когнитивные изменения, которые возникли вместе с вышеописанными структурными изменениями. Направленное на познание природы экологическое исследование расширяется с помощью двойственной рефлексии: во-первых, рефлексии социальных действий в качестве причины для процессов изменения в природе и, во-вторых, рефлексии производства знаний, в котором они осознаются в качестве политических действий.

Было бы ошибкой считать, что эта рефлексивность исследования приписывается компетенции одной лишь социальной науки, соответственно представлению о том, что социальные науки отвечают за все, что относится к так называемой антропосфере.

И с естественно-научной точки зрения почти неоспоримо признается, что проблемная область, обозначаемая как «окружающая среда», «изменение климата» и «устойчивое развитие», выдвигает новые требования к исследованию. На это указывает всего лишь одно требование междисциплинарности, согласно которому признается, что принцип дисциплинарного разделения научного труда более не соответствует новым задачам современной науки.

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать следующее: тезис когнитивного изменения экологического исследования в смысле



его рефлексивности подтверждается наблюдениями за новыми организационными формами научного консультирования политики.

2. Размышления по поводу научного статуса социальной оценки техники

С развитием современных технологий возникают новые виды рисков и опасностей, которые ставят перед государством задачи не столько компенсаторные, связанные с устранением уже нанесенного ущерба, сколько *превентивные*. Появляется необходимость в долгосрочном планировании, которое должно относиться как к предвосхищению новых технических возможностей, так и к расчету и устранению рисков. Чтобы правильно решить эти задачи, государство должно мобилизовать достаточный научно-технический потенциал. Иными словами, возникает тесная связь науки и политики, которая и выражается, в частности, в форме *социальной оценки техники* как вида научно-технически-политического консультирования[2].

Обеспокоенность общественности разрушением природных экосистем и возможными негативными последствиями научно-техниче-

[2] Мы переводим англоязычный термин «Technology Assessment» и немецкое понятие «Technikfolgenabschätzung» как *социальная оценка* техники и технологии, поскольку в русском языке трудно найти иной аналог этому словосочетанию. Однако в данном случае имеется в виду более широкий контекст, а именно междисциплинарное исследование и комплексная оценка социально-философских, социально-политических, социально-экономических, социально-экологических и других последствий техники и технологии, или (еще более точно и более широко) научно-технического и хозяйственного развития. При этом следует добавить – с целью достижения *устойчивого* научно-технического и хозяйственного развития общества на всех его уровнях, начиная от уровня предприятия и кончая уровнем народного хозяйства страны, группы стран или мировой динамики развития общества в целом. Кроме того, выражение «*оценка последствий* техники» также является неточным, поскольку сегодня говорят уже не только об оценке и исправлении, но и о предотвращении возможных негативных последствий технического развития. Проблема заключается только в том, что люди не всегда достаточно точно могут предсказывать и прогнозировать такого рода последствия. Речь может идти, скорее, о проигрывании возможных сценариев технического развития, некоторые из которых могут быть реализованы, а другие предотвращены с целью уменьшения риска для общества и будущих поколений. Такого рода оценка должна быть не только междисциплинарной, но и интернациональной, в особенности когда речь идет о социокультурных проблемах *передачи технологии*, например о проблеме трансформации социальных структур при внедрении новых технологий. И чем на более

ского развития привела к усиливающемуся давлению на политические круги с целью приостановить дальнейшую технизацию общества и сопутствующую ей сциентификацию. Однако управление этими процессами без участия современной науки просто невозможно. Таким образом, наука в глазах общественности становится не только причиной всех экологических бед, но помощником в их преодолении. Это приводит к изменению сложившегося за последнее столетие взаимоотношения между наукой и обществом. Именно потребность в такого рода исследованиях, возникающих на пересечении науки и политики и имеющих своим предметом интерфейс между наукой, техникой и обществом, можно считать индикатором определения нового положения науки в современном обществе. Эти исследования и можно назвать «проблемно-ориентированными исследованиями».

Задача проблемно-ориентированного исследования техники формулируется не с внутринаучной точки зрения, а в первую очередь основывается на социальных ожиданиях. Причем «проблемные области» составляют как бы ядро науки, вокруг которого организуются научные знания. Понятие «проблема», или «проблемная область», заключает в себе при этом уже некоторую наперед заданную эвристическую схему, поскольку постановка проблемы предполагается как исходный пункт такого рода исследования. Проблемно-ориентированное исследование не может ждать, когда будут выяснены фундаментальные основания данной исследовательской области, чтобы затем на базе хорошо проверенной теории собрать данные и выработать предложения. Напротив, оно должно даже при наличии неясного теоретического базиса попытаться на основании научных методов достаточно гибко и аргументированно представить решение.

Возникновение и потребность в исследовании, которое в связи с этими проблемами (имеются в виду проблемы социально-экономической, социально-экологической и других оценок последствий технического развития. – *Прим. ред. пер.*) институализируется на границе между наукой и политикой, можно рассматривать в качестве индикатора нового определения роли науки. Эту тему, обсуждаемую сегодня в самых различных сферах нашего общества, мы и обозначим как проблемно-ориентированное исследование. Дебаты об окружающей

ранних стадиях проводится такая оценка, тем шире «раструб» выбора из «воронки» возможных сценариев научно-технического развития, тем больше набор вариантов принимаемых решений, позволяющих избежать или, по крайней мере, уменьшить негативные последствия разрабатываемой техники, и тем дешевле обходится корректировка уже приятых решений, инициирующих такого рода последствия, но меньше вероятность и точность их прогнозирования и предсказания. – *Прим. ред. пер.*

среде являются одновременно и дебатами об общественной роли науки. Поэтому под проблемно-ориентированным исследованием понимается гораздо большее, чем просто постановка проблемы с методологической точки зрения или с позиций научной политики. Речь идет о социокультурном понимании науки.

Новое в такого типа научном исследовании заключается именно в осознанном понимании того, что, несмотря на всю зыбкость и ненадежность научного производства знаний, именно наука предоставляет единственно легитимный способ получения нового знания в современном обществе. Ее задача заключается в очерчивании границ и осознанном управлении этой неопределенностью научных знаний. Но в современном обществе это означает постоянную коммуникацию с общественностью и политическими кругами и корректировку научного производства знаний в соответствии с этими дебатами.

Предметом исследований по социальной оценке техники может быть, с одной стороны, новая или еще находящаяся в стадии разработки техника, а с другой стороны, уже давно известная техника, которая должна получить значительное распространение или модифицироваться. При этом само понятие техники трактуется в расширительном смысле, охватывая технические проекты, методы и продукты, а также так называемые «социальные технологии», т.е. специфические формы организации, модели участия в руководстве и варианты налогообложения.

Исследования по оценке техники можно разделить на три типа в соответствии с тем, чем они инициированы – проектом, технологией или проблемой.

Проектно-индуцированные исследования в области социальной оценки техники обращены к последствиям технического применения в какой-либо специфической области, например, размещения промышленного предприятия в районе «X» или включения города «Y» в новую транспортную систему.

Индуцированные технологией исследования в области социальной оценки техники рассматривают потенциал и тенденции технического развития. Их предметом являются различные сферы и формы применения, а также соответствующие им воздействия и риски.

Наконец, *проблемно-индуцированные* исследования в области социальной оценки техники ориентированы на анализ направленности научно-технического прогресса. Их предметом являются альтернативные возможности решения экологических, экономических и социальных проблем через развитие новой или через применение уже имеющейся в распоряжении техники.

Такое различение в значительной степени является теоретическим, поскольку на практике очень часто имеет место комбинация названных типов исследований в области социальной оценки техники.

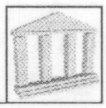
Длительные дебаты о парламентской институционализации оценки техники могли создать впечатление, что только законодатель может рассматриваться в качестве адресата исследований в области социальной оценки техники. Однако это не соответствует действительности. Именно в Германии социальная оценка техники до сих пор была преимущественно делом исполнительной власти, особенно Федерального министерства научных исследований и технологии, где еще в 1982 г. был учрежден Отдел «Оценка техники и будущие задачи». Вскоре на уровне федеральных земель и общественных ассоциаций также получили свое развитие и частично применение множество функционально-эквивалентных концепций оценки техники. В качестве примера можно привести основание Академии по оценке техники в Земле Баден-Вюртемберг, учреждение Парламентского комитета «Человек и техника» при ландтаге Земли Северный Рейн-Вестфалия и объявление Программы по оценке техники в Земле Нижняя Саксония. В «распространении оценки техники вширь» некоторые авторы[3] видят особенность, отличающую в этом плане Германию от других стран.

Для социальной оценки техники спектр воздействий, подлежащих идентификации, анализу и оценке, в принципе ничем не ограничен. Наряду с экологическими, экономическими, техническими последствиями необходимо рассмотрение институциональных и социальных аспектов (влияние на культурную систему ценностей, социальные структуры, политическую, правовую и административную системы), а также обратного воздействия социальных процессов на техническое развитие.

Качественно новый аспект, отличающий оценку техники от таких инструментов, как, например, расчет экономической осуществимости, а оценку воздействия на окружающую среду от обычных секторально-ориентированных процедур лицензирования, состоит в интегративном подходе. Воздействия должны рассматриваться не изолированно, применительно к какой-либо одной сфере (например, экономике) или среде (например, воде), но в комплексе, в рамках общего баланса. Посредством такого «синоптического» способа рассмотрения необходимо преодолеть или, по крайней мере, уменьшить «принципиальное расхождение между проблемной взаимосвязью и специальным характером законов, организаций и методов»[4].

[3] См.: Naschold, Technikkontrolle und Technikfolgenabschätzung // Hochschule St.Gallen für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften / Aulavorträge. 1989. V. 46. Mai. S. 12f.

[4] Wahl, Thesen zur Umsetzung der Umweltverträglichkeitsprüfung nach EG-Recht in das deutsche öffentliche Recht // DVBl. 1988. S. 87.



Следует подчеркнуть, что социальная оценка техники учитывает также и позитивные эффекты, хотя основная задача обоих инструментов состоит в анализе непреднамеренных негативных последствий. Особое внимание при этом уделяется кумулятивным и синергетическим эффектам, т.е. таким, которые связаны уже не с отдельной технической системой, но с ее более широким применением и совместным функционированием с другими системами. Наряду с прямыми рассмотрению подлежат косвенные последствия, действие которых растянуто во времени или проявляется на большой пространственной дистанции, а также воздействия изменений в одной среде на другую среду, неквантифицируемые воздействия и такие эффекты, реакция на которые не предусмотрена ни одним нормативным актом.

Социальная оценка техники характеризуется, помимо высоких требований к практической реализации, повышенными требованиями к себе самой. Комплексность проблем, с одной стороны, и лимит времени, финансовых и персональных ресурсов, с другой, исключают всеохватывающий анализ всех возможных последствий. Между участниками процедур оценки прежде всего достигается консенсус по вопросу о том, какие области воздействий в каждом конкретном случае подлежат первоочередному детальному рассмотрению, а какие являются менее значимыми и потому возможен их менее глубокий анализ. Соответствующее прояснение также необходимо в отношении рассматриваемых альтернатив и применяемых методов.

Важнейшее значение для эффективности методов социальной оценки техники имеет разработка альтернатив, описание их преимуществ и недостатков. Для обеспечения возможности рационального выбора между различными вариантами совершенно недостаточно одной изолированной оценки соответствующего проекта. Напротив, в исследовании возможных вариантов технического развития должны также рассматриваться дополняющие или конкурирующие технологии.

Помимо расширения информационного базиса, сопоставление альтернатив имеет также важную методологическую функцию, поскольку при недостаточности стандартов, критериев и масштабов оценка проектов сталкивается с серьезными трудностями. Только рассмотрение большего количества альтернатив делает достаточным следующее высказывание: альтернатива «А» предпочтительнее альтернативы «В» с точки зрения совместимости с природной и социальной средой. Подобные высказывания можно встретить очень часто. Дискуссия об альтернативах задает, по крайней мере, некоторый масштаб для их сравнения.

Установление «объективных» критериев для отбора приемлемых альтернатив столь же проблематично, как и установление критериев для определения релевантных областей воздействий. То и другое

является задачей в каждом конкретном процессе согласования между исследователем и заказчиком при участии третьей стороны.

Центральным рабочим принципом исследований в области социальной оценки техники является междисциплинарность. Если учесть, что область рассматриваемых последствий в рамках процедуры оценки техники весьма широка, спектр дисциплин, участвующих в исследовании по социальной оценке техники, как правило, также является широким.

Исследования по социальной оценке техники определяются правилами научной работы. Это означает, что они исходят из актуального уровня научного познания, что они должны отличаться «методологической строгостью, последовательностью аргументации и отсутствием логических противоречий»[5]. Однако в контексте социальной оценки техники, как уже было сказано, не существует «объективных», фактически обоснованных критериев, а постановка вопросов, решения относительно методики и интерпретация результатов всегда в значительной мере отражают набор приоритетов и ценностные суждения участников исследования. Поэтому чтобы сделать исследование проверяемым и исполнимым третьей стороной, необходимо полностью эксплицировать лежащие в его основе предположения и их обоснования. Социальная оценка техники не становится из-за этого менее субъективной, но делает возможным интерсубъективное взаимопонимание, что позволяет говорить об «объективированном» подходе.

Социальная оценка техники отличается значительной ненадежностью в плане прогноза потенциальных последствий. В связи с этим в интересах большей транспарентности формулируется требование указать на существующие трудности теоретического характера, недостаточность знаний о причинно-следственных связях, информационные пробелы.

По причине взаимозависимости общественного и технического развития социальная оценка техники не может вовсе отказаться от элементов «спекулятивности» и «пророчества». Голая экстраполяция существующих тенденций здесь не может помочь, поскольку она игнорирует вероятные в будущем изменения существующих сегодня рамочных условий. Выход из этой прогностической дилеммы – в использовании метода сценариев. Сценарии представляют собой предвосхищающие описания *мыслимого будущего*. К ним не предъявляется требование предсказаний в традиционном смысле, но они должны попытаться определить основные параметры возможного развития. Исходя из распознаваемых детерминант развития, существующих условий деятельности и различных шкал предпочтений, они выявляют

[5] Der Bundesminister für Forschung und Technologie, Memorandum zur Technikfolgenabschätzung. Bonn, 1989. Juni. S.15.

альтернативные пути развития. Они, так сказать, предоставляют в распоряжение «ящик с инструментами», с помощью которого различные группы могут симулировать то или иное будущее развитие. Такие «нормативные» подходы в оценке техники приобретают сегодня все большее значение по сравнению с «экстраполятивными» подходами.

Социальная оценка техники пользуется стандартным методологическим инструментарием, но исходит из «методологического плюрализма». В силу необходимости в каждом случае применяются соответствующие ему качественные или количественные методы из арсенала различных научных дисциплин: контрольные листы, матрицы, анализ экологического риска, анализ экономической эффективности, симуляционные модели, анализ взаимосвязанных процессов и т.д.

С точки зрения эффективности весьма желательна как можно более тесная кооперация между исследовательской организацией и заказчиком исследования. В то же время такое интенсивное взаимодействие «аналитиков» с инстанцией принятия решений, т.е. взаимодействие науки и политики, отнюдь не беспроблемно. С одной стороны, оно приводит к подрыву научной независимости и объективности исследований. С другой стороны, прямое влияние экспертного знания на лиц, принимающих решения, способно поставить под сомнение «примат политики». В парламентских дебатах о социальной оценке техники вновь и вновь возникает призрак «демократии компетентности».

Сравнительный анализ международного опыта позволяет выявить двадцать четыре различных формы институционализации социальной оценки техники[6]. Однако все эти формы можно свести к четырем основным типам институционализации[7]:

- *модель ведомства* при парламенте по образцу бывшего ныне закрытого американского Бюро по социальной оценке техники;
- *модель секретариата* в структуре законодательной власти, основная задача которого состоит в координации работы внешних организаций по социальной оценке техники;
- *модель комиссии*, созданной с определенной целью на ограниченный период времени, в работе которой совместно участвуют парламентарии и сторонние эксперты;
- *модель экспертного совета*, в который входят независимые эксперты, консультирующие парламент по вопросам технологической политики.

Социальная оценка техники исходит сегодня из комплексного и динамического понимания техники. На место технического детерми-

[6] Böhret F. Technologiefolgenabschätzung. Institutionelle und verfahrensmäßige Lösungansätze. Frankfurt, N. Y., 1982.

[7] См.: Naschold, Technikkontrolle und Technikfolgenabschätzung. P. 17f.

низма, рассматривающего техническое развитие как процесс, развивающийся по своим собственным законам, приходит понимание техники как социального процесса, в который вовлечены самые разные субъекты (политика, наука, предпринимательские круги, общественность). Техническая система возникает как продукт множества актов коммуникации, достижения консенсуса и принятия решений всеми участниками, ни один из которых не может нести за это единоличной ответственности.

Инновации и распространение технических конструктов в современных индустриальных государствах жестко институционализированы. Не отдельный гениальный изобретатель или влиятельный предприниматель являются носителями технического развития, но именно они обеспечивают его ускорение в рамках взаимодействия экономики и науки под протекторатом политики. Инновационный процесс становится тем самым перманентным предприятием, темп которого существенно ускоряет техническое развитие. В связи с этим концепция оценки техники не может ограничиваться лишь пунктуальным анализом свершившихся инноваций. Социальная оценка техники реализуется как непрерывный процесс управления и корректировки, сопровождающий техническое развитие в целом[8].

Социальная оценка техники сегодня в основном ограничивается спорадическим участием заинтересованных групп в слушаниях по отдельным проектам. Группы участников, если они вообще имеются, включают представителей таких заинтересованных кругов, как церковь, профсоюзы и другие крупные организации. Но фактически сегодня нет оснований говорить о широкой вовлеченности общественных групп в решение информационных, коммуникационных и организационных проблем. Ограничение практики участия связано также с опасением, что активизация общественных дискуссий о технической политике может привести к появлению системы, где право решающего голоса получит любой представитель общественности.

В характерном для участия общественности конфликтном потенциале усматривают[9] причину того, что инновативные формы участия практически нигде не получили развития. Доминирующей остается американская модель социальной оценки техники с присущей ей редукцией к консенсусу экспертов и японская модель, ориентированная на консенсус элит. Лишь в Швеции и Нидерландах до сих пор ап-

[8] См.: Ropohl G. Technikbewertung als gesellschaftlicher Lernprozeß // Ropohl G., Schuchardt W., Wolf R. (Hrsg.). Schlüsseltexte zur Technikbewertung. Dortmund, 1990. S. 199 ff.

[9] См.: Naschold, Technikfolgenabschätzung und -bewertung: Entwicklung, Kontroversen und Perspektiven // Ropohl G., Schuchardt W., Wolf R. (Hrsg.). Schlüsseltexte zur Technikbewertung. S. 175f.

робируется модель участия, в которой в качестве функции социальной оценки техники рассматривается инициатива коллективных дискуссий.

Оценка результатов исследования является существенной проблемой для социальной оценки техники. Проблема эта лишь отчасти связана с ненадежностью прогноза, теоретическим дефицитом, недостатком знаний о причинно-следственных связях и т.д.

При социальной оценке техники суждение о том, что позитивно, что негативно и что приемлемо, зависит в первую очередь от обозревателя, его ценностной ориентации и интересов. Не существует универсального, общеприменимого ценностного масштаба, поскольку отсутствует общественный консенсус в отношении желаемого технологического развития. Если в отношении самого спектра основополагающих ценностей в обществе существует широкое согласие, то при их конкретизации обнаруживаются существенные расхождения между различными индивидами или группами. Прогнозируемые последствия могут поэтому оцениваться в свете различных иерархий ценностей, которые соответствуют структуре предпочтений различных общественных групп. Результаты этих отдельных актов оценки затем находят отражение в исследованиях в области социальной оценки техники.

Естественно, что в исследованиях в области социальной оценки техники присутствовали самые разные подходы к разработке общих критериев оценки приемлемости или социальной совместимости техники, которые, однако, рассматриваются сегодня весьма критически. Это относится как к попытке определить основные общественные цели с помощью экспертных комиссий, так и к попытке эмпирически выявить различные ценностные предпочтения и с помощью математических методов начертить некую схему принятия решений. Помимо теоретических возражений против подобных концепций, нужно учитывать, что ценностные представления не являются константой, но сами находятся в состоянии непрерывного изменения. То, что сегодня кажется приемлемым большому числу граждан, завтра может быть отвергнуто большинством. Согласование расходящихся интересов возможно только в порядке компромисса, к достижению которого всегда необходимо стремиться в политической практике.

Трудности, связанные с операционализацией понятия социальной совместимости техники, инициировали предложение использовать *негативные критерии* для оценки альтернативных вариантов действий. Этот подход вытекает из идеи о том, что если нельзя достичь общественного консенсуса в отношении *желательных* вариантов

технологического развития, то во всяком случае можно прийти к согласию относительно того, что считать *нежелательным*[10].

Однако разработанные на этой основе критерии остаются весьма абстрактными. Они сводятся к рекомендации избегать решений, которые

- трудно оценить в плане их рискованности,
- не могут быть приспособлены к вновь возникающим потребностям,
- имеют необратимые последствия,
- существенно ограничивают возможности выбора для будущих поколений.

Исследования по социальной оценке техники должны способствовать совершенствованию механизма принятия решений, но вместе с тем они не могут заменить самих политических решений. Следует также учитывать, что осуществление таких исследований как чисто академического мероприятия не даст никакого эффекта с точки зрения подготовки и принятия решений. Однако до сих пор отсутствует ясное понимание той роли, какую они могут играть в различных процедурах принятия решений.

При социальной оценке техники учет результатов исследования зависит исключительно от воли субъекта принятия решений. Представление, согласно которому научные результаты должны получить прямое отражение в административном или законодательном регулировании (*«инструментальное применение»*), является слишком узким. В числе возможностей практического использования результатов исследований в области социальной оценки техники необходимо назвать:

- проведение мониторинга использования или дальнейшего развития технологии;
- инициатива дальнейших исследований;
- перенос техники в другую область применения;
- осуществление контрольных мероприятий (нормы, запреты, налоги и т.д.);
- блокирование дальнейшего развития в связи со значительной опасностью.

Наличие релевантного решениям знания еще не гарантирует его применения. Даже если оценка техники способна обеспечить предоставление своевременной достоверной информации в смысле систе-

[10] В. Циммерли говорит в этой связи о необходимости разработать и обосновать «оборонительную этику» в противовес «наступательной этике» научно-технического прогресса. См.: Zimmerli W. Prognose und Wert: Grenzen einer Philosophie des Technology Assessment // Rapp F. Durbin P. T. (Hrsg.). Technikphilosophie in der Diskussion. Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg, 1982. S. 151.

мы раннего предупреждения, это не дает оснований предполагать, что она могла бы стать первичным исходным пунктом нахождения конкретных решений. Субъект принятия политических решений исходит в первую очередь не из эффективного решения проблем, а из выгод и задач сохранения власти. В таком преобладании «политической рациональности» Ренате Майнц видит главную причину рестриктивного учета информации, предоставляемой исследованиями по социальной оценке техники[11]. Это ведет к тому, что исследования в области социальной оценки техники только тогда и лишь постольку находят применение в политическом контексте, когда они служат поставленным целям. Вместо того чтобы быть основой решений, результаты оценки техники зачастую используются для оправдания принятия или непринятия решений (*«оправдательное применение»*).

Такая критическая оценка возможностей учета результатов исследований в области социальной оценки техники в процессе политического волеизъявления не исключает позитивного эффекта. Он состоит в том, что социальная оценка техники позволяет выявить дополнительные перспективы и варианты действий, указывает на прежде не учтенные или не выявленные воздействия и тем самым расширяет проблемный кругозор субъекта принятия решений (*«концептуальное применение»*). Наконец, связанные с оценкой техники высказывания типа «если–тогда», учитывая их доступность пониманию общественности, могут стимулировать процесс общественных дискуссий и обучения. В ходе этого процесса может быть выявлена необходимость изменения образа действий, чтобы избежать определенных негативных последствий.

Сегодня социальная оценка техники исходит из комплексного и динамического понимания техники. По сравнению с 1960-и гг. техническое развитие понимается не как автономное от общественных норм, ценностей и интересов, но как определенный социальный процесс. Техническая система возникает как продукт многозначного процесса коммуникации, достижения консенсуса и принятия решений всеми вовлеченными в этот процесс сторонами. Из этого следует, что концепция оценки техники не ограничивается тщательным анализом уже состоявшихся инноваций, но выступает как непрерывный процесс управления и корректировки, сопровождающий техническое развитие в целом.

Социальная оценка техники представляет собой инструмент политического консультирования, который не может ограничивать свободу

---

[11] См.: Mayntz R. Lernprozesse: Probleme der Akzeptanz von TA bei politischen Entscheidungsträgern // Ropohl G., Schuchardt W., Wolf R. (Hrsg.). Schlüsseltexte zur Technikbewertung. S. 136.

действий субъекта принятия решений. Исследования в области социальной оценки техники прежде всего направлены на максимально полное осмысление проблемы, выявление различных возможностей развития, альтернативных вариантов действий и их ценностных аспектов. Такие исследования в меньшей степени стремятся воздействовать на конкретные решения и в большей степени – на процесс выработки решений. Повысить практическое значение оценки техники в процессе политического волеизъявления можно при помощи организационных и/или институциональных мер, которые позволят привлечь внимание адресата к результатам исследований в области социальной оценки техники, особенно если они расходятся с его собственными политическими предпочтениями. Но это не значит, что субъект принятия решений должен в обязательном порядке реализовывать все рекомендации специалистов по оценке техники.

Боязнь доминирования науки, которая могла бы поставить под угрозу примат политики, объясняется не только сдержанностью многих парламентариев в отношении социальной оценки техники, но также характерной для нее низкой *степенью институционализации.*

Реализованные ныне организационные формы оценки техники при Германском Бундестаге обеспечивают «примат политики», при котором инициатива, управление и контроль за исследованиями в области социальной оценки техники осуществляются советом из числа парламентариев, а не объединенным сообществом представителей науки, политики и общественности, как предполагалось изначально. Вместо создания научного подразделения по социальной оценке техники в Германском Бундестаге, руководство исследованиями в области социальной оценки техники было поручено внешней организации[12]. Иначе говоря, науку держат на соответствующей дистанции. Способствует ли такая организационная модель повышению практического значения оценки техники в процессе политического волеизъявления – вопрос спорный.

Социальная оценка техники является сегодня инструментом консультирования, причем речь идет о таких различных формах политического консультирования, как слушания, экспертные советы, анкетные комиссии и т.д. Такого рода экспертиза должна быть, конечно, профессиональной, но в то же время общественной (как в смысле привлечения представителей населения, затрагиваемых тем или иным конкретным проектом, так и в смысле независимости от лоби-

[12] Этой внешней организацией и является Институт оценки техники и системного анализа Исследовательского центра г. Карлсруэ, в котором работает автор. – *Прим. ред. пер.*

рующих данный проект групп ученых, инженеров и менеджеров)[13]. Однако этого мало, поскольку сегодня тесная связь государства с техническим развитием и его динамикой предъявляет новые требования к институциализированному процессу принятия политических решений. Быстро нарастающие изменения окружающей среды, вызванные неконтролируемым промышленным развитием, невозможно взять под контроль без использования политических средств. С развитием современных технологий возникают новые виды рисков и опасностей, которые ставят перед государством задачи не столько компенсаторные, связанные с устранением уже нанесенного ущерба, сколько превентивные. Появляется необходимость в долгосрочном планировании, которое должно относиться как к предвосхищению новых технических возможностей, так и к расчету и устранению рисков. Чтобы правильно решить эти задачи, государство должно мобилизовать достаточный научно-технический потенциал. Иными словами, возникает тесная связь науки и политики, которая и выражается, в частности, в форме социальной оценки техники как вида научно-технического и одновременно политического консультирования.

*Перевод с немецкого Гороховой Г.В.**
Под редакцией Горохова В.Г.

[13] Речь идет о демократизации современного проектирования в направлении плюрализма мнений. Этому служит так называемое «проектирование с участием» с целью демократизации как политических, так и технических решений. Демократизация понимается здесь в том смысле, что должны быть выслушаны и приняты во внимание все, в том числе альтернативные точки зрения, а не только мнение лобирующих предложенное решение экспертов, а также пожелания пользователей. Без хотя бы относительно независимой социальной оценки новой техники и технологии опасные последствия невозможно предотвратить. – *Прим. ред. пер.*

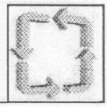
* Перевод сделан в рамках проекта РГНФ «Методологические основы оценки техники как новой комплексной проблемно-ориентированной научно-технической дисциплины» № 05-03-03209а.

Проблемы методологии гуманитарных наук[1]

Участники:
В.А. ЛЕКТОРСКИЙ, В.С. СТЕПИН, В.Г. ФЕДОТОВА, И.Т. КАСАВИН, Е.А. МАМЧУР, Л.А. МИКЕШИНА, В.П. ФИЛАТОВ, Л.А. МАРКОВА, Б.И. ПРУЖИНИН, В.Н. ПОРУС

В.А. Лекторский. Сегодня мы начинаем заседание совместного «круглого стола» редколлегий двух журналов «Вопросы философии» и «Эпистемология & философия науки». Мы будем говорить о философии и методологии гуманитарных наук. Почему мы хотим обсудить эту тему? Сейчас ситуация меняется, появляется много новых наук, возникает масса методологических проблем. Вы знаете, что в начале XX в. возникла идея о том, что науки о человеке, культуре и обществе имеют свои проблемы и свои способы исследования. Дискуссия по этому поводу велась очень давно. И сегодня эти споры не прекратились. Я считаю, что в каком-то смысле уникальна каждая наука. Если брать естественные науки, то, конечно, физика и биология – разные науки, у них есть своя специфика в методах, способах анализа, и в этом смысле история, психология, социология – тоже разные науки, хотя все они относятся к сфере социально-гуманитарных наук, но у них разные методы и своя специфика. Тем не менее первый мой тезис такой: если анализировать итоги развития науки о человеке и обществе за последние 30 лет, то есть основания идти не по пути размежевания с естественными науками, а по пути сближения. Второй тезис. Если мы возьмем такие специфические для науки о человеке и культуре процедуры, как, скажем, понимание и интерпретация, то можно увидеть в них разновидности объяснения. Третье. Сейчас, по-моему,

[1] «Круглый стол» был организован совместно редакциями журналов «Эпистемология & философия науки» и «Вопросы философии» (июнь 2006 г.). Публикуется в сокращенном виде. Грант РГНФ «Социальная эпистемология» № 06-03-00275а.



одним из показателей того, что идет не размежевание, а сближение естественных и социально-гуманитарных наук, является феномен когнитивных наук. Далее, возьмем известное противопоставление науки о фактах и науки, имеющей дело с нормами. Науки о человеке нередко имеют дело не с тем, что есть, а с тем, что должно быть. Так вот, и эта стена рушится, уже нет такого резкого противостояния. Поскольку на самом деле происходит изменение научного знания в целом, и естествознание меняется тоже. Кроме того, нужно различать такие вещи, как наука и знание. Есть, к примеру, способы приобщения старой культуры к современности, способы понимания ее сквозь наше собственное Я, но это не есть наука в точном смысле слова.

В.С. Степин. Для выяснения специфики социально-гуманитарных наук очень важно различать эти науки и социально-гуманитарное знание. Социально-гуманитарное знание включает в себя не только науку, но и обыденный здравый смысл, эссеистику, публицистику, художественную критику, литературу, т.е. это огромный массив знаний, который выступает для человека программами его жизнедеятельности. И он транслируется в культуре, имеет в ней представление в виде разных семиотических систем, способов их усвоения, процедур обучения и т.д. И есть особая область социально-гуманитарного знания, которую мы называем научной. Мы интуитивно понимаем, что одно дело – быть специалистом в макроэкономике, в истории, психологии, социологии, изучать их с помощью специальных средств и методов, а другое дело – иметь общую эрудицию, включающую отрывочные сведения о достижениях этих наук, сведения, полученные частично из общего образования, частично из популярных книг, телепередач, прессы и т.п. Когда мы говорим о научном знании, то мы понимаем, что есть разные области этого знания, разные науки, но есть и то общее, что делает науку наукой.

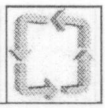
Фиксация этого общего является условием продуктивного сравнения различных областей науки и выявления их специфики. Но четко определить общее между различными науками – значит, выделить признаки, отличающие науку от других видов познавательной деятельности и других форм человеческого знания. Иначе говоря, здесь мы сталкиваемся с весьма непростой проблемой демаркации науки и вненаучного знания. Их взаимодействие и взаимопроникновение сегодня уже не нужно доказывать. Оно характерно как для социально-гуманитарных, так и для естественных наук и составляет важный аспект социокультурной детерминации научного познания. Но если мы ставим задачу перейти от общеизвестных констатаций к аналитическому исследованию проблемы, то эксплицировать признаки науки необходимо. И опираясь на проведенную экспликацию, уже говорить о специфике.

Можно выделить, по крайней мере, две познавательные установки, которые необходимы для определения науки. Первая – наука изучает все только как объект. К чему бы она ни прикоснулась, все для нее – объект, управляемый определенными законами, и она стремится

открыть эти законы. Если науку рассматривать с позиции деятельностного подхода, то можно ее интерпретировать как такую программу человеческой деятельности, которая имеет дело только с объектной составляющей деятельности. Что же касается субъектной составляющей, то ее тоже можно изучать научными методами. Но тогда субъектная компонента рассматривается как особый объект. Объектом науки может быть все что угодно. Она может изучать как природные, так и социальные объекты, состояния человеческого сознания, культуру, типы рефлексии, в общем, она может сделать объектом любые фрагменты и феномены бытия. При таком подходе, конечно, вне поля зрения остаются очень многие состояния человеческой жизни, которые представлены другими сферами культуры. В этом смысле наука отличается и от искусства, и от религиозного опыта, и от философского познания, а это все есть типы познавательной деятельности человека. Наука – важнейшая часть культуры, но она не исчерпывает всей культуры.

Теперь о второй установке научного познания. Массив объективных, предмет-объектных знаний о мире есть и в обыденном сознании. Но обыденное сознание не выходит за рамки налично-данного практического опыта, за рамки практики сегодняшней исторической эпохи. Наука же становится наукой только тогда, когда она осваивает не только то, что уже дано в практике сегодняшнего дня, но когда она открывает такие предметные миры, которые еще не освоены в практике и могут быть освоены только в возможных практиках будущего. Для этого она формирует слой теоретического знания. Посредством него осваиваются такие объекты и их закономерности, с которыми человек еще не имел дела в практике, и которые начинают практически осваиваться только после их теоретического освоения. Сначала Дж.К. Максвелл открывает электромагнитные волны, а через столетие и более мы видим радио, телевидение, мобильные телефоны и т.д. Вначале открывают гены и их структуру, а затем возникает генная инженерия и соответствующие биотехнологии.

Можно показать, что с двумя указанными установками научного познания связаны особенности научных знаний как результата исследования, особенности средств и методов науки (включая необходимость постоянной и углубляющейся рефлексии над методами), а также особенности субъекта научной деятельности. Последний должен не только освоить сложившиеся средства, методы и образцы их применения, но и усвоить некоторые презумпции научного этоса. Из них две – главные, соответствующие кардинальным установкам научного познания. Первая – ищи предметно-объектное знание, вторая – наращивай истинное знание. Первая полагает запрет на умышленное искажение истины («Платон мне друг, но истина дороже»). Вторая запрещает плагиат. Ученый не должен повторять то, что уже было сделано до него, и считать, что этого достаточно. Он должен открывать новое. А для этого нужно четко отделить новое от того, что было уже известно. Институт ссылок обеспечивает такую сепарацию и тем са-



мым укрепляет стимулы поиска нового. Плагиат же их разрушает. Конечно, две обозначенные установки научного этоса представляют собой идеал, и они могут нарушаться, но их нарушение может вызывать определенные санкции.

Две основные установки научного исследования и связанные с ними особенности фиксируют общие признаки науки, которые присущи как естествознанию, так и социально-гуманитарным наукам. А дальше на этой основе нужно анализировать особенности социально-гуманитарных наук и их методологии. Экспликацию этих различий следует провести, с одной стороны, по предмету, а с другой – по методу. И здесь предстоит основательная работа.

Я соглашусь с Владиславом Александровичем (это и моя точка зрения), что многие традиционно воспроизводимые различения между естествознанием и социально-гуманитарными науками нуждаются сегодня в корректировке, а подчас, и в радикальном пересмотре. Это касается как самых общих принципов, о которых уже сказано, так и конкретных характеристик методов. В частности, можно констатировать, что нуждаются в уточнениях традиционные суждения, согласно которым отличительной особенностью социально-гуманитарных наук является широкое применение в них метода герменевтики. При характеристиках герменевтического подхода часто ограничиваются такими определениями, которые присущи и обыденному познанию, и восприятию произведений искусства, и многому другому, что относится к различным типам человеческих коммуникаций и вненаучным формам познания. Но этого явно недостаточно, если герменевтика интерпретируется как метод, выражающий специфику социально-гуманитарных наук. Необходимо ответить на вопросы: в чем состоят особенности этого метода, какие операции и процедуры он предполагает? И нужно дать описание этих процедур.

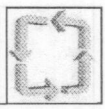
Вообще, следует признать, что философия и методология социальных и гуманитарных наук нуждается в более глубокой аналитической разработке. Я имею в виду не только состояния отечественных, но и зарубежных исследований. Философия науки традиционно развивалась на материале логики, математики и физики. Этот материал давал хорошую основу для анализа структуры и динамики научного знания, и основное, что сделано в этой области, сделано на этом материале.

Деятельностный и социокультурный подходы в философии науки второй половины XX в. обозначили в качестве эмпирической базы методологического анализа реальные тексты научных знаний, взятые в их историко-культурном контексте. Апробация вырабатываемых методологических схем предполагала связь с историей науки и осуществление реконструкций различных фрагментов истории науки. Здесь традиционно основную роль сыграло обращение к истории математики и физики. Такого рода реконструкции исторического материала можно обнаружить в работах Т. Куна, И. Лакатоса, Дж. Холтона, они есть и в отечественных исследованиях. К сожалению, сегодня

работа с оригинальными историческими текстами социально-гуманитарных наук является чрезвычайной редкостью. Часто используют отдельные цитаты и примеры, которые в лучшем случае могут пояснить ту или иную методологическую идею, но недостаточны для ее обоснования. Исторические реконструкции можно обнаружить (с определенными оговорками) в отечественной гуманитарной классике (у М. Бахтина, отчасти у Ю. Лотмана). Но сегодня подобные реконструкции практически отсутствуют.

Учитывая глубокие перемены, которые произошли в науке второй половины XX в., недостаточно просто воспроизводить традиционные идеи методологии социально-гуманитарных наук. Некоторые из этих идей придется проблематизировать. И бесспорно нужны исследования, соединяющие методологические схемы построения знаний в социальных и гуманитарных науках с реконструкциями реального материала истории этих наук. Пусть это будет структурная лингвистика и ее история. Пусть это будет литературоведение или гражданская история. Но этого пока нет. Возможно, такое положение дел связано с тем, что объект исследования в данных областях сложнее, но я думаю, что если посмотреть на него с позиции сделанного в методологии естественных наук, то многое можно использовать и в социально-гуманитарных науках.

Тезис о сближении естественных и социально-гуманитарных наук распространяется и на область их методологических принципов. Жесткое противопоставление этих наук налагает запреты на переносы уже отработанных методологических схем на новые области. Но этим закрывается один из важных путей получения новых результатов. Как человек познает новое? Он использует старый опыт, переносит его на новый материал, и если имеющиеся схемы не подходят для нового объекта, он начинает их изменять. Но он должен встретить сопротивление материала. Без сопротивления материала мы будем что-то сочинять, но никакой основы для селекции этих сочинений у нас не будет. Позиция, согласно которой в гуманитарных науках все не так, как в естественных, скрыто означает, что нельзя ничего заимствовать из методологии, развитой на материале естествознания. Но тогда мы закрываем путь, по которому чаще всего шло человеческое познание. Даже в период конституирования биологии как особой научной дисциплины ее прогресс был связан не с тем, что она сходу отмежевалась от физики. Многие биологи думали, что можно построить и объяснить закономерности жизни, исходя из ньютоновских представлений о мире. Когда Ж. Б. Ламарк открыл свои эволюционные ряды, он пользовался ньютоновской картиной мира. Он считал, что есть флюиды, носители сил, что есть нервный флюид и есть электромагнитный флюид. И он думал: при упражнении органов флюиды накапливаются, что изменяет органы. Отсюда он формулирует принцип «упражнение создает орган», а дальше выстраивает эволюционные ряды, и так разрабатывается идея биологической эволюции в ее первом варианте. Потом биология избавилась от идей механицизма. Но вначале были по-



пытки адаптировать их к новой области. Дальнейшее развитие эволюционных представлений также предполагало использование в биологии методов других наук. Как известно, на формирование теории Ч. Дарвина оказали влияние идеи и методологические принципы геологии (Ч. Лайель), палеонтологии, отчасти даже концепции социальных наук (А. Смит, Т.Р. Мальтус). Что же касается биологии XX в., то без использования в ней физико-химических методов был бы невозможен прогресс генетики, развитие генной инженерии и создание современных биотехнологий. Так работают все науки, так работает вообще человеческое познание. Кстати, процедуры понимания также связаны с такого рода переносом имеющегося опыта на новые ситуации. Когда американскому индейцу миссионеры показали ножницы, то он не понял, что это за предмет, но когда начали обрезать волосы, он сказал «А, пиранья!», потому что работу ножниц он уподобил зубам пираньи. Понимание возникло по аналогии. Так устроено человеческое познание.

Еще одна проблема. Мы традиционно в учебниках пишем, что естественные науки изучают природные объекты, которые даны субъекту с самого начала, и они как бы не зависят от него, а социальные объекты – это человеческое творение, зависят от него. Это утверждение также требует корректировки. Здесь продемонстрирован взгляд на природные объекты с позиций созерцательной (недеятельностной) парадигмы. Но если рассматривать природу в современной парадигме, то все, с чем человек имеет дело, дано ему в форме его же деятельности, и он со своей деятельностью там присутствует. И в этом смысле в познаваемой человеком природе есть и человеческое измерение. Так что жесткое различие между объектом природы как данным вне деятельности и социальными объектами, которые сконструированы деятельностью, требует уточнения и дополнительных пояснений.

В.Г. Федотова. Я думаю, что мы все пребываем в ощущении, что все эти демаркации естественно-научного и социально-гуманитарного знания внутри самого социально-гуманитарного знания, границы между повседневным и философским знанием сегодня не столь очевидны, как было прежде, и поэтому все наши усилия направлены на то, чтобы, признавая эти демаркации, все-таки коснуться происходящего сдвига. Но прежде всего я хотела бы сказать, что многие неудачи в решении этого вопроса связаны с тем, что социально-гуманитарное знание очень невнятно понимается. Здесь надо опираться на классику, на исходные дефиниции, которые были даны Г. Риккертом и В. Виндельбандом.

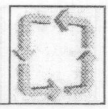
Они, как мы все помним, к социальным наукам относили социологию, экономику, которые похожи на естествознание, где выявляются общие закономерности, работают объяснения. А к гуманитарным наукам они относили историю и науки о культуре, в которых действуют другие, индивидуализирующие способы познания, поскольку в их предметной области не может быть повторяющегося. Уникальность события требует своей системы знания. Произошло разделение по

предмету и методу, которое закрепило за этими науками статус социально-гуманитарных. Но позже ситуация стала меняться, когда обнаружился факт, упомянутый Вячеславом Семеновичем: все, с чем мы имеем дело, дано в формах нашей деятельности. Итак, наивно-реалистический подход более не работает, мы не можем просто созерцать свой предмет и объект, мы его конструируем во всех типах знания – и в социальных науках, и в гуманитарных науках.

Как же конструируют свой предмет гуманитарные науки? От художественной литературы, критических текстов, всевозможных вненаучных форм знания они отличаются тремя принципами конструирования своего предмета: постулатом соответствия, требующим понимания объекта исследования; следованием методам своей дисциплины и третьим – чтобы тот, о ком говорится, мог себя узнать. Например, бюрократ в конструкции М. Вебера себя не узнает, а в применении он себя может вполне узнать. Этим последним правилом они отличаются как от естествознания, так и от социальных наук.

Сегодня, в общем, утвердилось представление, идущее от Э. Кассирера: подходы в изучении могут быть разделены на натуралистические и гуманистические, или на натуралистические и культурцентристские, как я предпочитаю их называть. Чем они отличаются в социальных и гуманитарных науках об обществе? Как определяет Дюркгейм, знание в социологии как социальной науке получают как знание того, что может быть только уподоблено вещи. Здесь намеренно объективируется предмет изучения. Но Ф. Хайек, например, говорит, что в социально-гуманитарных науках изучается мнение, конечно, иронизирует он, не мнение студентов о том, что они знают, но мнение участников социальных действий.

Однако наличие двух методологических программ – натуралистической и культурцентристской – не позволяет окончательно связать с одной из наук термин «социальная» или «гуманитарная». Скажем, если мы возьмем экономику, в ней либерализм исходит из неизменной природы человека. Она включает направленность на максимальное удовлетворение при минимизации издержек и признается либерализмом как присущая любому человеку, который трактуется как экономический. Из этого следуют вполне практические выводы. Иной является концепция, которая предполагает изучение мнений, мотивов экономического поведения. В. Леонтьев рассчитал экономическую модель для послевоенной Японии, но когда ему предложили сделать то же самое для посткоммунистической России, он отказался, ибо посчитал это невозможным для страны совершенно других масштабов. Позже в своих «Экономических эссе» он назвал экономику «обыденной наукой», имеющей критерий адекватности в улучшении жизни людей. Это подход с культурцентристских позиций. Пусть, как писала Л. Пияшева, на Западе пироги пышнее, но у нас люди или не склонны получать пышные пироги, или имеют об этих пирогах другое мнение. По крайней мере, их мотивация часто не регулируется максимальной полезностью и минимумом издержек, а следовательно, мы получаем



по этому вопросу культурно-ориентированное знание. Надо понять, почему самые пышные пироги не стали у нас самой большой ценностью.

Демаркация между социальными и гуманитарными науками оказалась, вместе с тем, очень подвижной и зависящей от того, в какой исследовательской программе мы работаем. Можно строить социологию в качестве натуралистически организованной науки, пример чего дает Т. Парсонс и многие позитивистские социологи. И можно получить культурцентристски ориентированную социологию. Это символический интеракционизм Г. Мида, это феноменологическая социология А. Шюца. Они следуют трем указанным правилам конструирования предмета своей науки, но вопрос об экспликации методов становится слишком сложным. Ведь ординарная работа ученого часто не сопровождается рефлексией методов и их экспликацией, а делается на интуитивном уровне.

Итак, натуралистическая программа первоначально объединяла естественные науки и особые науки об обществе, которые выявляли закономерности. Но потом оказалось, что она имеет общенаучный характер и может быть применена даже к такому феномену, как культура.

Несколько позже выяснилась и универсальность культурцентристского подхода. На примере экономики, считавшейся социальной дисциплиной, мы видим, что она может стать вполне гуманитарной, занимаясь анализом экономических мотиваций. И то же самое я показала выше на примере социологии. Вячеслав Семенович говорит: «Вот покажите мне, как герменевтика работает? Стоит ли за ней какая-нибудь физическая реальность или это просто мысленный способ добиться для себя понимания ситуации?» За ней стоит реальность, которая требует понимания в условиях недостаточно полного или парадоксального знания. Понимание становится в этих обстоятельствах условием, дающим возможность продолжить деятельность. Это необходимо в работе с текстами, это касается всей филологической сферы, истолкования обыденного знания, которое тоже является предметом науки. Помню, когда я работала в Физико-техническом институте, физики открыли кварк, который никак не наблюдается и существует только в математическом аппарате. Тогда, на ранней фазе наблюдения, кварк вводился как математический конструкт, для того чтобы продолжить деятельность, ибо иначе возник тупик. Потом, наверное, ситуация изменилась. Но я согласилась бы с Вячеславом Семеновичем в том, что метод понимания не стоит называть методом, потому что это не эксплицированное многообразие способов разрешить определенную познавательную трудность, а, скорее, даже психологически-познавательный способ пойти в познании или действии дальше.

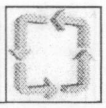
В методологии естествознания мы его встречаем, например, у Э.Г. Юдина, у И. Алексеева, которые анализировали физику микромира, где наивно-реалистические представления были утеряны, и принцип наглядности уже утратил силу, отчасти у В.С. Степина в его концептах постнеклассической науки, человекоразмерных систем.

Я прихожу к такому выводу, что натурализм и культурцентризм – это две исследовательские программы, по-разному работающие на одних и тех же объектах социального знания и в разной степени работающие на естественно-научных объектах. В условиях нелинейности процессов натуралистический подход, вероятно, пригоден для анализа социума на макроуровне, а культурцентристский – на микроуровне. Кроме того, эти два подхода, взаимодополняя друг друга, представляют хороший метод экспертизы. В разных аудиториях я задаю вопрос: «Если вы производите картошку по 30 рублей за килограмм, а я у вас буду покупать по 100 рублей, произведете ли вы больше картошки или меньше, или столько же?» В любой западной аудитории говорят – больше. В любой нашей говорят столько же или меньше. Сейчас появилось некоторое количество людей, которые говорят – больше. Н.Е. Покровский работал во многих школах экономики на Западе, и он давал читать студентам «Обломова», ожидая, что они будут критиковать Обломова. Но американские студенты говорили, что Обломов лучше Штольца и что они хотели бы быть такими, но им общество не позволяет. Поэтому, может быть, сегодня на Западе, когда время яппи (трудоголиков, устремленных к успеху и деньгам) прошло, появляется больше людей, которые скажут – меньше или столько же.

В.А. Лекторский. У меня вопрос. Вы рассказали, что есть два типа программ в социально-гуманитарных науках и, может быть, в науках вообще. Следует ли Вас понимать так, что натуралистический подход – это то, что сближает разные науки, а культурцентристский – это то, что их отличает друг от друга?

В.С. Степин. Примерно тот же вопрос и у меня. Какая разница, изучаю ли я физические поля или, допустим, мнения – все это выступает как предмет. У него есть свои формы репрезентации, способы воспроизведения, закономерности. Может ли наука выйти за пределы объектного мира, и наука ли она в таком случае?

В.Г. Федотова. Первоначально общенаучное значение имел только натуралистический подход. Культурцентристский появился для характеристики инонаучности наук об истории и культуре. Сегодня оба подхода могут быть общенаучными, хотя и в разной мере. Любой предмет можно изучать как натуралистически, так и культурцентристски. Можно брать мнение как объект, заостряя его объектность в натуралистическом подходе. Можно изучать мнение, заостряя его культурное происхождение, изменчивость, субъективность, обусловленность ситуацией. Изучая общественное мнение в культурцентристской программе, мы находим его исторические корни, его связь с существующими политическими структурами, способами хозяйства, мы уходим как бы от чистого обсуждения методов, мы переходим к среде, к контексту, в котором формируются разные отношения к одной и той же вещи. Уже не только текст, но и контекст приобретает значение. В научной экспертизе мы могли бы истолковывать предмет одновременно натуралистически и культурцентристски, чтобы посмотреть на



возможность взаимодействия открываемых закономерностей и способностей людей их использовать.

И.Т. Касавин. Если мы продолжаем говорить о различии натурализма и культурцентризма, то как Вы относитесь к такой точке зрения, что в естественных науках изучение объекта идет монологическим путем, а в гуманитарных науках исследования осуществляются диалогически. Исследователь-гуманитарий обращается с вопросом к другому субъекту, и в контексте этой ситуации осуществляется выяснение того, что представляет собой объект и каковы результаты этого исследования. Ученый, имея дело с живым субъектом, всегда может уточнить, о чем идет речь, прав ли он, понимая ситуацию, или не прав. В отличие от этого, пусть и существует метафора, что исследователь задает вопросы природе, пытает ее, природа все же рассматривается как мертвый объект, который не может дать осмысленного ответа. Все смыслы, которые человек вкладывает в этот объект, – это человеческие смыслы.

В.Г. Федотова. Думаю, что эта точка зрения соответствует третьему пункту культурцентристской программы: все, что мы описываем, должно быть понятно тем, кого мы описываем. Диалог, как сегодня становится ясным, это очень серьезная эпистемологическая проблема. Ю. Хабермас ее поставил так: почему И. Кант, призывая к вечному миру, ошибся, этого мира не получилось? Потому, что разум не един, люди обладают разным сознанием, разной рациональностью, и мы можем вести диалог преимущественно с теми, кто находится в нашей культурной парадигме. И поэтому культурцентристская программа ориентирована на расширение диалога с тем, кого мы познаем. Она вводит понятия о мире, о согласии, о толерантности, о понимании, о компромиссе как признании права всех людей иметь собственные интересы и согласии пожертвовать некоторой их частью для отстаивания и достижений основной. Диалог превращается в сложную систему коммуникаций, имеющих институциональные основания. Думаю, и в истории мы ориентированы на диалоги, шире – коммуникацию со всем набором ее параметров. С чем я не вполне согласна, так это с тем, что нет диалога в естествознании, это не диалог с природой, но диалог ученых, изучающих природу. А с природой мы будем вынуждены вступить в диалог, и, может быть, мы уже вступаем в него – в синергетике, в восприятии природы как освоенной среды обитания, гомеостазис которой может быть разрушен, в поиске устойчивого развития, когда мы обнаруживаем нелинейность и хаос и пытаемся ими как-то управлять, понять их причины.

В.С. Степин. Я хотел бы сделать замечания по теме двух программ анализа социальных процессов. Во-первых, при их противопоставлении может неявно возникнуть следующая антитеза: натуралистическая программа подходит к анализу социальных процессов как особого объекта, а культурцентристская отказывается от такого рассмотрения. Если речь идет о социально-гуманитарных науках, то объективность и предметность анализа (как характерная черта науки)

присуща обоим подходам. Валентина Гавриловна справедливо отметила сложность такого социального объекта, как общественное мнение, возможность различных трактовок его как предмета исследования. Но в любом варианте, будь то узкая или широкая трактовка общественного мнения, предметность исследования сохраняется. Во-вторых, в предложенных В. Виндельбандом и Г. Риккертом различениях двух подходов была неявно намечена недостаточность классической рациональности, которая еще доминировала в естествознании той исторической эпохи, для зарождающихся социально-гуманитарных наук. В этих науках некоторые признаки неклассической и постнеклассической рациональности проявились раньше, чем в естествознании. Именно здесь наука впервые столкнулась с особым типом объектов, которые принадлежат к саморазвивающимся, человекоразмерным системам, где человек и его деятельность становятся компонентом системы и ее системообразующим фактором. Но в XX в. постнеклассическая рациональность укореняется в целом ряде областей естествознания и технических наук, и в этой связи возникает новая ситуация понимания натуралистической и культурцентристской программ. Их различение увязывается с различиями классической и неклассической науки. Появление постнеклассической рациональности не отменяет классической и неклассической рациональности, а лишь сужает сферу их применения. Поле научной рациональности становится гетерогенным. Для решения некоторых задач требования неклассики и постнеклассики становятся избыточными, достаточно классического подхода. С этой точки зрения можно было бы по-новому интерпретировать то, что сказала Валентина Гавриловна о роли натуралистической программы в макросоциологии и о преимуществе культурцентристской программы в микросоциологии.

Е.А. Мамчур. Какие-то подвижки в отношении сближения естественно-научного и социогуманитарного знания, несомненно, есть. Однако, как мне представляется, утверждение о существовании каждой из них следует тщательно анализировать, чтобы установить, не существует ли она только в сознании методолога, без референтов в реальном бытии науки. Есть бесспорные случаи сближений. Так, неокантианцы утверждали, что природа внеисторична, а культура в принципе исторична, ее развитие – это исторический процесс порождения все новых смыслов. Однако со времен В. Виндельбанда и Г. Риккерта произошли существенные изменения: в современной космологии обоснованной и почти общепризнанной является модель эволюционирующей Вселенной (во времена неокантианцев господствовало представление о стационарной Вселенной). Кроме того, в связи с изучением процессов самоорганизации доказано существование необратимых процессов, развивающихся в направлении уменьшения энтропии, в связи с чем в физику на законных правах вошла стрела времени. Так что и природа в глазах ученых приобрела исторический характер.

Неокантианцы, далее, утверждали, что природа – царство необходимости, а культура – продукт деятельности свободного человека.

Здесь также многое изменилось. На смену представлениям о жесткой детерминированности природных явлений пришла идея вероятностных законов, причем предполагается, что эти последние носят более фундаментальный характер. (Для ученых, принимающих ортодоксальную интерпретацию квантовой механики, миром правит случай.) Более того, появляется все больше работ, в которых утверждается, что в неживой природе есть моменты свободного выбора, что такой «выбор» совершают, например, микрообъекты, «решая», по какому пути идти – по одному плечу интерферометра, проявляя свои корпускулярные свойства, или по двум плечам сразу, демонстрируя волновые свойства. Утверждения о свободе выбора или о свободе воли в микромире, конечно, очень проблематичны, но поскольку в настоящее время никто не знает, что такое сознание, то в качестве очень проблематичной гипотезы можно предположить и такое. Так что и в этом случае какие-то подвижки действительно имеют место.

Вместе с тем утверждение неокантианцев о том, что в природе нет целей, а в культуре ставятся сознательные цели, остается, на мой взгляд, в принципе верным и для современной науки. Если цель трактовать как сознательно принятое намерение, то она присутствует только в деятельности людей (есть ли она у достаточно высоко организованных животных – вопрос спорный. Возможно, в данном случае речь можно вести только об инстинктах). Сторонники существования цели в природе ссылаются на присущую миру живого удивительную целесообразность. Но не следует путать целесообразность и цель. Целесообразность конечно же существует в природе. (Кстати сказать, неокантианцы, будучи образованными людьми, несомненно, знали об этом феномене и, тем не менее, утверждали, что в природе целей нет.) Но ее природа все еще остается загадочной. Дарвинисты объясняли ее существование действием естественного отбора, элиминирующего неприспособленных, действующих нецелесообразно особей. Это объяснение не устраивает финалистов. Некоторые из них, объясняя целесообразное поведение животных, говорят о *внешних* целях, что не устраивает научных реалистов и рационалистов, требующих обоснования утверждений о возможности существования таких целей. Другие говорят о *внутренней, имманентной* целесообразности, причем отказываются объяснять, что это такое.

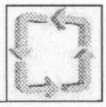
Если в отношении высокоорганизованных животных еще можно предположить, что они руководствуются поставленными целями, то как быть с животными с более низкой организацией или с растениями, поведение которых также поражает своей целесообразностью? Вот, например, одноклеточные морские водоросли – диатомеи. Являясь важнейшим источником кислорода в океане и атмосфере, они сами нуждаются в свете и минеральных солях для того, чтобы осуществлять фотосинтез. Так как оба эти фактора располагаются в океане на разной глубине (свет у поверхности океана, а минеральные соли на несколько десятков метров ниже), они должны все время периодически опускаться в глубину океана и всплывать на поверхность. У них

нет никаких специальных приспособлений для плавучести. Отдельной диатомее плавучесть мог бы обеспечивать выделяемый ею пузырек газа, но он настолько крошечный, что быстро растворяется в воде. Как эти водоросли «выходят из положения»? Они объединяются в колонии, суммируя таким образом пузырьки газа, которые все вместе и обеспечивают им возможность всплытия. Удивительная целесообразность! Но должны ли мы предположить в связи с этим, что диатомеи, объединяясь в колонии, руководствуются сознательно поставленной целью? Или правы дарвинисты, утверждающие, что такое поведение – результат случайной мутации и естественного отбора? Пока биология не дает удовлетворяющего всех ответа на этот вопрос.

Сторонники тезиса о существовании в природе целей ссылаются на синергетику с ее сложно организованными, самоорганизующимися системами и странными аттракторами, к которым как к некоему конечному состоянию движутся элементы и процессы в системах. Некоторые исследователи утверждают, что эти процессы, не являясь телеологическими, являются *телеономическими*. Под этим подразумевается, что системы, не руководствуясь сознательно поставленными целями, тем не менее, ведут себя так, как *если бы они* руководствовались ими. Таким образом, телеономические процессы являются квазителеологическими. Я думаю, что это очень правильное уточнение. Недаром наши отечественные синергетики, говоря о целях, берут это слово в кавычки, или пишут о *целеподобном* поведении систем (или элементов систем)[2].

Центральный вопрос для неокантианцев – это вопрос о месте и роли ценностей в естественных науках и гуманитарном знании. Здесь, мне думается, сами неокантианцы немного заблуждались, преувеличивая различия в этом плане между социокультурным и естественнонаучным знанием. Они, как известно, полагали, что естественные науки являются генерализирующим (обобщающим) и номотетическим знанием, поскольку основной метод здесь – это поиск повторения, законов; в то время как гуманитарное знание является индивидуализирующим. Считалось, что естественные науки свободны от ценностей, в то время как основной метод гуманитарного знания – отнесение к ценностям. Думается, что здесь все не совсем так. И в историческом знании, так же как и в естественно-научном, есть уровень знания, свободный от ценностей. Это исторические факты, которые в конце концов удается подтвердить или опровергнуть. Но есть уровень концепций и теорий, в которых эти факты интерпретируются и объясняются. Здесь и происходит отнесение к ценностям. Однако в естественных науках есть факты, но есть и теории и, главное, теории высокой степени общности, которые «выходят» на уровень мировоззренческих представлений. На этом уровне в естественных науках также происходит отнесение к ценностям. Правда, ценности в обоих случаях

[2] См.: Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. М., 2000.



разные. В историческом – это идеологические, политические, национальные, религиозные ценности. В естественных науках – это приверженность ученого той или иной научной школе, научному направлению, мировоззренческим идеалам (хотя были случаи, когда в интерпретацию естественных наук проникали и идеологические (лысенковщина), и религиозные (креационизм), и даже национальные («арийская» и «неарийская» наука) ценности). И в том, и другом знании есть скрытые, явно не формулируемые и часто не осознаваемые самими исследователями предпосылки познавательного процесса, под влиянием которых происходит интерпретация эмпирического материала. И там, и тут наука стремится элиминировать ценности, но это, как правило, полностью не удается. В разной степени, конечно. В естественных науках контролировать влияние скрытых предпосылок и стереотипов мышления все-таки возможно. В данном случае правы были те участники знаменитых дискуссий 60-х – 70-х гг. прошлого века, которые настаивали на том, что ученым удается осознавать наличие «рабочей рамы», т.е. исходных предпосылок и метафизических допущений познавательного процесса, и в случае обнаружения исторической ограниченности этой рамы или наличия в ней дефектов выходить за ее пределы, заменив другой. Но на довольно длительных этапах развития естественных наук они также оказываются ценностно нагруженными.

Я могла бы еще порассуждать на тему о том, существует ли заимствование естественными науками методов гуманитарного знания, на котором настаивают сторонники тезиса о сближении (мне думается, что нет, что вектор сближения в данном случае направлен от гуманитарного к естественно-научному знанию, но не наоборот). Но я сказала уже достаточно для того, чтобы проиллюстрировать и подтвердить выдвинутый в начале моего выступления тезис: с каждым утверждением об имеющем место сближении нужно «разбираться» отдельно, ничего не принимая на веру. Ведь высказанные походя мнения имеют тенденцию превращаться в общие места и, многократно повторяясь, закрепляют в общественном сознании искаженный образ науки.

И еще один момент, несколько корректирующий вышеизложенное. В естественных науках принято говорить об общих законах, а в гуманитарных – об уникальных явлениях. Однако последнее время в естественно-научном знании, в его методологии становится очень популярным нарративный тип объяснения. Это, я считаю, уже проникновение некоторых гуманитарных методов в естественно-научное знание. Где невозможно использовать гемпелевский способ объяснения, где наблюдаемое не покрывается законом, где мы не можем выявить причин, там может хорошо помочь нарративный способ объяснения. Например, мы рассказываем о некотором явлении другому человеку, который, может быть, держится иной точки зрения, не знает положения дел или, как говорит Р.Ф. Фейнман, не только мы не знаем этого, а сама природа не знает. Этой иной позиции часто не может понять тот, кто вжился в методологию квантовой механики, и здесь

вступает в свои права нарративный стиль объяснения, когда просто рассказываешь человеку о том, как работает квантовая механика, каковы ее методы, как она реконструирует это событие. И вот это…

В.Г. Федотова. …заполняет пустоту незнания.

Е.А. Мамчур. Собеседник становится после этого образованнее, он начинает понимать. Вот это уже реалии, по-видимому, рожденные методологическими трудностями в самой науке.

В.С. Степин. Я разделяю мнение, что наука во все эпохи развивалась в контексте культуры и была социально детерминирована. Другой вопрос – как в рефлексии ученого фиксируются эти детерминации, как рациональность меняется исторически, как меняется тип рефлексии над наукой, в соответствии с которым наука каждой эпохи смотрит на себя и на задачи познавательной деятельности. Сегодня мы глубже понимаем науку о природе, чем в эпоху И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля. Развитие методологической рефлексии обязано как достижениям естественных и технических наук, так и возникновению гуманитарных наук и их методологическим особенностям.

И.Т. Касавин. Мне бы хотелось напомнить о том, что проблема применения идеалов научности и объективности к гуманитарному знанию сформировалась в середине XIX в., когда филология и лингвистика, психология, социальная и культурная антропология приобретали институциональный статус в качестве эмпирических наук. Предметы и методы гуманитарных наук оценивались по аналогии с предметными областями и методологическими арсеналами математики и естествознания, причем именно последние выступали образцами объективности и точности. Г.Т. Фехнер, Э. Тайлор, Ф. Соссюр каждый на свой лад формулировали и пытались реализовать программу онаучивания гуманитаристики, но позитивисты Венского кружка вынесли всем этим попыткам негативный вердикт. Однако в истории философии и науки все это время развивалась и другая линия, ведущая от Ф. Шлейермахера через В. Дильтея и Ф. Ницше к неокантианцам Баденской школы, О. Шпенглеру, позднему Э. Кассиреру, позднему Э. Гуссерлю, позднему Л. Витгенштейну, неофрейдизму. В ней реализовывало себя стремление обосновать особый эпистемологический статус гуманитарных наук, или наук о культуре, существенно отличный от того, что в английском языке называется «hard science». Ключевыми для данного направления исследований и последовавших за ними в XX в. стали не только традиционные категории языка, сознания, культуры и истории, но и только вводимые в научно-философский оборот понятия деятельности, игры, символа, функции, коммуникации, жизненного мира. Гуманитарная мысль в России (Г.Г. Шпет, Л.С. Выготский, М.М. Бахтин, М.К. Петров, Ю.М. Лотман) оказалась особенно восприимчива к этой линии развития и внесла немалый вклад в разработку указанных понятий. Мне хотелось бы остановиться на некоторых идеях М. Бахтина, которые мне представляются принципиальными для понимания методологической специфики гуманитарных наук.

Если рискнуть одной фразой обозначить философско-методологический лейтмотив трудов М. Бахтина, то это будет специфика гуманитарного познания – в науке и искусстве. Конечно, она сразу же разворачивается, по крайней мере, до четырех главных тем: творчество, язык, субъект познания и типы познавательного отношения.

Релевантность идей М. Бахтина для современной философии и гуманитаристики вообще проявляется прежде всего в том, какое значение он придавал понятию творческой деятельности. Сформулированные им оригинальные категории, такие как «вненаходимость», «диалог», «полифония», «участное мышление» (не-алиби в бытии), «Другой», обладают конкретным смыслом: они описывают жизненный мир человека, вовлеченного в процесс научного и литературного творчества. Едва ли не главной его задачей было показать живую, неокончательную фактуру этого процесса, его связь с жизнью самого творца. Недаром С.С. Аверинцев, близко знавший М. Бахтина, на первых страницах своей статьи о нем, сказал об этом так: «Мыслитель, не устававший повторять, что ни одно человеческое слово не является ни окончательным, ни завершенным в себе – он ли не приглашает нас договорить "по поводу" и додумывать "по касательной", то так, то этак разматывая необрывающуюся нить разговора?»[3]

Объектом гуманитарного познания, по М. Бахтину, выступает текст как первичная данность, с которой имеют дело все науки гуманитарного цикла. Но здесь же текст оборачивается собственным отрицанием, выходит за свои пределы. Текст – это универсальная форма заявления человека о себе, убежден М. Бахтин, но он представляет собой не чисто лингвистическую данность; это, по сути, любой феномен культуры, требующий, говоря современным языком, контекстуального и даже полидисциплинарного анализа. Всякий «человеческий поступок есть потенциальный текст и может быть понят (как человеческий поступок, а не физическое действие) только в диалогическом контексте своего времени (как реплика, как смысловая позиция, как система мотивов)»[4], – пишет М. Бахтин и в дальнейшем предпринимает систематическое развертывание понятия «текст» до понятия культурного объекта вообще.

В русле той же программы пойдет его коллега Ю. Лотман со своим понятием семиосферы, но еще раньше дорогу в этом направлении прокладывает Г. Шпет, чьи идеи (без ссылок и цитат) были усвоены его учеником Л.С. Выготским, а в дальнейшем к ним примкнет, сам не зная об этом, М.К. Петров, разграничив язык и социокод и именно в последнем обнаружив фундамент культуры.

Итак, что значит вывести язык за пределы чисто лингвистического понимания, или, иными словами, понять его в общеметодологическом ключе?

---

[3] Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура // М.М. Бахтин как философ. М., 1992. С. 7.

[4] Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 286.

Это значит обнаружить, что текст не безличен, что он предполагает субъекта – автора, и здесь сразу возникает многообразная проблематика субъекта и субъективности как существенного измерения гуманитарного знания. Забегая вперед, скажем, что эти размышления в немалой степени способствовали переосмыслению природы и естественно-научного познания (сам М. Бахтин и его коллеги от такого шага были еще далеки).

Текст по природе диалогичен, и эта диалогичность имеет открытый характер: она не предполагает ограничение смысла замкнутым на себе самом текстом (в противоположность установкам структурной лингвистики и семиотики, которые разделял и ранний Ю. Лотман). Более того, диалог не ограничен и парой «автор–читатель», но предполагает предшествующих (и последующих): «Не может быть изолированного высказывания. Оно всегда предполагает предшествующие и следующие за ним высказывания. Ни одно высказывание не может быть ни первым, ни последним. Оно только звено в цепи и вне этой цепи не может быть изучено»[5]. И здесь, поднимая актуализировавшуюся последнее время проблему контекста, М. Бахтин почти буквально повторяет известную формулировку Л.С. Выготского, данную им в «Мышлении и речи».

Контекст, традиция, жанр, в которых живет текст, задают его первый – социальный – полюс, сообщающий ему объективность, устойчивость, структурность. Но он – ничто без второго полюса текста, образованного уникальным смыслом высказывания, выражающим свободный творческий акт. Его содержание не может быть *объяснено*, но может быть *понято* другими субъектами коммуникации. Первый полюс подлежит научному (историко-социологическому) объяснению, которое обеспечивает завершенность исследования. Постижение же неповторимого смысла текста значительно более субъективно, оно всегда оставляет за спиной целую цепь неразгаданного и близко художественному, религиозному, моральному познанию.

И здесь же оказывается, что понимание текста требует выхода за его пределы в еще одном направлении. До сих пор речь шла о том, что можно назвать внутренней и внешней социальностью текста, но ими у М. Бахтина дело не ограничивается. В самом акте творчества, помимо эмпирических субъектов – автора и читателя, обнаруживается «позиция третьего». Это сам автор, возвысившийся до трансцендентального субъекта, или рефлексирующий автор, исследователь самого себя, занимающий миграционную позицию «вненаходимости», внелокальности, чуждости (А. Шюц), вписывающийся в диалогические отношения и заставляющий их зазвучать (дескриптивное понимание истины). Подлинный текст не завязан исключительно на локальную внешнюю социальность (т.е. не является только вторичным текстом), одновременно он не ограничен сакральностью и эзотеричностью субъективной творческой деятельности (т.е. не есть исключи-

[5] Там же. С. 340.

тельно первичный текст), но открыт и даже специально обращен к «третьему». Автор, принявший позицию «третьего», по сути прикладывает к себе мерку всей прошлой и будущей культуры, пытается превзойти самого себя и обеспечить своему тексту открытую социальность, или комбинацию «истинной ретроспективы» (М.К. Петров) и «истинной перспективы». Текст, который боится «третьего», ищет временного признания и ближайшего адресата, имеет короткую жизнь и обречен иссякнуть, считает М. Бахтин.

М. Бахтин, утверждая, что понимание текста требует выхода за его пределы, в деятельность и коммуникацию, все же, подобно К. Мангейму, не считал возможным применять этот тезис к естествознанию. Социологический подход М. Бахтина ограничился исключительно сферой искусства. В том же, что называется «hard science», по его мнению, «удельный вес темы о слове сравнительно невелик. Математические и естественные науки вовсе не знают слова как предмета направленности. В процессе научной работы, конечно, приходится иметь дело с чужим словом – с работами предшественников, суждениями критиков, общим мнением и т.п.; приходится иметь дело с различными формами передачи и истолкования чужого слова – борьба с авторитарным словом, преодоление влияний, полемика, ссылки и цитирования и т.п., – но все это остается в процессе работы и не касается самого предметного содержания науки, в состав которого говорящий человек и его слово, конечно, не входят. Весь методологический аппарат математических и естественных наук направлен на овладение *вещным, безгласным объектом*, не раскрывающим себя в слове, *ничего не сообщающим о себе*. Познание здесь не связано с получением и истолкованием слов или знаков самого познаваемого объекта»[6].

Эту же мысль порой разделяет с М. Бахтиным и Ю. Лотман, когда, к примеру, он говорит о специфике исторического познания: «…Прежде, чем установить факты "для себя", исследователь устанавливает факты для того, кто составил документ, подлежащий анализу (область исключенного)… Можно было бы составить интересный перечень "не-фактов" для различных эпох... Каждый жанр, каждая культурно-значимая разновидность текста отбирает *свои* факты. То, что является фактом для мифа, не будет таковым для хроники, факт пятнадцатой страницы газеты – не всегда факт для первой. Таким образом, с позиции передающего, факт – всегда результат выбора из массы окружающих событий события, *имеющего, по его представлениям, значение*»[7].

Трудно не согласиться с тем, что в исторической науке имеет место явная теоретическая и идеологическая нагруженность фактов. Это обстоятельство, по сути, установил еще К. Мангейм, а современная Ю. Лотману философия и социология науки пошла много дальше, обнаружив то же самое применительно к естественно-научному зна-

[6] Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 163.
[7] Лотман Ю. Семиосфера. СПб., 2001. С. 337.

нию. Итак, и М. Бахтин, и ранний Ю. Лотман, стремясь выявить специфику гуманитарного познания, противопоставляют ему познание естественно-научное, как если бы последнее не обладало никакой теоретической и идеологической нагруженностью. Поэтому они, если перефразировать классика, вплотную подходят к принципам современной методологии гуманитарных наук, но останавливаются перед социальной эпистемологией. Сторонники последней же последовательно показывают, что и «говорящий человек и его слово» (М. Бахтин), и весь жизненный мир в измененном, «снятом» виде входят в содержание естествознания. Социальность и субъективность, таким образом, отнюдь не являются тем, что отличает гуманитарные и чего лишены естественные науки. Пониманию этого парадоксальным образом способствуют идеи самого М. Бахтина, обобщенные и экстраполированные на другие области знания.

В заключение мне хотелось бы отметить, что разговор о специфике гуманитарных наук порой приобретает излишне абстрактный характер. Мне представляется, что можно говорить лишь об особенностях конкретной дисциплины, а они, в свою очередь, обусловлены, по крайней мере, четырьмя факторами: особенностями процесса формирования; особенностями внутренней истории; особенностями внешней истории; наконец, дистанцией от формирования до момента оценки. Если бы мы попытались проследить действие этих факторов на примере некоторой гуманитарной науки, в контексте конкретной реконструкции ее развития, то могли бы существенно продвинуться в решении обсуждаемой проблемы.

Л.А. Микешина. Несомненно, все, что наработано в методологии естественных наук, предельно значимо для развития всех форм научного знания, в том числе и для социально-гуманитарного. Это некий базис, и дальнейшая работа в этой области возможна именно потому, что он есть. Но когда работа идет дальше, возникают различные варианты и подходы, например культурцентристский подход. Действительно, непосредственное перенесение методов и критериев рациональности естествознания в социальное и гуманитарное знание могло бы привести как к утрате его специфики, так и к существенным методологическим и теоретическим ошибкам. Так, известно, что блестящая абстракция К. Маркса «общественно-экономическая формация» в контексте сциентистской философии и в рамках соответствующей идеологии была, к сожалению, онтологизирована, превращена, по сути, в подобие естественно-научного объекта. Тогда как «идеальный тип» М. Вебера, рассматриваемый как абстракция социальной науки и не более, позволял учесть специфику самого объекта – общества, стать основанием теоретического построения, избежать онтологизации.

Отмечу также специфику субъекта и его эпистемологические особенности в социальных и гуманитарных науках, связанную со свойствами самих объектов. Известно, что в отличие от наук о природе, где субъект противопоставлен объекту, «стоит перед картиной мира», в

гуманитарном и социальном знании диспозиция другая – субъект включен в сам объект – жизнь общества, формы культуры, гуманитарные и социальные науки, искусство, религию. Это объективно существующая ситуация, тогда как субъективно исследователи-гуманитарии ставят себя, как правило, на место наблюдателя со стороны, осознают себя на этом месте по аналогии с субъектом естественных наук и в соответствии с идеалами, господствующими в европейской культуре. Разумеется, такая позиция искажает положение дел, как бы не требует саморефлексии, она привычна исследователю, а эпистемологическая ситуация, как правило, им не осознается. Отмечу, что наша дискуссия по этому поводу имеет очень давнюю историю. Так, Ф. Хайек в работах 40–50-х гг. прошлого века, критически осмысливая сциентистские позиции в науках об обществе и человеке, напоминал, что еще в XVIII в. Ж. Кондорсэ ввел понятие стороннего наблюдателя, позволявшее «изучать человеческое общество так же, как мы изучаем колонии бобров и семейства пчел» (эта идея стала излюбленной в позитивистской социологии), и вместе с тем признавал, что этот идеал до конца недостижим, поскольку «наблюдатель сам является частью человеческого сообщества». В наше время тем более очевидно, что диспозиция субъекта социального и гуманитарного знания по отношению к объекту отличается от традиционного субъектно-объектного отношения, представленного в естественных науках, вообще в натуралистическом подходе. Она требует специальной экспликации. Если учитывать, что исследователь общественных явлений сам является частью этих же явлений, то это вызывает необходимость пересмотра и развития основных понятий традиционной методологии (естествознания), если мы применяем ее в сфере социальных и гуманитарных наук, на чем настаивает Вячеслав Семенович.

В связи с развитием методологии возникает возможность учесть богатый опыт, в частности, герменевтики, тем более что это вызывает определенное недоумение – можно ли ее рассматривать как научный метод? Отмечу лишь один аспект этой фундаментальной проблемы. Известно, что герменевтика – это учение о понимании и интерпретации. Однако необходимо помнить, что как логико-методологический естественно-научный метод интерпретация реализуется по строгим нормам и правилам, в том числе формализованным, внутри этих наук, т.е. она имеет статус конкретно-научного метода исследования. Но в филологии, юриспруденции, философии, экзегетике интерпретация, или специальная герменевтика, однозначных правил не имеет и вместе с тем с необходимостью в содержательной форме, при ведущей роли субъекта-исследователя, применяется в этих областях знания. Поэтому и требуется специальный эпистемологический и методологический анализ, дальнейшее развитие методологии неформализуемых наук, что и осуществил, например, Д. Дэвидсон, предложив концепцию «радикальной интерпретации». Включенность субъекта в объект исследования предполагает саморефлексию и значительно усложняет предельно абстрактное бинарное отношение «субъект–

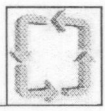
объект», как правило, отвлекающееся от субъект-субъектного контекста. Известно, например, что К. Ясперс выделяет, по крайней мере, четыре уровня рассмотрения «Я» и субъекта в философских текстах, а мы часто все сводим к двухуровневой трактовке: эмпирический субъект – трансцендентальный субъект. Такая схема, может быть, и проходит по отношению к естествознанию, но особые проблемы гуманитаристики и социальных наук она решить не может. Эмпирический субъект здесь совсем не так примитивен, не «человек с улицы», но философская абстракция, стремящаяся сохранить ценностные и социокультурные характеристики. Например, когда мы говорим об эмпирическом уровне гуманитарного или социального познания, нам просто необходимо указывать предпосылки, без которых никакого эмпирического знания нет ни у отдельного ученого, ни у научного сообщества, скажем, неявное знание или парадигмальные ориентации. Поэтому вопрос о том, где и как работает та или иная методология, нельзя решать априорно. Надо смотреть, что получается в каждом случае. Например, уровень предельных обобщений и дефиниций в социально-гуманитарном знании – это нечто совершенно иное, нежели в естественных науках. Формально-логические определения «школьного» вида, как это показал, например, А.В. Михайлов, далеко не всегда «ухватывают» суть дела. Чтобы понять это, философу необходимо войти в конкретное содержание специального знания.

Реплика. Если его туда пустят.

Л.А. Микешина. Но уж если пустят, то там надо вести себя достойно и учитывать мнение специалистов. К сожалению, бывает и так, что преподаватель философии, не понимающий в физике, считает возможным излагать студентам физическую картину мира и судить о том, как должны меняться методологические требования этой науки. То же самое возможно и в лингвистике, литературоведении, вообще в гуманитаристике. Там все наши «заготовки» во многих случаях ни к чему не пригодны. И не сказать, что там нужно меньше научной подготовки, чем в физике или биологии.

В.С. Степин. В принципе, это и моя позиция. Но я уточнил бы следующее: априорно нельзя утверждать ни то, что в методологии социально-гуманитарных наук все так же, как и в естествознании, ни обратное – что там все иное. Нужна работа в конкретном материале с использованием имеющегося арсенала концептуальных методологических средств. А то, что этот арсенал в процессе такой работы будет обогащаться, у меня сомнений нет.

Теперь несколько слов о концепциях субъекта. У нас общая позиция – само понятие субъекта допускает разные уровни абстракции. Например, индивидуальный, групповой, коллективный и даже «эмпирический субъект» – это абстракции, которые используются в эпистемологических и методологических описаниях. Но важно четко зафиксировать, когда мы начинаем изучать субъекта познания, то он становится предметом изучения, и именно в этом случае мы фиксируем его различные признаки и вводим соответствующие определения.



Включенность исследователя в исследуемый объект приводит к его «функциональному расщеплению». Одно – это я как познающий, другое дело – я как часть познаваемого. Эти две аспекта нужно различать. Когда речь идет обо мне как части познаваемого мною же объекта, то мое знание об этом объекте может что-то изменить в нем. А может и не изменить. Например, я как социолог установил нечто очень важное об обществе, в котором живу, но мое знание может и не изменить ничего в этом обществе, потому что такому изменению препятствует или власть, или даже само общество. Все это очень конкретно.

Л.А. Микешина. Это верно. Но в социально-гуманитарном знании нет даже в принципе такой возможности – отвлечься от субъективности исследователя, который реконструирует некий социальный объект. В естественном знании такая возможность всегда есть.

В.С. Степин. Для меня это не очевидно. И в естествознании субъективность была фактором множественности описаний и объяснений, особенно когда оно сталкивалось с уникальными объектами, например в палеонтологии или космологии, да и в биологии. В любом познавательном акте неявно или явно присутствуют ценностные и иные культурные предпосылки.

Л.А. Микешина. Но их типы, как и способы «вхождения», различаются в естествознании и в социально-гуманитарном знании.

В.С. Степин. Конечно. Иначе какой бы был вообще смысл различать эти сферы научного знания? Но эти различия должны учитывать исторические изменения в науке. Например, когда В. Дильтей резко противопоставлял науки о природе и науки о духе, то он исходил из представлений о естествознании классического периода, когда оно действительно сильно отличалось от обществоведения, которое уже тогда становилось неклассическим. Но современное естествознание уж не такое, каким оно было во времена Дильтея. И в нем тоже есть объекты уникальные и нетипологизируемые, данные в единственном экземпляре (эволюция биосферы, эволюция метагалактики от Большого взрыва до наших дней).

Л.А. Микешина. Но ведь это не означает, что теперь все едино и никакой разницы между методами естественной науки и социально-гуманитарных наук в принципе нет и что неправомерно пользоваться понятиями «науки о природе» и «науки о духе» (культуре, социуме)?

В.С. Степин. Не означает. Моя позиция состоит не в том, чтобы отрицать эти различия, а в том, чтобы их конкретизировать с учетом современного состояния науки. Спекуляции на различиях между науками и жесткие запреты на перенос методов из одной науки в другую могут приводить к плачевным результатам. Вспомним Т.Д. Лысенко, который настаивал, что биология – это не физика и не химия. Поэтому применение физико-химических методов ничего не дает для понимания жизни. Там неживое, тут – живое. И с этих позиций отрицались достижения генетики.

Л.А. Микешина. Ну, пример с Т.Д. Лысенко нас может увести от темы, поскольку это необычная ситуация в науке – подключается фактор идеологического давления в тоталитарном обществе.

В.С. Степин. Почему? Ведь сохраняется опасность получить нечто подобное в социально-гуманитарной области, когда говорят: в этой сфере науки все совершенно иное, чем в других? И поэтому нельзя в нее переносить методы из других наук. А ведь это не так. Например, синергетика наработала интересные методологические идеи, и они могут эффективно применяться для анализа исторических процессов.

Л.А. Микешина. Все-таки для естественных наук и их объекта не так уж важно, какими мировоззренческими или идеологическими установками руководствуется исследователь, поскольку там существуют способы элиминации такого влияния. А в социальных науках это неустранимо и выходит на первый план, что не объясняется только ситуацией «расщепленности», но также принципиальными особенностями объекта, в который включен субъект, наделенный сознанием и системой ценностей.

В.С. Степин. Иногда так, иногда иначе, вспомним хотя бы дискуссии в немецкой науке об арийской и неарийской физике. Но я согласен с тем, что для социально-гуманитарных наук анализ ценностных установок совершенно необходим. Вопрос в том, чем он специфичен для этих областей в условиях неклассической и постнеклассической науки.

В.П. Филатов. Я по образованию физик, но ощущаю себя как бы попавшим в Венский кружок вместе с Людмилой Александровной. Но я все-таки рискну сказать несколько слов в защиту специфики социальных и гуманитарных наук. Хотя я согласен с тем, что сейчас, конечно, идет сближение между ними и естествознанием. В XIX в. достаточно жестко подчеркивали отличие этих двух типов наук, это было оправдано, на мой взгляд, поскольку науки в это время проходили период дисциплинарного становления, им было важно осознать свой *предмет и метод*, как тогда говорили, и они постоянно об этом предмете и методе заботились. Сейчас идет сближение. На мой взгляд, и термин «естественные науки» уже неоднозначен. И это же можно сказать в отношении «социально-гуманитарных наук». Я мог бы выделить, по крайней мере, четыре типа. Два типа в естественных науках и два типа в общественных науках. В естественных науках это точные науки – физика, химия и то, что раньше называли классифицирующими науками – биология, науки о Земле. Кстати, я не согласен с тем, что биология изначально ориентировалась на ньютоновскую физику. Это не так. Скажем, В. И. Вернадский очень хорошо показал, что в XVII–XVIII вв. натурализм ориентировался на аристотелевскую методологию и резко противостоял картезианской, галилеевско-картезианской парадигме. Одно дело И. Ньютон, другое – К. Линней и Ж. Л. Л. Бюффон, которые строили естественную историю аристотелевского типа. Позднее, конечно, произошло проникновение меха-

ницизма и в биологию. Но как тип естественно-научного исследования «классифицирующий натурализм» остался.

И в социально-гуманитарных науках четко выделяются два типа. В социальных науках – экономике, социологии и пр. действуют стандартные модели объяснения, открываются законы и т.д. В гуманитарных науках – совсем не так. Например, историк античности существенно отличается от правоведа или экономиста. Последний скорее ближе к физику, чем к историку. Бывало так, что модели в экономике (Т.Р. Мальтус) были близки к биологическим. Популярная сегодня эволюционная экономика рассматривается как одна из возможных альтернатив теории мэйнстрима. В ней тоже используются биологические модели и аналогии. Есть экономическая география. Примеров множество.

Если говорить о методах, то не надо сразу брать такие крайности, как герменевтика. И естественные, и гуманитарные науки широко используют методы классификации и типологии. Здесь больших разрывов нет. А вот крайности действительно сильно отличаются. Физик и историк религии работают совершенно по-разному. Это разные стили мышления, а не только разные методы.

Но если историк – ученый, он должен объяснить, почему у того или иного исторического субъекта создавались такие-то представления об обществе. Если этого не сделать, то остается только систематизировать обыденные представления, что тоже, кстати, не такая уж простая научная задача.

Л.А. Маркова. Так или иначе, все мы, выступающие сегодня, обсуждая вопрос о соотношении методологии естественных и гуманитарных наук, высказываем свое мнение об отношении субъекта (познающего) к предмету (познаваемому). Действительно, это отношение в современной философии науки становится *проблемным*, оно переосмысляется, и существуют разные мнения о его содержании. Важный момент состоит в том, что в XX в. *субъектный полюс* научного познания приобретает *логическое* значение. Если прежде субъект познания мог быть предметом внимания историка, художника, психолога, но из научного знания он устранялся и мог там присутствовать только как нарушающий его строгость и истинность, то теперь исследователи задаются вопросом, а не включаются ли субъектные характеристики каким-то образом в научный результат *с необходимостью*. Становятся актуальными рассуждения такого рода: ведь предмет изучения изолируется от всего случайного и от особенностей субъекта деятельности *самим ученым*, предмет ставится в необычные для него условия (вспомним собаку Павлова), можно ли при этом считать, что природный объект полностью независим от изучающего его исследователя?

Как уже отмечали выступавшие до меня коллеги, субъект и предмет – обязательные два полюса научного познания. Хочу напомнить, что в прошлом веке поочередно, а в какой-то мере и параллельно велись работы по двум направлениям: естественно-научное мышление

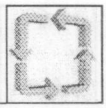
как направленное на предмет и максимально исключающее из своих результатов все человеческое (отношение субъект–предмет) и гуманитарное мышление с преимущественным отношением субъект–субъект. Последний тип мышления, по мнению многих философов, историков, социологов науки, становится доминирующим и в естествознании. Можно, на мой взгляд, констатировать, что оба направления к настоящему моменту исчерпали логические возможности своего развития. В сегодняшних выступлениях В.Г. Федотовой и Л.А. Микешиной с разных позиций и на разном материале, с расстановкой разных акцентов проводилась, безусловно, правильная мысль, что нельзя ограничиваться разработкой одного полюса (субъектного или предметного), надо учитывать их взаимопроникновение и взаимодополнительность, сдвиги демаркационных линий. У В.А. Лекторского прозвучала мысль, разработка которой помогает преодолеть многие трудности. Действительно, при всем плюрализме теоретических позиций в естествознании, при всех тех различиях, которые можно обнаружить в науке разных эпох, мы, тем не менее, говорим именно о *науке*, о том, что является общим для каждого из рассматриваемых случаев. Если забыть об этом, то наука просто исчезнет из наших рассуждений, растворившись в культуре, социуме, уникальном случае и т.д.

Другое направление в анализе *научности*, а именно аналитическую философию, кульминационной точкой развития которой обычно считают Венский кружок, мы в нашей среде обсуждаем гораздо реже. Философы этой традиции рассматривают научное знание прежде всего с точки зрения языка, смысл которого сводится к функции *сообщения* и *обозначения*. Такое инструментальное толкование языка *как средства* соответствует методологическим установкам познающего мышления. Свойства, особенности субъекта не имеют никакого значения. Целью логики является создание *единого языка* науки, которым одинаково успешно может пользоваться любой субъект научной деятельности. С самого начала выполнение этой задачи наталкивалось на трудности, на которые, однако, до поры до времени или вообще не обращали внимания, или откладывали их преодоление на более позднее время.

Перечислю некоторые из тех проблем, которые начинают активно обсуждаться в *постаналитической* философии.

Одним из наиболее важных принципов логики Венского кружка было различение аналитических и синтетических предложений. У. Куайн, однако, считает невозможным провести четкую грань между этими двумя типами предложений.

Другая трудность. Неопределенность перевода, новый взгляд на эту проблему вывел У. Куайна в самый центр постаналитической философии. У. Куайн показывает, что ни одно из руководств по переводу не может быть универсальным. Этот вопрос продолжает затем обсуждаться в лице Т. Куна, Р. Рорти и других философов.



К.-О. Апель, в свою очередь, вычленяет в аналитической философии некоторые моменты, которые позволяют осуществить выход за ее пределы. Один из смысловых аспектов самого названия «аналитическая философия» К.-О. Апель видит в том, что эта философия, оставаясь вроде бы научной (устремленной к миру), совсем не обязательно обращается к объективному положению вещей, которым занимается естествознание, но анализирует *предложения* как элементы прежде всего языка этой науки. Таким образом, в самом основании аналитической философии заложена некоторая двусмысленность. Такой поворот воспринимается в англоязычном мире как своего рода методическая революция в философии.

Большое значение в аналитической философии при критике метафизики приобретает понятие *смысла,* напоминает К.-О. Апель, и в связи с этим различие между предложениями, лишенными смысла, и осмысленными предложениями. Можно предположить, что эквивалентом *понимания* в аналитической философии должна быть тема *смысла,* ибо предложения объясняющей науки следует сперва *понять* как выражающие некоторую человеческую интенцию, прежде чем *объяснять* положение дел.

Об этом же свидетельствует вопрос об интенциональных предложениях, или, как говорят аналитические философы, «предложениях верования». К таким предложениям относятся предложения типа «А верит, что р», «А думает, что р». Здесь впервые в аналитической философии *интенциональный* язык понимающих наук о духе вступает в конфликт с языком «единой науки». Л. Витгенштейн пытается дать свое решение возникшей трудности, которое кажется К.-О. Апелю неубедительным и которое устраняет, по замыслу Л. Витгенштейна, человеческий субъект высказывания.

Если в постаналитической философии и ставится под вопрос субъект-предметное отношение в его классическом варианте (когда субъект устраняется из результата научного исследования), то это не означает, что доминирующим здесь становится понятийный аппарат наук о духе. Вопрос вообще не ставится «или – или». Здесь, как и в постмодернизме, работающими становятся другие понятия, такие как «смысл», «событие», «нонсенс», «ноэма», «контекст», «наблюдатель». Основной их признак – это то, что они не принадлежат ни к миру вещей, ни к миру субъекта. *Контекст*, например, формирующий новый научный результат (будь то в рамках отдельной культуры или уникального события), предполагает наличие совокупности духовных, логических, материальных обстоятельств. Или другое понятие, тоже получившее достаточно широкое распространение как в философской, так и в научной литературе, – *«наблюдатель»*. Наблюдатель в теории относительности, в синергетике у И. Пригожина или в науке о хаосе не является ни субъектом, ни предметом. Таким же он предстает и в логике смысла Ж. Делеза или в философских рассуждениях о науке Р. Тома.

В связи с только что сказанным я хотела бы обратить внимание на понимание субъекта В.С. Степиным. В.С. Степин вычленяет главную трудность той позиции, согласно которой субъект какими-то своими характеристиками включается в получаемый в науке результат. «О *каких* характеристиках можно в данном случае говорить?» – задается В.С. Степин ключевым вопросом. Далеко не обо всех. В предмет научного исследования и, соответственно, в результат могут входить только те свойства субъекта, говорит В.С. Степин, которые непосредственно участвовали в формировании нового знания. Субъект как бы раздваивается, и та его часть, которая включается в предмет вместе с изучаемым предметом, становится объектом научного исследования. Субъект-предметное отношение восстанавливается. В этом пункте рассуждений В.С. Степина я бы хотела ему возразить. Если субъектные характеристики, включенные в предмет, опредмечиваются, становятся предметом, то ситуация познавательного научного отношения к миру и проблема субъект–предмет воспроизводятся вновь и вновь. Чтобы этого избежать, надо, по-видимому, отнестись к включенным в предмет субъектным характеристикам как к не являющимся ни субъектными, ни предметными. Именно так, насколько я понимаю, строится понятие наблюдателя, очень близкое по своему содержанию понятию субъекта у В.С. Степина.

В.С. Степин. Мне приходится сделать ряд пояснений. При характеристике познания в гносеологии традиционно используются абстракции субъекта и объекта. Но характеризуя познание как отношение субъекта к объекту, мы должны отличать два подхода: созерцательный и деятельностный. В первом объект дан изначально как внеположенный субъекту, который созерцает объект и получает знания, соответствующие объекту. Во втором субъект и объект выступают как полюса деятельности. Объект – это аспект или фрагмент мира, выделенный деятельностью и превращенный в предмет ее исследования. Он дан субъекту в форме деятельности, а его освоение предполагает активность субъекта. Для характеристики познания в рамках деятельностного подхода недостаточно ограничиться только констатацией, что познание есть отношение субъекта к объекту. Структура любой деятельности, в том числе и познавательной, включает особое звено, опосредующее воздействие субъекта на объект. Таким звеном выступают средства и операции деятельности. Они могут быть рассмотрены в двух аспектах. С одной стороны, как своеобразное продолжение субъекта деятельности (средства как проводник его воздействия на объект, операции как действия субъекта). С другой стороны, как объектные взаимодействия, подчиненные определенным законам, где предмет деятельности взаимодействует со средствами как особыми предметами, а операции деятельности предстают как отдельные акты этого взаимодействия. Средства и операции деятельности в их связях с субъектом образуют субъектную подструктуру деятельности, а в их связях с предметом и результатом деятельности – ее объектную под-

структуру. Сами по себе они – не субъект и не объект или и субъект, и объект одновременно. Но отсюда не следует, что абстракции субъекта и объекта становятся непригодными для описания познавательных ситуаций. Они сохраняются, хотя и в деятельностном подходе обретают новый смысл.

В любой деятельности, в том числе и познавательной, человек может быть и субъектом, и объектом (предметом деятельности), и даже средством деятельности. Например, в некоторых социально-психологических экспериментах используют актеров, которые по заданию экспериментатора провоцируют испытуемых на определенные поступки. Скрытая киносъемка дает фактический материал для анализа исследователю (социологу или психологу), который ставит эксперимент. Он выступает как субъект исследования, а актеры функционируют в качестве средств (хотя в других отношениях они могут выступать и как субъекты общения и поведения). В эмпирических исследованиях с применением метода включенного наблюдения исследователь может выполнять не только функции субъекта познания, но и одного из компонентов исследуемого объекта (например, производственного коллектива, отношения внутри которого являются предметом изучения) и даже выступать в функции средства познавательной деятельности. Все эти позиции при анализе структуры научного познания следует различать. В противном случае мы будем применять абстракции субъекта и объекта там, где они утрачивают свои определяющие признаки. И тогда, как говорится, «смешались в кучу кони, люди». Тогда возникают полуметафорические утверждения о познавательной и иной деятельности как бессубъектной или безобъектной.

Такие утверждения в лучшем случае можно переинтерпретировать как постановку проблемы и фиксацию того, что описание деятельности как отношения субъекта к объекту хотя и необходимо, но недостаточно и нужны более дифференцированные подходы.

Б.И. Пружинин. Я не нахожу достаточно убедительных оснований для того, чтобы считать, что социально-гуманитарные науки становятся теперь эпистемологическим образцом и методологическим стандартом для естественных (как когда-то естественные претендовали на то, чтобы быть образцом и стандартом для социально-гуманитарных). Я не считаю, что ситуация просто перевернулась (т.е., строго говоря, что в этой области произошла революция). То, что ныне фактически происходит, можно представить как эпистемологическое и методологическое сближение социально-гуманитарных и естественных наук по целому ряду направлений. Мы сегодня можем констатировать, что и их предметность, и их средства, и даже их цели не столь уж разнонаправлены и уж, во всяком случае, вполне соотносимы. Иное дело, каким образом могут быть концептуально и исторически оценены сами эти процессы сближения. Мне кажется, именно это мы здесь и обсуждаем.

По существу, речь за нашим «круглым столом» идет о стратегическом культурном выборе, если не для науки, то для философии науки и эпистемологии. Ведь совершенно по-разному можно посмотреть на эту ситуацию сближения, разное увидеть и весьма разные выводы сделать (в том числе и практические). Если, скажем, возникающую ситуацию рассматривать как процесс «перемешивания» элементов «жесткого» и «мягкого» («сильного» и «слабого») вариантов науки, то применительно к науке в целом можно говорить о нарастании энтропии, т.е. о размывании стандартов науки в том виде, как они сложились в рамках прежде всего естественно-научных дисциплин.

Можно, однако, процессы сближения естественных и социально-гуманитарных наук представить иначе. Вполне можно не считать, что в результате этих процессов наука в целом отказывается от закрепленного в методологических стандартах и требованиях познавательного опыта естествознания. Так что, скажем, привнесение методов социально-гуманитарных наук (семиотических методов, в частности) в естествознание совсем не означает, что естественно-научные дисциплины неизбежно отступают от своих традиционных дисциплинарных установок. Конечно, свои методологические особенности есть и у комплекса социально-гуманитарных наук, и у комплекса наук естественных. Поэтому-то и возникает вопрос, по каким направлениям происходит сближение этих комплексов и что оно означает? Конечно же, в результате этого сближения меняется интеллектуальный фон научно-познавательной деятельности, меняются некоторые онтологические предпосылки, но взаимопроникновение методов и соответствующих методологических установок отнюдь не обязательно разрушает дисциплинарную структуру науки. И задача эпистемолога в таком случае – осмыслить механизмы и условия конструктивности происходящих процессов, условия, при которых они противостоят тенденциям, размывающим дисциплинарные стандарты науки.

В сегодняшней реальности (в собственно научно-познавательных практиках, в философско-методологической рефлексии над этими практиками и в их интеллектуальном и культурном окружении) можно обнаружить тенденции и оценки и того, и другого рода. При этом в философско-методологической литературе превалируют сегодня первые. Здесь я хочу обратить внимание на процессы второго рода. Я хочу акцентировать внимание на наличии в науке тенденций, противостоящих размыванию ее стандартов и способствующих сохранению дисциплинарной строгости даже в ее наиболее гуманитарных областях. Причем достаточно ясно выявить эти тенденции позволяет нам дихотомия фундаментальной и прикладной науки, где четко обнаруживаются различия в характере междисциплинарного взаимодействия в фундаментальных и прикладных исследовательских контекстах.

Мы, по-видимому, так боимся обвинений в сциентизме и редукционизме, что воспринимаем как «компромат» ссылки на естественно-научные истоки общенаучных методов, применяемых в гумани-

тарных исследованиях. А вот, например, каким образом определял метод литературоведения Б.И. Ярхо (его методологический опыт во многом был использован М.Л. Гаспаровым): «Поскольку литературоведение в этом аспекте представляется как наука о жизни, то и по методу она должна быть объединена с дисциплинами биологическими. Человек – продукт природы, и его произведения не могут быть изъяты из общего потока жизни, три главных момента которой – множественность, непрерывность и изменчивость – положены здесь в основу метода. Метод этот – сравнительно-статистический, поддерживаемый, насколько возможно, экспериментом. Применение вариационной статистики здесь, как и везде, исходит из того положения, что число является самой объективной категорией мышления и математическое доказательство обладает наибольшей всеобщностью. Принцип применения статистики таков: ни одна статистическая величина не вводится без морфологического анализа, т.е. без проверки того, какие реальные литературные явления она отражает... Кладя количественный учет и микроанализ в основу исследования, я только предлагаю сделать для литературоведения то, что полтораста лет тому назад сделал Лавуазье для химии, и не сомневаюсь, что результаты не заставят себя ждать»[8].

Я цитирую здесь том работ Б.И. Ярхо, который выпустили недавно филологи. И я думаю, само издание этого труда позволяет утверждать, что сегодня в гуманитарной сфере существует интерес не только к междисциплинарным взаимодействиям, ориентированным на конкретные прикладные цели и фактически размывающим под эти цели междисциплинарные границы, но, кроме того, ведется работа, которая может быть охарактеризована как фундаментальное дисциплинарное исследование.

Приведенный выше пример – это, если можно так сказать, образец фундаментального исследования в сфере гуманитарных наук. В прикладных исследованиях мы получаем совсем иную картину. Мы констатируем именно размывание дисциплинарных границ, которое принимается за норму научного исследования в господствующих ныне философско-методологических концепциях. И как раз здесь мы имеем «смешение» дисциплинарных подходов и методов, оправдываемое исключительно локальными прагматическими целями. Впрочем, «в утешение» социально-гуманитарным наукам следует признать, что даже естествознание, даже математика отступают под давлением прикладных установок от дисциплинарных требований. И, кстати, именно в этом случае мы обнаруживаем, что хотя речь в прикладном исследовании и идет о знании, но о знании не в строго научном смысле.

Так что в свете всего сказанного совсем не беспочвенным кажется мне возникающее у меня сомнение: а так ли уж автоматически в грядущем «обществе знания» предполагается существование науки?

[8] Ярхо Б.И. Методология точного литературоведения: Набросок плана // Он же. Методология точного литературоведения. М., 2006. С. 7.

В.Н. Порус. Зачем нужны дискуссии о различиях или сходствах между естественными, социальными и гуманитарными науками? Какой цели они служат?

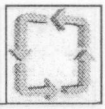
Странный вопрос, не так ли? У этих дискуссий почтенная история, сколько раз из них делались глубокие выводы! Правда, если эти выводы сравнить, получится, что воз и ныне там, где был во времена Г. Риккерта или М. Вебера, хотя не сказать, что совсем не двигался. Просто, если сложить векторы его движений, сумма будет примерно равной нулю. И по сей день продолжаются разговоры о том, какие особенности наук о природе и наук о культуре могут считаться выражением «подлинной научности», а какие – только приближением к ней или, напротив, отдалением от нее. Словно эта пресловутая «подлинная научность» является неким образцом, и дело только в том, чтобы сравнивать с ним различные науки.

Но зачем само сравнение? Если для того, чтобы выстроить иерархию, т.е. указать *не-естественным* наукам их скромное место (а *противоестественным* – на дверь!), то из этого выйдет суета: одни будут во что бы то ни стало демонстрировать свое (мнимое или реальное) превосходство, а другие – притворяться, будто усвоили нужные уроки, и мимикрировать под лидирующую в данный момент науку (особенно забавно, когда этим занимаются философы, гордясь тем, что им хоть иногда удается походить на *настоящих* ученых).

Представим: вот здание, на фронтоне которого написано «Не ученый, да не войдет!». Желающих – множество (видимо, что-то привлекательное находится именно внутри этого здания!). Но вход только через контрольно-пропускной пункт. А контролеры (они же и охранники) – эксперты, вооруженные до зубов «методологическими» принципами. Появляется очередной претендент. Вопрос: способен ли ты в научной области, в какой работаешь, отличать «знание» от «мнения»? Претендент понимает, что соврать не получится. Но как ответить честно? Он колеблется. Заметив колебания, охранники, то бишь эксперты, усиливают нажим: а не считаешь ли ты, что в структуре научного знания допустимы такие суждения, приемлемость которых зависит от твоей ценностной (не-эпистемической) ориентации? Здесь честность берет верх над осторожностью, и наш претендент выпаливает: «Да, считаю!» Реакция охранников молниеносна: претендента разворачивают и готовятся придать ему ускорение в обратном направлении. Но тут происходит вот что.

Раздается звонок. Старший охранник подходит к аппарату и слышит голос начальника: «Слушай, инструкция изменилась. Учти: отныне, кто признает ценностную нагруженность научных суждений, может считаться ученым наравне с теми, кто это отрицает. Пусть там сами разбираются, это уже не наше дело!» Охранник пожимает плечами: «Проходите!»

Так повторяется не раз, и постепенно здание наполняется весьма разношерстным людом. Сторонники очень разных методологических



взглядов получают удостоверения своей принадлежности к науке, и хотя между ними, бывает, все же возникают перепалки, но лишь в свободное от работы время (хотя бы потому, что работают они в разных помещениях). Иногда они даже выступают с совместными заявлениями, в частности, когда речь идет о финансировании их деятельности, а главное – о зарплате.

Сама идея контрольно-пропускного пункта теперь становится сомнительной. Действительно, какой смысл проверять методологические ориентации претендентов, если инструкции меняются, а кто уж очень захочет попасть в здание науки, так или иначе туда попадет? В конце концов, скажут ученые, мы и сами отлично разберемся, кого считать своими коллегами, а кого самозванцами. Сами, т.е. без помощи философов-методологов.

В.С. Степин. Но ведь ученые, принимая такие решения, выполняют как раз философско-методологическую функцию! Одно дело, когда физики занимаются полями, частицами или волнами вероятности, другое дело, когда они же рассуждают о природе физического знания. Во втором случае они, естественно, вступают на почву философии и методологии науки, где и происходят дискуссии с теми, кто, как Вы говорите, стоит на КПП!

В.Н. Порус. Конечно. Но вопрос не в том, кто выполняет контрольные функции – философы или философствующие ученые. Вопрос в том, для чего нужен сам КПП, зачем науку ограждать кордоном!

Ученые, занимающиеся гуманитарными, историческими или юридическими исследованиями, всегда находили и будут находить место в науке, как ни отличались бы их методы от методов физиков или биологов, присутствуют в их выводах следы политических, идеологических, ценностных предпочтений или нет. Если кордон для чего-то и нужен, так это чтобы закрыть доступ в науку шарлатанам. Но это дело не такой уж великой сложности, и сколько бы туману не напускали любители сенсаций, еще не было такого, чтобы Институтом физических проблем руководил маг или прорицатель. Впрочем, изгнанные из храма не так уж переживают из-за этого, хотя оскорбленного визга бывает предостаточно. У них ведь есть возможность построить собственный храм и объявить его «неофициальной» или «альтернативной» наукой. Суть не в названиях, а в источниках финансирования: всем хочется поучаствовать в дележе порций, отпускаемых на прокорм науке государством или каким-то иным благодетелем. Хотя, признаем это, академики белой и черной магии находят источники существования более обильные, нежели университетские профессоры.

Но ведь дискуссии, о которых идет речь, велись и ведутся не ради того, чтобы кого-то отлучать от науки. Значение методологических критериев не в том, что они кому-то позволяют или не позволяют считаться учеными. Я бы выделил две осмысленные цели таких дискуссий.

Первая из них в том, чтобы исследовать процессы обмена методологическими идеями между различными науками. Такой обмен велся всегда. Но суть его и сегодня не вполне ясна, и из-за этой неясности нередко возникают мифы, увлекающие главным образом философов, пишущих о науке. Например, к их числу я бы отнес миф о философии как когнитивной науке (стоящей в одном ряду, например, с когнитивной психологией и компьютерными науками). О том, как ученые издеваются над подобным мифотворчеством, напомнила Е.А. Мамчур на одном из наших «круглых столов»[9], я имею в виду статью физика-теоретика А. Соукала о «трансформативной герменевтике квантовой гравитации», уже одно название которой пародирует развязное жонглирование терминами. Но бог с ними, с мифами. Сама идея о том, что «пространство научной методологии» едино (хотя анизотропно), а значит, есть возможность устанавливать сложные (возможно, «топологические») связи между различными методологическими «узлами» и «комплексами» (например, исследовать родство и различие процедур теоретической интерпретации в физических и социальных науках), я думаю вполне здоровая и продуктивная. И дело, конечно, не в похвальной любознательности философов, а в том, что такая идея могла бы быть полезной для самой науки.

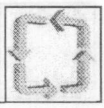
Вторая цель – это участие философии науки в рефлексии культуры над своими основаниями или универсалиями. Разумеется, такая рефлексия происходит не только в этой форме, но сейчас я говорю именно о ней.

Лозунги демаркации между наукой и *не*-наукой (или *недо*-наукой) звучали и еще иногда звучат как эхо «культурного шовинизма»: есть только одна культура, всякие иные (стоящие на других ценностных основаниях) – неподлинные, недоразвитые. В *настоящей культуре* может быть, разумеется, только одна *настоящая наука*, определяемая едиными и единственными методологическими критериями. Когда-то задача такого определения имела оборонительный смысл. Тогда мечтали: если культура в опасности, если растут контркультурные силы, грозящие ее опрокинуть и уничтожить, наука станет ее бастионом. Например, защитит достоинство и ценность научной истины от атак идеологии или прямого мракобесия.

Сейчас не будем уходить в глубину вопроса, как возник этот принцип и как обнаружил свою утопичность. Важно другое. Если в науку входит методологический плюрализм, если упраздняются всяческие КПП (кто бы на них не дежурил), то это не только и не столько внутреннее дело науки. Это свидетельство того, что меняется *самосознание культуры* (что и фиксирует по-своему философия науки).

Концепция постнеклассической научной рациональности, которую развил В.С. Степин, может быть понята как введение в филосо-

[9] См.: Философия науки: проблемы и перспективы (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 2006. № 10. С. 40.



фию, в которой культурологический и философско-научный анализы соединены по существу. В зеркале философии науки отражается то, что происходит в культуре: меняется способ существования культуры, ее самооценка, а значит, и перспектива ее развития.

Если рациональность – не архитектоника незыблемых критериев, а строится в конкуренции, диалоге разных типов отношения к действительности, то иерархия наук на основе априорных методологических оценок бессмысленна. Нельзя ограничить состав участников процесса и требовать от них догматической приверженности. Скорее, напротив, продуктивными участниками будут как раз те, чьи установки предполагают изменчивость, гибкость, позволяют принять иные способы объяснения и аргументации. Например, идеал *доказательности* научного знания может в ряде случаев уступать место нормам его *приемлемости*, устанавливаемым «рациональным» консенсусом. В тех случаях, когда такая уступка почему-либо затруднена или даже считается невозможной, научное сообщество склонно видеть в этом не сопротивление вульгарному релятивизму, а лишь здоровую ригидность, предохраняющую от рискованных деформаций научного мышления.

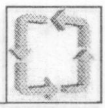
Культура, в которой рациональность и ее ценность зависят от конвенций, хотя и не произвольных, но все же переменчивых, стоит в ряду других *равноправных* культур. Межкультурное взаимодействие похоже на «круглый стол» (вроде нашего), где взаимное уважение не предполагает обязательного единомыслия. Цель участия в нем: сохранить саму возможность коммуникации, ценность которой более важна, нежели догматика ее принципов. Почему? Да потому, что коммуникация – условие сохранения самого культурного бытия, conditio sine qua non. Конечно, такое изменение не случается «само собой», у него есть предельно важная причина. Она в том, что европейская культура подошла к исторической черте, за которой ей грозит исчезновение (культурная катастрофа). Но это уже другая тема.

Наука по-своему отображает эту ситуацию. Поэтому, я думаю, напряженность былых споров о «критериях подлинной научности» уходит в прошлое и сменяется заботой о том, чтобы за «круглым столом» рациональной коммуникации не было униженных и оскорбленных (проходимцев за этот стол усаживать не следует, но это, повторяю, не требует особых интеллектуальных усилий).

Однако цена гибкой рациональности и методологической толерантности может оказаться чрезмерной. Такую цену, я думаю, запрашивает философский постмодернизм: сосуществование различных ценностных *оснований* подменяется отрицанием самой их *основности*. Это различие принципиально. Духовное напряжение, возникающее в диалоге различных культурных универсалий, разряжается в ситуативном прагматическом выборе, что сводит жизнь культуры к калейдоскопу жизненных ориентаций действующих в ее рамках индивидов (это и называют пост-культурой). В философии науки, как

я уже заметил, эта подмена может найти особое преломление, что угрожает обесценить ее философский статус. Вот с этой угрозой я и призвал бы считаться.

В. А. Лекторский. Я еще раз хочу подчеркнуть, что смысл нашего обсуждения был в том, чтобы попытаться понять с философско-методологических позиций ту ситуацию, которая складывается сегодня во взаимоотношениях наук о природе, с одной стороны, и наук о человеке и обществе, с другой, и которая ставит под вопрос привычные представления не только о науках второго типа, но и о науке и научности в целом. Поэтому речь идет не о простой классификации наук и не об их ранжировании с точки зрения меньшей или большей научности, а о том, как возможно научное познание вообще и во всех ли случаях оно возможно (хотя, нужно заметить, сама проблема демаркации науки и ненауки – не просто результат наивности логического позитивизма или желание принизить значение чего-то; ведь вся история философии, включая И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля и М. Хайдеггера, – это история попыток провести разного рода «демаркации» в смысле разделения плодотворных и тупиковых способов мышления, и это понятно, ибо одна из важнейших функций философии – это критическое переосмысление сложившихся форм знания и деятельности, своеобразная переоценка ценностей). Как точно заметил Б.И. Пружинин, в связи с обсуждаемыми нами вопросами речь может идти и о судьбе фундаментальной науки в целом – как естественной, так и социально-гуманитарной, ибо в самом деле «цивилизация знаний» не тождественна «цивилизации фундаментальных наук» – сегодня как раз экономически востребованным оказывается прежде всего прикладное знание (useful knowledge). Речь идет о больших мировоззренческих вопросах, связанных с судьбами западной культуры, ибо в ее основе лежит развитие науки и техники. Да и сама европейская философия была бы невозможна без попыток осмыслить феномен науки. Конечно, эти вопросы обсуждались и раньше. На них свои ответы в начале XX в. давали неокантианцы и В. Дильтей, а в середине прошлого столетия – логические позитивисты. Задача нашего «круглого стола» была не в том, чтобы вернуться в атмосферу обсуждений Венского кружка. Вопрос в том, что развитие современного естествознания, с одной стороны, и развитие исследований в области гуманитарных наук, с другой, позволяют пересмотреть многие привычные представления о взаимоотношении наук двух типов и сформулировать новое представление об отношении науки к знанию, вере, деятельности, пониманию. Речь идет, например, о таком современном феномене, как взаимодействие в рамках когнитивной науки естественных наук (нейронауки), лингвистики и философии. А вот и другой характерный феномен нашего времени: постмодернизм в таких науках о человеке, как филология, психология, социология, пропагандирует



идеи о том, что теория в этих науках, якобы, невозможна и не нужна, что вряд ли в этих дисциплинах можно говорить даже о знании. Между прочим, когда американский физик А. Соукал пародировал «трансформативную герменевтику», он имел в виду не философию как исследование когнитивных процессов, а именно постмодернистские рассуждения в гуманитарных дисциплинах.

Я считаю, что наш «круглый стол» был интересным и позволил, по крайней мере некоторые вопросы, связанные с его общей темой, остро сформулировать и в какой-то мере аргументировать. Были высказаны разные точки зрения, и естественно, что я согласен далеко не со всеми участниками нашего обсуждения. Наиболее близки мне позиции В.С. Степина и Б.И. Пружинина. Я не буду подробно излагать свою позицию, тем более, что мне приходилось специально писать по этим вопросам (Лекторский В.А. Возможна ли интеграция естественных наук и наук о человеке // Вопросы философии. 2004. № 3; в прошлом году под моей редакцией вышла коллективная книга «Наука глазами гуманитария» (М., 2006), в которой подробно обсуждается эта тематика). Выскажу только несколько соображений непосредственно в связи с нашим «круглым столом».

Первое. Я не могу согласиться с мнением о том, что в современной науке снимается субъектно-объектная дихотомия. Как показал еще А. Мейнонг, интенциональность, т.е. отношение к некоему объекту (как бы его ни понимали) – это специфическая черта психики вообще, сознания, в частности и тем более такого проявления сознания, как познание. Знание может быть лишь знанием о чем-то. Если субъект сливается с тем, что он познает, ни о каком знании не может быть и речи (но в этом случае не может быть даже и субъективных переживаний, так как интенциональны не только познание, но и эмоции, желания, волевые акты и т.д). Это признается всеми, кто исследует проблематику сознания и познания. Другое дело, как понимать объект и субъект. Как справедливо подчеркнул В.С. Степин, в рамках деятельностной концепции объект понимается как задаваемый формами деятельности, а субъект – как тоже производный от деятельности.

Второе. Понимание существует в разных формах и может быть как обыденной житейской процедурой, так и специальным научным методом исследования: нет его принципиального отличия от процедуры объяснения, только в первом случае это не выявлено, а во втором становится ясно, особенно когда речь идет о понимании других культур, иных онтологий и способов мышления. Но об этом я уже писал.

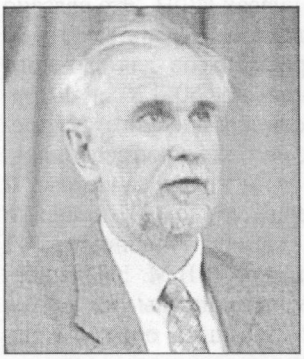
Третье. В. Дильтею и другим близким ему теоретикам гуманитарных наук могло казаться, что именно тот факт, что в науках о человеке субъект становится предметом познания, определяет специфику последних: ведь субъект непосредственно дан самому себе и, познавая

другого, он в конечном итоге имеет дело с самим собою. Сегодня так уже нельзя рассуждать. Ибо развитие философии и гуманитарных наук в XX в. выявило несамоочевидность субъекта, проблематичность его единства и идентичности, его непрозрачность для самого себя, сложность его отношений с другими и т.д. Для классической философии и для классических наук о человеке субъект был первой очевидностью, а мир и другие были неочевидны. Отсюда и вопросы: как возможно познание внешнего мира, как возможно познание чужого сознания? Для современной философии и науки существенен другой вопрос: как возможен субъект, и всегда ли он возможен? Ссылка на субъект – это не ответ на вопрос о том, как возможно познание, а проблема, требующая решения.

Я мог бы высказать и другие соображения по поводу обсуждаемой тематики, но думаю, что этого делать не нужно. Важно, что наш «круглый стол» привлекает внимание к актуальной проблематике, которая будет разрабатываться как нашими философами, так и интересующимися философией специалистами в разных областях науки.

«Концепции современного естествознания» и «Философия науки» — к взаимодействию учебных дисциплин

В. Г. БУДАНОВ



Два года назад для всех аспирантов и соискателей был введен обязательный экзамен «История и философия науки». Причем, если «История науки» сдается по профильной специализации аспиранта (физика, экономика, психология и т.д.) и обычно изучается в вузовских курсах профильного образования, то «Философия науки», охватывая все разделы науки, концепции ее развития, типологию, методологию, генезис науки, ее социокультурные аспекты, читается как дисциплина послевузовского образования для аспирантов. Редким исключением являются студенты-философы, они действительно слушают курсы «История и философия науки» (далее ИФН). В этой связи для большинства гуманитариев, как аспирантов, так и лекторов, уникальное значение имеет базовый курс «Концепции современного естествознания» (далее КСЕ). Он введен для всех социально-экономических и гуманитарных специальностей вузов России более десяти лет назад, на его материалы и концепции, несомненно, можно и нужно опираться в курсах ИФН. Сегодня в большинстве учебных

программ общие курсы по философии и КСЕ – единственные предтечи и основы аспирантского курса по философии науки.

Важно отметить, что при создании концепции дисциплины КСЕ, а я являюсь одним из ее разработчиков, в основу данного курса уже были заложены многие цели и мотивы, присущие ИФН. Общими прежде всего являются такие вопросы: характеристики научного метода, развитие науки в контексте культуры, научные революции, наука и современная цивилизация и т.д. Но только знание фактического, предметного материала наук помогает проиллюстрировать основные положения и этапы становления философии науки. И философия науки в своем развитии в значительной степени обращалась именно к естествознанию, особенно к физике. В данной статье я попытаюсь описать свое видение и опыт конструктивного взаимодействия этих дисциплин, что, надеюсь, будет полезно лекторам.

Обратимся к учебникам и программам. Для дисциплины ИФН современных учебных пособий пока совсем немного, но написаны они добротно известными философами и методологами науки, такими как В.С. Степин, В.А. Горохов, Л.А. Микешина, А.Л. Никифоров, В.М. Розин, М.А. Розов, В.А. Рузавин и другими, в качестве базового пособия рекомендован учебник В.С. Степина[1]. Программа по этой дисциплине, видимо, еще будет уточняться и обсуждаться[2], хотя подобные курсы читаются не одно десятилетие[3]. Для дисциплины КСЕ ситуация намного сложнее, и далеко не каждый учебник КСЕ может помочь в изучении философии науки. Существуют десятки пособий, чаще всего поверхностных, неполных, неточных, среди которых лишь немногие могут быть использованы в курсах ИФН. Это связано и с объемами курсов: от 10–30 аудиторных часов для заочного отделения до 60–120 аудиторных часов для дневного. Из доступных сегодня профессиональных и в методологическом, и в содержательном отношении можно назвать учебники Т.Я. Дубнищевой[4] и В.М. Найдыша[5], которые рассчитаны на курсы КСЕ с большим объемом часов. Они могут использоваться и для изучения ИФН.

Особая ситуация сложилась с программами по КСЕ. Сегодня существуют две примерные государственные программы по КСЕ. Первая программа 1995 г.[6]

---

[1] Степин В.С. Философия науки. М., 2006.

[2] См.: Розин В.М. Опыт построения методологического курса-навигатора для учебной темы «История и философия науки» // Эпистемология и философия науки. 2004. № 2.

[3] См.: Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1995.

[4] Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания. М., 2005.

[5] Найдыш В.М. Концепции современного естествознания. М., 2007.

[6] Буданов В.Г., Мелехова О.П., Суханов А.Д. Примерная программа дисциплины «Концепции современного естествознания». М., 1995.

в своей основе несет идею представления концепций современного естествознания в духе Дж. Холтона[7] – как развития сквозных тематических структур, дающих особый способ видения, структурирования научной картины мира. Но при всей оригинальности и краткости такого способа предъявления общенаучных онтологий, как выяснилось в процессе преподавания, не удается в полной мере раскрыть генезис научного знания, его парадигмальные сдвиги, междисциплинарные прививки, исторический и социокультурный контексты. Эта программа сегодня более подходит для кратких курсов КСЕ, а в объемных курсах приходится дополнительно вводить большой раздел по истории науки. Наша вторая программа по КСЕ 2000 г. под редакцией В.С. Степина[8] естественным образом следует логике исторического развития научного знания, драме его идей и намного больше корреспондирует с курсом ИФН, однако и она рассчитана на большие объемы часов.

Опыт десятилетнего авторского прочтения курсов КСЕ по обеим программам в объемах от 10 до 120 аудиторных часов побудил меня создать смысловое универсальное ядро, которое могло бы наращиваться в зависимости от объема курса. Ядро представляет собой когнитивно-генетическое граф-описание процессов эволюции дисциплинарного знания физики – наиболее сложного и объемного раздела курса, который укладывается в 2–4 лекции[9]. Оно может быть фактуальной канвой для иллюстрации этапов развития философии науки и ее концептуальных схем в курсах ИФН, причем акценты теперь переносятся с предметной стороны вопроса на методологическую, ценностную, социокультурную. Ниже мы сочли полезным привести это содержательное ядро с дополнительными философско-научными комментариями. Предлагаемая методология междисциплинарного согласования носит пропедевтический характер и может быть использована также и в школьных курсах, и в обзорных лекциях для естественников-профессионалов, и в курсах по философии и истории науки – как постнеклассическая модель развития науки в контексте культуры и междисциплинарных коммуникаций.

Модель эволюции дисциплинарного знания физики в курсах КСЕ и ИФН

Рассмотрим причины возникновения и роста дерева ча-

[7] См.: Холтон Дж. Тематический анализ науки. М., 1981.

[8] Буданов В.Г., Мелехова О.П., Степин В.С. Примерная программа дисциплины «Концепции современного естествознания». М., 2000.

[9] См.: Буданов В.Г., Мелехова О.П. Концепции современного естествознания. М., 1999; Буданов В.Г. Эволюция дисциплинарного знания как процесс междисциплинарного согласования // Синергетическая парадигма. М., 2003. С. 331–340; Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. М., 2007.

стных дисциплин точного естествознания. Начало его формообразования связано в первую очередь с именем И. Ньютона, заложившего фундамент дисциплинарного здания науки Нового времени, этажи которого мы и сегодня продолжаем надстраивать. Классическая наука рождалась из целостной натурфилософской картины мира, свойственной и Аристотелю, и ученым Возрождения. Ведь не случайно основной труд Ньютона назывался «Математические начала натуральной философии», хотя уже содержал новые методологические и мировоззренческие принципы, называемые сегодня научными. Так, для натурфилософии не были характерны ни идеи законов природы, ни нормы экспериментальной проверяемости гипотез или математической доказательности теорий; все это обретает ценность и становится научной нормой лишь в XVII–XVIII вв. благодаря трудам Ф. Бэкона, Р. Декарта, Г. Галилея и Ньютона[10]. Натурфилософские картины мира, претендуя на всеобщность, страдали повествовательностью и умозрительностью построений, при этом господствовал не причинно-следственный детерминизм описания явлений, а корреляционная причинность, присущая обыденному сознанию и астрологии.

Изгнание плохо обоснованных метафизических сущностей и принципов из науки, таких как теплород, флогистон, разного рода электрические и магнитные флюиды, и стало основным мотивом построений позитивистов первой волны О. Конта, Дж. С. Милля, Г. Спенсера, поднявших голос не только против теологии, но и философии (точнее, философия должна была стать «позитивной», научной философией). В то время полагалось, что абсолютная истина лежит на поверхности и достаточно проверить дедуктивные методы наблюдением, как мы ее постигнем. Вероятно, поэтому так легко возник социальный физикализм. Сегодня мы понимаем, что это было лишь начало долгого пути рефлексии над научным методом, а метафизические сущности, против которых не возражали отцы-основатели, с современных позиций являются теоретическими идеализациями, неплохо описывающими ограниченный круг эмпирических фактов. Например, теория флогистона прекрасно описывает задачи калориметрии, обмена тепла и фазовых переходов без совершения механической работы (вспомните задачи по тепловому балансу 7 класса). Однако среди метафизических есть и поистине грандиозные универсальные принципы, например вариационный принцип наименьшего действия, из которого следуют все законы динамики и законы сохранения современной физики.

[10] См.: Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII–XVIII вв.): формирование научных программ Нового времени. М., 1987; Микешина Л.А. Философия науки. М., 2005.

КЛАССИКА. КОМПЛЕКСЫ ОЩУЩЕНИЙ И ПЕРВИЧНАЯ ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВКА

Научное дисциплинарное знание возникает как проекция научного метода на определенную сферу предметной деятельности первоначально в области естествознания. Первичное дисциплинарное членение общенаучного поля натурфилософских представлений происходит по основанию комплексов человеческих ощущений (Э. Мах, Р. Авенариус, М. Планк). Конечно, эта тема восходит еще к И. Канту. Следует сразу оговориться, что из пяти чувств точное естествознание (физика) не использовало два – обоняние и вкус. Этот комплекс ощущений издревле является основой анализа, идентификации веществ и лежит в базисе химии, ставшей точной наукой довольно поздно.

В физических трудах Ньютона – Аристотеля Нового времени мы находим три фундаментальных раздела: механика, оптика, теплота. Основным, безусловно, является механика, использующая самый мощный комплекс ощущений: осязание, зрение, слух. Все они в различной степени позволяют ориентироваться в пространстве и воспринимать относительные перемещения тел (мышечное чувство, координация движений, направление на источник звука и света, бинокулярное зрение, стерео слух и т.д.). Видимо, эти качества являлись наиболее важными с эволюционной точки зрения в животном мире, надежность которых обеспечивалась развитием по нескольким каналам восприятия. Кроме того, осязающие барорецепторы позволяют оценивать величину воздействия тела при контакте с ним, что дает нам возможность апеллировать к интуиции силовых воздействий. В оптике также очевидна роль зрения, в том числе цветового; а в разделе «теплота» значима роль осязания, точнее терморецепторов, которые реагируют на поток тепла через них.

Ньютоновская тройка дисциплин есть база классической физики или физики макромира, т.е. мира, доступного нашим органам чувств или приборам, усиливающим, утончающим, продолжающим наши комплексы ощущений. В этом мире справедлива интуиция здравого смысла, а точнее здоровых чувственных восприятий. Эта физика видимо будет существовать всегда, так как за редким исключением хорошо объясняет доступную нам область явлений.

Однако если кто-то сомневается, что эта чувственная опосредованность играет решающую роль в приоритетах формирования дисциплин, пусть представит, с чего бы начиналась наука в цивилизации дельфинов. В плотной вязкой среде, под водой вы бы постоянно сталкивались с проблемой поддержания движения за счет приложения силы: закон Аристотеля (скорость пропорциональна силе) был бы почти увековечен, а движение по инерции было бы

почти непредставимо. Скорее, были бы созданы начала гидродинамики, много позже галилеевская революция потребовала бы интеллектуальных сверхусилий и воспринималась бы как рождение неклассической физики, не говоря уже о том, что вместо оптики развивалась бы акустика. Заслуга позитивизма второй волны, эмпириокритицизма Маха, состоит именно в том, что, настаивая на процедурах сведения эксперимента к чувственному опыту, Мах высветил все операциональные этапы измерения и введения первичных физических понятий, что явилось прекрасной школой для А. Эйнштейна, Н. Бора, В. Гейзенберга в процессе создания неклассической физики. Хотя нападки на ненаблюдаемые метафизические сущности вроде абсолютного пространства Ньютона, законов сохранения или неделимых атомов могли показаться тогда карикатурными, но некоторые из них действительно вскоре были заменены другими метафизическими сущностями, но уже из теории относительности и квантовой механики.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РОСТ, КУЛЬТУРНАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ

Ньютоновская классическая парадигма, несмотря на сопротивление многих авторитетных ученых, в течение века полностью завоевала континент, в том числе благодаря культурному резонансу в гуманитарной сфере. Ярким проповедником новой механики в светских салонах был Вольтер, существовало даже общество ньютонианских дам, возник феномен социального физикализма – метафорического переноса образов механических процессов в общественную сферу (О. Конт), стали популярны идеи социальной инженерии. Преподавание в университетах ньютоновской механики приняло повсеместный характер. Сегодня мы понимаем, что простейшие формы законов физики единственно возможны и отражают естественный способ мышления, порождающий грамматики любого языка[11]. Видимо, с этим связано столь сильное влияние науки на культуру вообще. Эти идеи восходят еще к И. Канту, затем они манифестируют у Л. Витгенштейна и неопозитивистов Венского кружка[12], а в конце XX в. их развивают в новых структурных аспектах лингвисты и физики Н. Хомский, Ю.И. Кулаков и др.

Механика Ньютона (по сути механика материальных точек) очень скоро обрастает корпусом прикладных и теоретических дисциплин, происходит ее внутренняя дифференцировка по основанию различных формальных методов и технологи-

[11] См.: Кулаков Ю.И., Владимиров Ю.С., Карнаухов А.В. Введение в теорию физических структур и бинарную геометрофизику. М., 1992; Буданов В.Г. Когнитивная физика или когнитивная психология // Событие и смысл. М., 1998.

[12] См.: Никифоров А.Л. Философия науки. М., 2006.

ческих сфер приложения. Возникают механика теоретическая (гамильтонова и лагранжева), небесная механика, механика абсолютно твердого тела, механика сплошных сред (гидро- и аэро-), механика машин и механизмов, строительная механика, сопротивление материалов и т.д. Все это поддерживало и стимулировало машинную технологическую революцию, развитие мануфактурного производства раннего капитализма, а сегодня – львиную долю инженерных знаний.

Наука о тепловых явлениях преодолевает представление о теплоте как некой жидкости (флогистоне), передаваемой от одного тела к другому. Она объединяет механическую работу и тепловую энергию единым законом сохранения – первым началом термодинамики. Это позволяет описать взаимопревращения механической и тепловой энергии, заложить тем самым основы паровой технологической революции в промышленности и на транспорте. Тепловые машины-двигатели можно устанавливать теперь где угодно, например, вблизи источников сырья или в местах проживания работников, что приводит к концентрации промышленности в городах. Век водяных и ветряных двигателей проходит. Открытие второго и третьего законов термодинамики превращает науку о теплоте, называемую сегодня термодинамикой, в одну из самых изящных и самодостаточных теорий.

Оптика также обнаруживает единство природы с кругом электромагнитных явлений (дальнодействие электрических и магнитных сил), интенсивно изучаемых в XIX в., и оказывается частным разделом электромагнетизма Д. К. Максвелла. Следует отметить, что для восприятия электромагнитного поля (за исключением световых частот) мы уже не имеем органов чувств, поэтому концепция электромагнитного поля наиболее сложная для понимания и фактически является окном в мир неклассической физики. Это же можно было бы сказать и о гравитации, но Ньютон закон тяготения исторически свяжет с механикой, а не с электромагнетизмом, последняя идея через два века будет принадлежать Г. Калуце и Ф. Клейну.

Теория электричества заложила третью технологическую революцию: электрическую энергию можно передавать по проводам от электростанций и затем преобразовывать вновь в механическую или тепловую энергию. Фактически происходит первая информационная революция, хотя термина «информация» еще не было. Новые информационные технологии – проволочный и беспроволочный телеграф. Все это необыкновенно ускоряет средства коммуникации, создает на рубеже нашего века динамичную техногенную цивилизацию.

Итак, дисциплинарный треугольник классической физики, классической научной парадигмы, возникший как дисциплинарная дифференцировка натурфилософских представлений по комплексам ощущений, не-

плохо обслуживает многие инженерные дисциплины и объясняет наши чувственные образы внешнего мира, подкрепляя интуицию здравого смысла. При этом на протяжении всей истории классической науки основными будут образы механических процессов и объектов – частиц, волн в средах и телах, силовых полей. В теплоте сначала применяли гидродинамический образ жидкости, затем образ хаотически движущихся корпускул-молекул. Свет считали то потоком частиц, отражающихся от поверхности зеркала по законам упругого удара, как мячики, то волной механических колебаний некой среды (эфира).

Словом, ньютоновская механика была истоком и идеалом классической науки, явно или неявно переводила на свой язык все другие разделы физики. Однако в XX в. ситуация коренным образом изменилась.

Неклассика. Пределы дисциплинарного роста как границы междисциплинарного согласования

В конце XIX в. возникает ощущение триумфа классической физики, гарантирующей прогресс человечества на долгие времена. Но ситуацию омрачали немногочисленные проблемы в областях перекрытия дисциплин, которые, казалось, вот-вот будут решены. Однако совместное использование понятийного аппарата и методов двух дисциплин при описании комплексных феноменов требует их непротиворечивости. Так, в любой многодисциплинарной науке рано или поздно возникает процедура междисциплинарного согласования, иногда ассоциируемая с синтезом дисциплин (биофизика, физическая химия и т.д.). Согласование может завершиться констатацией отсутствия противоречий, если найден удачный язык перевода, либо попыткой редуцировать понятия одной дисциплины к понятиям другой (к чему всегда тяготело механистическое видение мира), либо пересмотром онтологии обеих дисциплин. Отметим, что в математике подобным образом определяют гладкое многообразие: окрестности-карты его соседних точек должны иметь правила согласования своих координат в областях перекрытия, лишь тогда удается создать единый атлас многообразия, картографировать его.

В том случае, когда основания дисциплин вступают в противоречие, возникает граница согласования, принципиальный разлом целостности научного описания. Негладкость, сингулярность многообразия. Его преодоление возможно за счет создания новой дисциплинарной картины, обладающей большей размерностью (что позволяет пройти над разломом), но совпадающей с прежней эмпирической реальностью в областях, ранее объяснимых. Так рождается новая парадигма, так произошло рождение неклассической физики на попарных противоречиях трех базовых разделов классической парадигмы,

так как классический синтез не состоялся.

Тупики классического синтеза. Рождение дисциплин неклассической науки

Постулаты и понятия неклассической науки зачастую лежат за границами обыденных представлений и чувственного опыта, и, не опираясь больше на комплексы ощущений, скорее противоречат привычному здравому смыслу. Она рождается из потребностей преодоления противоречий между разделами классической физики, из феноменов, требующих междисциплинарного рассмотрения. Принято считать, что неклассическая наука есть физика микро- и мегамира, физика огромных скоростей, масс, расстояний либо, напротив, микромасштабов атомных и субатомных явлений. Однако это лишь половина правды, существует множество макроявлений, доступных непосредственному наблюдению, которые объяснимы лишь с помощью неклассической физики. Например, химические и агрегатные превращения веществ, излучение света звездой и лампочкой накаливания, причина многообразия красок этого мира и отклонение перигелия Меркурия. Именно макрофеномены спровоцировали рождение новой парадигмы, хотя корни этих явлений действительно следует искать в микро- и мегамире.

Теория относительности – релятивизм – возникает из попытки примирить механику и оптику, точнее электромагнетизм, на классе явлений, где существенны движения зарядов либо сред, в которых распространяются электромагнитные поля. Пытались представить световую волну как колебания гипотетической среды – «эфира», – не удалось. Впервые за двести лет ньютоновская механика требовала изменения, а с нею должны были измениться и классические представления о пространстве и времени. В этой внутридисциплинарной революции победила электродинамика Максвелла–Лоренца, механика Ньютона трансформировалась в механику Эйнштейна.

Теория Эйнштейна выстроена в лучших картезианских традициях, в форме аксиоматической теории, хотя и с подробнейшим анализом эмпирических процедур в духе Маха. Поразительно, что для обоснования теории относительности Эйнштейну потребовалось лишь два простых постулата: постоянство скорости света во всех инерциальных системах отсчета (принцип инвариантности) и неизменность всех законов природы при наблюдении относительно разных инерциальных систем отсчета (принцип относительности, хотя тоже сформулированный как принцип инвариантности). И по сей день это самая красивая теория, подтверждаемая всеми экспериментами (в пустом пространстве).

Для современников его теория долгое время была символом непостижимости новой науки, за ее сюжеты взялись писатели-фантасты и философствую-

щие журналисты, возвестившие век относительности всего на свете. Столь радикальный подход исключает допущение абсолютности пространства и времени Ньютона. Он делает относительными к выбору систем отсчета понятия длин и интервалов, понятия одновременности, которые ранее были инвариантны. Ее следствия зачастую формулируются как парадоксы, например, излюбленный фантастами парадокс – астронавт возвращается из звездного путешествия на Землю, на которой за время его отсутствия прошли века. И именно эти факты разрушения инвариантов в первую очередь ассоциировались в общественном мнении с теорией относительности, часто называемой просто релятивизмом.

Однако в теории относительности не меньшую роль играют и понятия инвариантности, постоянства свойств при смене систем отсчета, например, релятивистский интервал – длина четырехмерного вектора в пространстве Минковского разбивает все пары событий по критерию возможности причинно-следственных связей, т.е. теория относительности не разрушает причинно-следственную ткань нашего мира, а рождает интуицию единого, относительного к средствам наблюдения четырехмерного пространства-времени. Все это почти не осознавалось общественным мнением, и теория относительности надолго создала комплекс неполноценности у обывателей, обрела ореол науки для избранных, что также в конечном счете способствовало расколу культуры.

Релятивистская энергия тела определяется теперь не с точностью до константы, как в механике Ньютона, но для неподвижного тела равна его энергии покоя, пропорциональной массе. Это позволяет наблюдать удивительные переходы части энергии покоя ядер и субъядерных частиц в кинетическую энергию их движения и, наоборот – рождение и аннигиляцию материи (массы), рождение новых частиц микромира. В этом принцип работы ядерного реактора и ядерного оружия, основа самой великой и драматичной атомной технологической революции XX в.

Теория относительности открыла эпоху неклассической науки[13], показав принципиальную неустранимость влияния средств наблюдения (выбора системы отсчета) на физические наблюдаемые результаты.

Квантовая теория возникает при попытке объяснить законы излучения нагретых тел (излучение абсолютно черного тела). Это область совместного проявления теплоты и электромагнетизма, теперь на их пересечении возникло неразрешимое для классики противоречие. Однако теоретическое рассмотрение редуцирует эту задачу на микроскопическом уровне к проблеме излучения атомов. В 1900 г. Планк вводит понятие кванта и блестяще решает проблему аб-

[13] См.: Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000.

солютно черного тела. В 1905 г. Эйнштейн при объяснении явлений фотоэффекта вводит понятие о фотонах – неделимых частицах света. В 1913 г. Бор выдвигает постулаты квантования орбит электронов в атомах, а в 1923 г. Луи де Бройль постулирует всеобщую волновую природу материи. Каждая из этих сумасшедших идей порождала свою исследовательскую программу (в смысле И. Лакатоса), они конкурировали, стимулировали и поглощали друг друга. Некоторые из них существуют до сих пор, как ручейки вдали от копенгагенского мэйнстрима. Тем самым, в конечном счете все квантовые явления должны основываться на новой механике микрочастиц, отличной от классической механики Ньютона, и на новой квантовой теории электромагнетизма, ведущей к корпускулярно-волновым представлениям. Квантовая механика еще более непривычна для нас, чем теория относительности: энергия микросистем меняется скачками; понятия траектории движения микрочастицы не существует, а сама частица проявляет то волновые, то корпускулярные свойства; нельзя одновременно сколь угодно точно измерять некоторые физические величины и т.д.

В этой внутридисциплинарной революции мы имеем существенно иной тип трансформации. Обе противоречащие друг другу дисциплины (механика и электродинамика) радикально трансформируются, нет победителя, есть новые квантовые поля и квантовые частицы. Более того, теория строится не аксиоматически, это будет сделано лишь Э. Шредингером, В. Гейзенбергом, П. Дираком в 1925–1927 гг., а как набор сумасшедших гипотез, которые надеются обосновать в будущем. Это классическое обоснование окажется невозможным в принципе, что подтверждает теорию Т. Куна о несоизмеримости парадигм. Более того, подробный анализ процедур квантовых измерений показывает, что квантовое измерение неустранимо творит реальность (принципы дополнительности и неопределенности Бора и Гейзенберга), да еще в некотором вероятностном смысле. Поэтому квантовая онтология оказывается неадекватной обычному здравому смыслу, непредставимой в механистической картине мира, иногда говорят о неполноте ее онтологий. Интересно отметить, что матричный подход Гейзенберга к квантовой механике почти точно повторяет идеи логических позитивистов о необходимости пользоваться только непосредственно наблюдаемыми величинами, применяя протокольные записи. Но гейзенберговы матрицы операторов физических величин и есть подобного рода протокольные таблицы. Гейзенберг всю жизнь будет считать свое описание квантовой теории самым адекватным, так как оно содержит меньше всего метафизических образов, хотя, как доказал Дж. фон Нейман, математически все описания были эквивалентны.

Однако квантовая механика содержит в себе классическую,

т.е. в своем предельном случае (постоянная Планка стремится к нулю) переходит в классическую, тем самым, законы нашего мира – огрубленные законы микромира (так называемый принцип соответствия). Это, кстати, говорит о том, что принцип несоизмеримости Куна справедлив лишь в одну сторону: классику можно объяснить из неклассики, но не наоборот.

Квантовый мир нельзя понять в том смысле, что его нельзя представить в обычных (механических) образах, в него надо поверить, а затем привыкнуть. Планк, имея в виду это свойство физики микромира, говорил, что научные оппоненты не переубеждаются, а вымирают, после чего новая парадигма без труда усваивается последующими поколениями студентов.

Именно квантовая физика объяснила строение атома и обосновала таблицу Менделеева, сделав химию точной наукой, объяснила спектры излучения атомов и молекул, механизмы радиоактивного распада ядер и химической связи. С квантовой теорией, так или иначе, связаны все технологические революции и высокие технологии XX в.

Статистическая физика рождается при разрешении противоречия между механикой и теплотой. Дело в том, что механические законы обратимы во времени. В замкнутых системах это приводит к закону сохранения энергии. Для явлений теплопроводности и вообще явлений переноса – диффузии, вязкости – процессы оказываются необратимыми. Невозможно увидеть самопроизвольное нагревание остывшего утюга, самопроизвольный разгон застрявшего в болоте тела или собирание во флакон испарившихся духов. Эта проблема разрешается на микроскопическом уровне при введении описания тепловых процессов как процессов очень большого числа частиц – атомов и молекул вещества. При этом макросистема состоит из огромного количества микрочастиц и на языке обычной механики содержит фантастический объем избыточной, ненаблюдаемой информации. Привычные наблюдаемые макропараметры (давление, температура, плотность) есть лишь усредненные значения микрохарактеристик частиц. Идеи применения теории вероятности для сведения тепловых процессов к механическим легли в основу молекулярно-кинетической теории Максвелла–Больцмана в конце XIX в. и обобщены Дж. Гиббсом в статистической физике в начале XX в.

В этой внутридисциплинарной революции мы находим третий тип снятия противоречия. Здесь не изменилась ни механика, ни молекулярно-кинетическая теория, но были подробно, в духе эмпириокритицизма, проанализированы сами понятия наблюдаемой необратимости. Оказалось, что противоречие снимается, если полагать тепловые явления также обратимыми, но расчетное время возврата оказывается фантастически велико, а вероятность

ничтожно мала. Тем самым, неклассический характер новой дисциплины имманентен, ее средства наблюдения также творят реальность. Здесь показательно драматическое отношение к нарождающейся статистической физике двух гениев эпохи – Л. Больцмана и А. Пуанкаре, последний отстаивал детерминистические позиции. Пуанкаре публично не рекомендовал читать работы Больцмана, что, предположительно, могло явиться одним из мотивов его самоубийства.

Статистическая физика заложила фундамент понимания молекулярных процессов классических жидкостей и газов, технической термодинамики, легла в основу химических технологий нашего века, ее методы широко применяются в смежных дисциплинах.

Первая четверть XX в. ознаменовалась тремя внутридисциплинарными революциями в физике, происходящими по трем разным типам сценариев, однако новые теории в своих предельных состояниях (принцип соответствия) переходят в классические прообразы, тем самым, рождение новой неклассической физики, по Куну, является общедисциплинарной революцией во всей физике.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ В НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ

Можно ли считать физику наукой завершенной? Конечно, нет. Процесс согласования дисциплин неклассической физики постоянно продолжается, он очень продуктивен и именно он задает передний край фундаментальной науки и поставляет ультрасовременные технологии. Идея дальнейшей классификации нам уже знакома – попарное пересечение дисциплинарных областей. Их снова три.

1. Квантовая релятивистская теория (квантовые поля, элементарные частицы, ядра). Возникает при попытке проникнуть в глубины микромира. Чем меньше размер квантовой системы, тем, согласно принципу неопределенности, больше возможные энергии и скорости ее компонент. Поэтому, начиная с ядерных и меньших пространственных масштабов, релятивистские скорости частиц микромира становятся типичными и возникает необходимость согласования квантового и релятивистского формализма. Это делает квантовая теория поля – самая сложная, фундаментальная (поскольку занята основами мироздания) и незавершенная часть современной физики. Ее методы математически изощренны, а эксперименты сверхдороги. Физика элементарных частиц подходит к границам сегодняшних познавательных возможностей нашей цивилизации. Ближайшая цель – открытие хигсовских бозонов, отвечающих за нарушение симметрии квантового вакуума и возникновение разных типов взаимодействий. Пока нет мотивов пересматривать основы неклассической парадигмы на этом поле ее приложений.

2. Квантовая статистическая физика рассматривает проблемы

большого числа квантовых частиц, где востребованы методы статистической и квантовой физики. В первую очередь это физика твердого тела, квантовых жидкостей и газов. Идеи статистики без труда обобщаются на квантовый случай, а методы квантовой теории поля переносятся на задачи многих частиц. Это сегодня самый плодотворный в прикладном плане раздел физики, основа новых информационных технологий и технологий XXI в., достаточно сказать, что с ним связаны все полупроводниковые технологии, квантовые макроэффекты – лазер, сверхпроводимость, сверхтекучесть и многое другое. В области квантовой статистики также не ожидается переворота представлений фундаментальной физики.

3. Релятивистская статистическая физика – раздел на стыке теории относительности и статистической физики (релятивистские газы). В чистом виде встречаются в области астрофизических явлений, например, при релятивистском движении звездного вещества вблизи черных дыр. Однако намного важнее то, что это также массовые явления в мегамире, т.е. феномены общей теории относительности. Сегодня нет оснований полагать, что в этих явлениях есть нерешаемые проблемы, хотя в последнее время в космологических теориях появилась новая сущность – темная масса и темная энергия, сулящие и новую физику.

Итак, мы завершили рассмотрение еще одного пояса согласования принципов современной физики, где происходит современная технологическая революция – информационная. Здесь, как мы видели, процесс согласования частных дисциплин идет без привлечения новых парадигмальных идей, все развивается поступательно, прогрессивно, как на этапе нормальной науки, вполне в духе прогрессистской концепции К. Поппера. Однако этот процесс следует продолжить.

4. При попытке назвать дисциплины следующего пояса согласования на попарных областях пересечения мы обнаруживаем, что все их следует назвать одним термином «релятивистская квантовая статистическая физика». Релятивистская квантовая статистическая физика – финальный синтез, или Теория всего, Великое объединение. Это вершина и итог современной физики, и если удастся провести ее непротиворечивое описание, мы достигнем окончательного понимания неживой природы. Основная проблема здесь состоит в неизбежном объединении – при огромных энергиях, микрорасстояниях, сверхбольших плотностях вакуумных флуктуаций – всех взаимодействий: сильного, слабого, электромагнитного и гравитационного. То есть впервые надо учитывать квантовую гравитацию, строить квантовую общую теорию относительности. Этого сейчас никто не умеет. Мы знаем только то, что на ранней стадии эволюции Вселенной все взаимодействия – сильные, слабые, электромагнитные и грави-

тационные – были объединены в единое супервзаимодействие, суперполе, из флуктуаций вакуума которого родилась Вселенная. По мере расширения Вселенной (в первые секунды это явление называют инфляцией, объемным взрывом-раздуванием) постепенно возникли знакомые нам типы взаимодействий и структуры – нуклоны, ядра, атомы, звезды, тяжелые элементы, планеты, жизнь, разум. Но если слегка изменить мировые константы, то Вселенная могла бы эволюционировать совершенно иначе: не зажглись бы звезды, не возникла бы жизнь, не появился бы человек. Это утверждение называется в науке космологическим антропным принципом. Наша Вселенная устроена так, что в итоге возник человек разумный. Тогда либо у нее существует цель, что перекликается с библейским сюжетом, либо существует бесконечное число различных вселенных, так называемый «мультиверс», во многих из которых нет человека и с которыми мы, по-видимому, пока не взаимодействуем; и та и другая точка зрения сегодня допускаются. Модель дисциплинарной эволюции точного естествознания указывает на финальность стадии современного неклассического синтеза, в итоге появляется не просто наблюдатель, но человек, которого, казалось, исключили еще в начале становления науки Нового времени. Человек вновь оказывается «мерой всех вещей», факт его существования производит отбор возможных фундаментальных теорий, физика становится эволюционной наукой, наукой постнеклассической.

Отметим, что квантовая космология все глубже входит в метафизические пространства абстрактных многомерных математических сущностей. Проблема верификации и фальсификации давно уже не ставится, потому что на этапах создания сырых моделей и выдвижения сумасшедших гипотез об этом не успевают задуматься, здесь царит методологический анархизм П. Фейерабенда, его принцип пролиферации. Но современная физика помнит о проблеме демаркации, и в нужный момент критерии научности, наработанные философией и методологией науки, еще будут востребованы. Возможно, ждать не так долго, и хотя мы не можем с уверенностью сказать, будет ли и когда будет новая парадигмальная революция в физике, но квантовая космология, макроквантовые корреляции, наблюдаемые в биологии, психологии, сфере сознания и информации, сулят перекроить нашу картину мира и современные технологии в ближайшие десятилетия.

Я постарался эскизно очертить панораму современной физики, стараясь оттенить философско-методологическую сторону ее развития, оставив за кадром очень многое, например механизмы научного творчества, причины изменения научных норм и ценностей, подходы М. Полани, С. Тулмина, Р. Мертона. Эти социокультурные и психологические аспекты науки

не проявлены в нашем когнитивном графе, они образуют еще одно личностное измерение предметных ландшафтов наших сюжетов. Так и должно быть, это лишний раз подчеркивает, что философия науки нетождественна науке и истории ее идей и методов; а курс КСЕ не может и не должен подменять курс ИФН. Сложные развивающиеся системы, каковой, несомненно, является наука, требуют синергетического, междисциплинарного подхода, и сама процедура последовательного междисциплинарного согласования разделов растущего дисциплинарного древа познания физики, безусловно, постнеклассична. На первый взгляд, наш подход можно было бы интерпретировать как развитие, рост научной популяции, в духе Тулмина. Действительно, это ценоз растущих, скрещивающихся, мутирующих, заполняющих «экологические» ниши частных разделов физики, однако очевидно, что здесь только «естественным отбором» не обойтись, и когнитивно-генетическая структура имеет свою внутреннюю синергетическую логику развития, сопряженную с социальной и природной средой, а сами разделы не так уж и автономны. Эту самосогласованную научно-философскую канву можно расширять, усиливая либо предметную, либо методологическую, либо социально-культурную сторону изложения – в зависимости от задач и возможностей курса и лектора. Отметим, что подобный когнитивно-генетический граф-анализ можно проводить и для других больших разделов курса КСЕ, таких как биология и экология, синергетика и универсальный эволюционизм, а также для других целостных дисциплин. Очень интересно было бы провести аналогичный генетический граф-анализ для самой дисциплины ИФН.

В завершение хочу обратиться к личностным мотивам, которые менее всего доминировали в тексте. Существует расхожее мнение, что философия науки рефлексирует над уже отшумевшими эпохами «бури и натиска» и ничего не дает сегодня работающим ученым. Однако когда приходит момент истины, и в твоей личной эпохе «бури и натиска» паутина монотонных поисков разрывается, и ты в изумлении понимаешь, что «нашел!», то череда жгучих вопросов не даст тебе покоя – «как же это случилось?», «почему я?», «как это бывало раньше, у других?». С этого момента ученый становится философом, а любой ученый, сделавший в жизни что-нибудь сам, становится им, а значит, и философом науки. Сегодня философия имеет шанс стать действительно необходимой молодым ученым, поэтому, приходя к аспирантам с курсом ИФН, мы в чем-то должны знать КСЕ лучше них, и я надеюсь, что представленный подход поможет в этом.

«Осень» и будущая «весна» эпистемологии: перспективы номологического синтеза в социальных науках*

Н. С. РОЗОВ

Три периода развития эпистемологии

Начнем с представления о нынешней ситуации в области теории познания, философии науки вообще и философии социальных и гуманитарных наук в частности. Здесь не ставится задача сколько-нибудь полного охвата имеющихся взглядов и течений[1]. Настоящее туманно именно потому, что оно настоящее. Находясь в нем, принципиально невозможно объективно оценить значимость идей, которая проявится не ранее чем через два-три поколения. Как пишет Р. Коллинз, «трудность состоит в том, что мы не знаем, где сосредоточить внимание; есть множество учеников и участников семинаров, продолжающих главные цепочки прошлого, и, возможно, сейчас начинаются некие новые зна-

* Работа выполнена в рамках Комплексного интеграционного проекта СО-РАН 2006 г. № 7.4 «Интеллектуальные трансформации: феномены и тренды».

[1] См. об этом: Рациональность как предмет философского исследования. М., 1995; Эволюция, культура, познание. М., 1996; Касавин И.Т. Социальная эпистемология: понятие и проблемы // Эпистемология & философия науки. 2006. Т.VII. № 1.

чительные цепочки. Но у нас нет способа узнать, о ком (если о комлибо вообще) будут помнить как о выдающейся или второстепенной фигуре; возможно, даже тем именам, которые включены в центральные контроверзы и противоборства целого десятилетия, будет большой удачей оказаться среди упомянутых в качестве третьестепенных в будущих трудах по интеллектуальной истории»[2].

Поэтому поставим гораздо более скромную задачу: представить образ происходящего в указанных интеллектуальных областях с акцентом не на полноту перечислений, а на целостность представления в соотнесении с образами прошлых состояний.

Говоря в целом о развитии философии и науки в Европе и мире, Коллинз указывает на две переломные точки:

– появление новой модели исследовательского университета в Пруссии начала XIX в., затем в других немецких государствах с последующим распространением в Европе и мире;

– бурный рост числа университетов после 1960-х гг. в богатых обществах и далее везде (соответственно, «популяционный взрыв профессоров и текстов»).

С институциональными переломами практически совпадают два поворотных пункта в развитии теории познания: таковы критическая философия И. Канта с последующим взлетом немецкого идеализма (конец XVIII – начало XIX вв.) и кризис неопозитивистской программы, переходящий в новый этап развития философии науки. Последний поворот обычно связывают с широким резонансом «Структуры научных революций» Т. Куна в начале 1960-х гг., общим разочарованием в неопозитивистских идеалах, расцветом аналитической традиции, становлением постпозитивизма, постструктурализма и т.д. Совпадение это далеко не случайно, но сейчас не будем отвлекаться на раскрытие его природы.

Важно другое: если современную историю теории познания и философии науки начинать, как это принято, с Р. Декарта и Ф. Бэкона, то получается весьма четкая последовательность трех преемственных периодов.

Великие надежды и наивная простота философии познания XVII–XVIII вв. (первый период) сменяются основательной критикой, тщательной логической проработкой гносеологических систем при сохранении крайне амбициозных целей абсолютного и окончательного обоснования научного знания в XIX в. и первой половине XX в. (второй период). Наконец, нынешний третий период (начиная с 1960-х гг.) характеризуется небывалой дифференциацией тематики, множеством примеров детального и изощренного анализа при утере больших надежд, общего пространства внимания, снижении энергии поиска и отсутствии общезначимых фундаментальных учений.

Отнюдь не являясь поклонником идей О. Шпенглера, не могу не отметить практически полную адекватность его возрастной (юность–зрелость–увядание) и сезонной (весна–лето–осень) метафор указанным характеристикам трех этапов развития теории познания.

[2] Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 2002. С. 1015.

Общие и метафорические характеристики эпох всегда в какой-то мере условны. Между прочим, это относится в полной мере и к такой триаде, как досовременность (традиционность), современность (модерн) и постсовременность (постмодерн), которую явно и неявно используют каждый раз, когда толкуют о «модернизации» (сравните также с широко и некритически воспринятой в отечественной философии науки степинской триадой «классическое–неклассическое– постнеклассическое»).

Итак, весна философии познания Нового времени включает великие надежды и смелые проекты: манифесты картезианского рационализма и английского эмпиризма, жаркие споры между материализмом (Т. Гоббс) и идеализмом (кембриджские платоники), геометрические доказательства метафизических положений у Б. Спинозы, планы Г.В. Лейбница по построению универсального логического языка, решающего все имеющиеся и будущие проблемы, попытки Д. Юма дать панпсихологистское обоснование научного познания, наивный сциентизм и прогрессизм Просвещения.

Лето – великий расцвет европейской эпистемологии – начинается с фундаментальной критической философии И. Канта, включает грандиозные проекты по философскому обоснованию принципов всех наук у Ф.В. Шеллинга, И.Г. Фихте и Г.В.Ф. Гегеля, взлет неокантианства, интеллектуально изощренные и в то же время смелые и искренние проекты абсолютного и окончательного обоснования знания в психологизме Дж.С. Милля, эмпириокритицизме Э. Маха и Р. Авенариуса, феноменологии Э. Гуссерля, логицизме Г. Фреге, Б. Рассела и раннего Л. Витгенштейна, американском прагматизме У. Джемса и Дж. Дьюи, логическом неопозитивизме Венского кружка.

Осень – время усталости, разочарования с сопутствующими разноцветьем и пышностью увядания – начинается с кризиса неопозитивизма, возрождения иррационалистических и релятивистских мотивов в популярной концепции Куна, с широкого распространения аналитической философии, которая, чураясь неприлично широковещательных проектов «континентальной традиции», ставит перед собой «профессиональные», скромные, но технически утонченные задачи анализа научного и обыденного языка. Последующие наслаивающиеся друг на друга волны интеллектуальной моды (постпозитивизм, постструктурализм, «лингвистический поворот», «антропологический поворот», постмодернизм, социальный конструктивизм, синергетика и пр.) в большей мере направлены не на проекты и перспективы, а на самоидентификацию через отрицание «отживших и преодоленных» классики и модерна – всех предшествующих философских (а иногда и научных) традиций.

Разумеется, любое деление традиции на качественно специфические эпохи имеет сугубо идеально-типический характер. В реальности имеется множество наслоений, пересечений и исключений. На нынешнем продолжающемся третьем этапе такое направление, как эволюционная эпистемология[3], по своему широкому замаху и амбициям

[3] См.: Меркулов И.П. Эволюционная эпистемология: история и современные подходы // Эволюция, культура, познание. М., 1996.

и при соблюдении достаточно высоких стандартов концептуальной и методологической проработанности вполне могло бы занять свое место во втором периоде расцвета. Заметим, что при всех своих достоинствах эволюционная эпистемология так и не стала центром интеллектуального внимания (подобно гегельянству, неокантианству, махизму, логицизму и неопозитивизму в свое время), но занимает довольно скромное место среди десятков других направлений, борющихся за признание. Этот факт указывает на могучую силу внешнего структурного давления, характерного именно для нынешней эпохи «осени эпистемологии», когда общие свойства установившегося порядка интеллектуальной жизни довлеют над чертами и достоинствами отдельных направлений.

Что последует за «осенью эпистемологии»?

Что же дает нам сезонная метафора кроме красочного образа временно́й структуры? Предположение об обязательности последующей «зимы» как упадка эпистемологии, забвения прошлых достижений и примитивизации мышления означало бы излишнее доверие к аналогии. Дело не в том, что такая «зима» невозможна в принципе. Она возможна, но при условии общего социального и культурного коллапса (например, в результате мировой войны или глобальной катастрофы), общего упадка науки, образования, закрытия университетов и научных центров. Если такие апокалиптические сценарии оставить за скобками, то в рамках сезонной метафоры остаются лишь две альтернативы: бесконечное продолжение «осени» и наступление новой «весны».

Первая возможность означает, между прочим, тотальную победу духа постмодернизма (даже когда от него отрекутся проповедники новых волн интеллектуальной моды). Действительно, продолжающаяся в бесконечность «осень» в области эпистемологии означает отсутствие новых впечатляющих прорывов в обосновании знания. Остается только постмодернистская погруженность в бесконечные слои текстов и интерпретаций.

Что не позволяет мириться с такой перспективой? (Здесь не имеются в виду вопросы предпочтений и ценностей. Будущее вовсе не обязано соответствовать нашим нормативным убеждениям, в том числе относительно развития мышления и познания.) Подозрение о бесконечной продолжительности любой фазы исторического процесса порождается общими представлениями о повсеместности ритмов и циклов в истории. Однако эта историцистская идея неизбежности ритмов является слишком общей и, скорее, имеет эвристическую функцию.

Важнее другое. Бесконечную продолжительность «осени эпистемологии» планомерно и неизбежно будут подрывать и уже подрывают успехи научных исследований: в большей мере естественных, в меньшей мере социальных и исторических. Рано или поздно постмодернистский и постпозитивистский отказ всерьез обсуждать эпистемологические проблемы обоснования знания, соответствия знания

объективной реальности войдет в противоречие с очевидным накоплением позитивных эмпирических и теоретических научных результатов. Именно этот фактор в наибольшей мере позволяет надеяться на новую грядущую «весну эпистемологии».

Возникнут ли вновь проекты тотального обновления человеческого познания, подобные идеям Декарта, Бэкона, Спинозы? Это было бы возможно только после суровой «зимы» забвения накопленных идей и всей изощренности, достигнутой в эпистемологии XVIII–XX вв. Что же это будет за «весна», и чем она будет отличаться от чуть ли не ежегодно прокламируемых «новых», «революционных», «радикальных» волн интеллектуальной моды?

Историческая аналогия может дать подсказку, нужно только сосредоточить внимание не на самом содержании идей философских манифестов прошлого, а на структурных и динамических моментах смены «эпистемологических сезонов» в интеллектуальной истории.

«Осень» схоластики и «весна» трех революций: структурная аналогия

Известны ли в истории мысли другие «осенние» периоды? Да, и наиболее близкой аналогией является пресловутая «осень Средневековья», которая проявлялась среди прочего как упадок интенсивного религиозно-философского творчества, характерного для предыдущей эпохи высокой схоластики. Любопытно, что в обоих случаях (XV–XVI вв. и вторая половина XX – начало XXI вв.) «осень» оказалась связанной с материальным расцветом организационных основ интеллектуальной жизни – ростом количества университетов. Это структурное сходство выявил Коллинз. Вот что он пишет о причинах интеллектуальной стагнации позднего европейского средневековья.

«Можно было бы ожидать, что этот институциональный рост будет связан с творчеством, но случилось прямо противоположное. Значимые сети не поддерживались; единый фокус внимания был утерян. Ни один из новых университетов не сумел приобрести ничего похожего на ту притягательную силу, которой некогда располагал университет в Париже. Не возникло структуры, внутри которой – в некотором центре – пересекаются многообразные основы, обеспечивающие фракционность; вместо этого сама фракционность стала географически локализованной. Интеллектуальные границы укреплялись; конфликт больше не вызывал творческих перегруппировок, но просто приводил к привычному возобновлению разделяющих фракции линий»[4].

Структурно сходные процессы резкого расширения организационных основ интеллектуальной жизни шли с середины XX в.

«С 1950 г. произошли огромное расширение и значительная децентрализация академического мира. В Соединенных Штатах, где

[4] Коллинз Р. Цит. соч. С. 672.

этот процесс начался раньше, чем в других развитых странах, насчитывается более 3 000 колледжей и университетов, и все они участвуют в гонке за привлечение интеллектуального внимания. В период после 1950 г. подобное расширение произошло во Франции, Германии, Великобритании, Италии, Японии и далее распространилось по всему остальному миру, что одновременно вело к децентрализации. Образование всегда было своего рода валютой, контролирующей возможности трудоустройства; теперь оно расширяется самостоятельно через взаимодействие инфляции образовательных свидетельств, движимой конкуренцией за получение более высокой подготовки, с возникающим в результате такой инфляции ростом требований к дипломам при трудоустройстве. После насыщения и обесценения образования очередного уровня над ним надстраиваются рынки более высоких уровней образовательных свидетельств. Отношения между предложением и спросом в сфере образования – круговые, и они работают по принципу самоусиления: спираль раскручивается, а конца этому не видно»[5].

Внешнюю пышность современной «осени» определяет не только рост численности университетов, но также взрывной рост количества исследователей и текстов.

«Производство академических интеллектуалов находится на гребне этой волны инфляции свидетельств. По мере роста спроса на сертификаты об образовании увеличивается количество обладателей высших дипломов, обучающих тех, кто находится на ступень ниже, т.е. происходит взрывной рост числа докторов философии (Ph.D's). А поскольку эти ученые борются за академические должности, повышая свою репутацию как авторов публикаций, объемы научной продукции следуют по тому же инфляционному пути, что и состязание за более низкие академические степени, и, таким образом, над расширением высшего образования складывается рынок следующего уровня ("метарынок")»[6].

Расплодившиеся тексты стали естественным образом все в большей и большей мере выражать осмысление и комментирование прошлых текстов.

«Воспринимать мир как текст – не такое уж и неточное представление; возможно, так следует описывать не весь мир, но жизненную позицию интеллектуалов: мы почти буквально погребены в научных статьях. Когда растет общий объем интеллектуальной продукции, вознаграждение среднего индивида падает, по крайней мере, чисто интеллектуальное вознаграждение в виде признания идей и созерцания их влияния на других. В таких обстоятельствах не удивляет появление в интеллектуальном сообществе пессимизма и сомнений в собственной значимости»[7].

Структурное сходство позднесредневековой интеллектуальной стагнации и современной утери общего поля и центра философской дискуссии, в том числе в области философии и методологии социаль-

[5] Там же. С. 679.
[6] Там же. С. 679–680.
[7] Там же. С. 678.

ных и гуманитарных наук, заставляет с особым вниманием отнестись к выходу из стагнации в первом случае. Тогдашнюю «весну» составили три взаимосвязанных интеллектуальных революции: математическая революция, революция в естествознании и философская революция, возвещающая эру «новой науки»[8].

Заметим, что споры о доказательствах бытия Божия, об универсалиях, номинализме и реализме, о душе и природе зла остались в прошлом. Произошла радикальная перецентровка внимания, прежде всего в тесной связи с новыми успешными и престижными интеллектуальными движениями. Затем появились новые каналы и структуры, связывающие интеллектуалов (невидимые колледжи, многочисленные кружки, систематическая научная переписка, позже – профессиональные журналы). Наконец, все три революции были социально востребованы, что выражалось в широком общественном резонансе, который получали не только философские и естественно-научные, но и математические достижения.

Образ грядущей «весны»

Отталкиваясь от этих сведений, сделаем следующие предположения о путях и направлениях будущего подъема философии и методологии социальных и гуманитарных наук. Центр внимания сместится в сторону философского осмысления той научной тематики, которая, во-первых, будет обладать особой социальной значимостью и вызовет публичный резонанс и в которой, во-вторых, будет сделан ряд ярких открытий и обнаружится новое обширное смысловое пространство для престижных исследований, как научных, так и философских.

Что это будет за тематика, какие открытия и какого рода пространство – сейчас можно только гадать. Попробуем хотя бы обозначить наиболее вероятные направления, опираясь на известные сферы растущей общественной значимости и «точки роста» социально-гуманитарных исследований.

Сферы высокой и обещающей расти далее значимости в целом не являются загадкой. Они задаются глобальными вызовами и проблемами современности:

- международный терроризм, его причины и механизмы;
- растущее миграционное давление из беднейших стран; соответствующие проблемы социокультурной ассимиляции иммигрантов в развитых странах и налаживания нормальной жизни в странах массовой эмиграции;
- разрешение межэтнических конфликтов, проблем сепаратизма-самоопределения и сохранения государственной целостности;
- надвигающиеся ресурсные кризисы (дефицит чистой воды, нефти и газа), преодоление негативных геополитических, этносоциальных, социально-экономических и социально-демографических последствий;

[8] Там же. Глава 10.

• воспитание и образование новых поколений в условиях, с одной стороны, повышения профессиональных и общесоциальных требований, с другой стороны, неоднозначного воздействия на детей и юношество глобальной коммуникационной, информационной и развлекательной среды.

Соответственно, вполне резонно ожидать рост публичной значимости и профессионального интереса к следующим тематическим областям социальных и гуманитарных наук:

• факторы отчуждения, роста агрессивных настроений и установок на насилие; мобилизация протестных движений, складывание конспиративных сообществ и сетей; условия экстремальных индивидуальных и групповых решений;

• динамика демографических и миграционных процессов; факторы эффективной ассимиляции иммигрантов, концепции модернизации, национального развития в геополитическом, геоэкономическом и геокультурном контексте;

• конфликтология в приложении к этнополитическим процессам;

• связь экологических и социальных кризисов, пути преодоления;

• процессы социализации и аккультурации в различных материально-технических, информационных и социокультурных средах.

Скорее всего, именно в этих сферах будущие убедительные и воспроизводимые научные результаты получат широкий публичный резонанс, всегда откликающийся высоким профессиональным престижем. Какие именно это будут результаты, мы предсказать не можем (иначе, по выражению Поппера, предсказание было бы уже «послесказанием»[9]), зато можем предугадать некоторые общие характеристики нового научного прорыва.

В чем сегодня нет недостатка, так это в интерпретациях актуальных проблем современного мира, в том числе в научных и околонаучных толкованиях. Обычно они разделяются по идеологическим основаниям на либерально-модернизационные; антизападнические фундаменталистские, самобытно-почвеннические и державно-патриотические; марксистские и примыкающие левые; антисистемные и анархистские направления и т.д.

Будущие научные результаты станут убедительными и впечатляющими потому, что предоставят возможности осмысления и эффективного практического решения соответствующих социальных проблем. Весьма вероятно, что компоненты будут взяты из различных известных уже сегодня обществоведческих парадигм, но соединены они будут в нечто целостное и качественно новое. Широкое признание получат только те результаты, которые позволят с высокой надежностью делать научные предсказания, а также строить и применять эффективные социальные технологии.

Вполне очевидны и главные трудности получения и применения этих научных результатов. Каждый раз речь будет идти о социальном поведении людей, обладающих сознанием и свободой выбора. Мани-

[9] См.: Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993. С. 4–6.

пулятивные технологии, основанные на обмане и/или нивелировании этой свободы, будут разоблачаться и дискредитироваться по морально-политическим соображениям, основанные на предпосылках о ригидных и примитивных свойствах человеческой природы, они будут неэффективны во всех случаях, когда реальность окажется шире и богаче.

Теперь яснее вырисовываются внешние рамки предполагаемых результатов. С одной стороны, должен быть получен сложный комплекс теоретических положений, выражающий закономерности социальных изменений и человеческого поведения в разных условиях (будь этот комплекс прост, его бы давно обнаружили). Разнообразие условий должно быть достаточно богатым (может быть, потребуются встроенные способы их конкретизации) для возможности операционализации, приложения теории к широкому кругу ситуаций и проверки. С другой стороны, формулировки этих закономерностей должны не отменять, не игнорировать, а, напротив, предполагать сознание людей, их способность самостоятельно осмыслять и оценивать ситуации, вести переговоры друг с другом и принимать нетривиальные решения.

Вероятно, многие читатели указанное сочетание считают невозможным. Таково следствие укоренившегося в образовании представления о полной несовместимости номологического и идиографического дискурсов. На самом же деле ситуация сложнее. Полной несовместимости нет (многое в сознательном поведении людей вполне предсказуемо), но трудности действительно имеются, они-то и будут питательной почвой для будущей «эпистемологической весны» – нового развертывания философии и методологии социальных наук.

Разумеется, искомый сложный комплекс теоретических положений не может быть получен сразу. Процесс начнется с ряда крупных научных успехов, последующего осознания их неслучайности и взаимосвязи. Непременно будут предприняты попытки распространения успешных подходов на новые области, что будет сопряжено с множеством трудностей. Вряд ли эти трудности будут легко преодолены, ведь многие из них (например, проблема свободы воли) относятся к кругу «вечных проблем» – *глубоких затруднений*[10], попытки осмысления и преодоления которых и должны составить новую «эпистемологическую весну».

Подготовка интеллектуального снаряжения

В сезонной метафоре есть не явный, но весьма неприятный порок. Что нужно делать, чтобы пришла весна? Ничего, потому что она придет сама собой вне зависимости от нашего действия или бездействия. Сезонная метафора предполагает фатализм и способствует пассивности.

---

[10] См.: Коллинз Р. Цит. соч. С. 943–945; Розов Н.С. Философия и теория истории. Кн. 1. Пролегомены. М., 2002. Раздел 7.1.

Чтобы не попасться в эту ловушку, воспользуемся лучше метафорой похода. По зову трубы нужно будет начать движение. Какая именно труба затрубит, куда именно направимся – пока неизвестно, но амуниция – обеспеченность интеллектуальными орудиями – должна быть наготове.

Теперь разберемся, что означает «подготовка интеллектуального снаряжения». Нужна примерка и пристрелка. Одежда и обувь должны быть не слишком тесными и не слишком большими, ружья и пушки не должны забирать ни вверх, ни вниз, ни влево, ни вправо, а бить точно в цель. Иными словами, подготовка снаряжения – это во многом его подгонка, устранение отклонений.

Как только мы переходим от метафоры похода к подготовке интеллектуальных средств (в широком смысле), сразу встает вопрос принципиальной значимости: откуда берутся стандарты для устранения отклонений?

Нынешняя ситуация, обозначаемая пресловутыми терминами «постмодерн» и «постнеоклассика», обычно характеризуется как раз через отрицание прежних «классических» или «модерных» познавательных стандартов. Почти все, что предлагается взамен, маловразумительно и практически не используется в реальной познавательной деятельности. Значит ли это, что следует огульно отмести всю критику классической традиции теории познания и вернуться к ее вершинам (И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, неокантианство, Б. Рассел, Венский кружок) или истокам (Р. Декарт и Ф. Бэкон)?

Заметим, что в мировой эпистемологии с середины XX в. тянется не мертвенная «зима» (что, например, случилось с советским обществоведением в 1930–1950-х гг.), но весьма изощренная и продуктивная «осень». Вовсе отказаться от ее плодов было бы крайне неосмотрительным шагом. Присоединиться к общему (хоть и разноголосому) хору поругания классических стандартов – значит, отступиться от поставленной задачи подготовки интеллектуального снаряжения.

Умеренный эпистемологический консерватизм

Via media видится в позиции, которую назовем *умеренным эпистемологическим консерватизмом*.

Консерватизм здесь означает осторожность по отношению к любой радикальной критике устоев и стандартов, освещенных долгой и более или менее успешной практикой, в нашем случае – познавательной практикой получения надежного теоретического и эмпирического знания.

Умеренность консерватизма означает внимательное отношение к критике, серьезное рассмотрение новых аргументов и готовность проводить мягкую и контролируемую коррекцию классических стандартов, чтобы обойти затруднения, но не утерять при этом достоинств прежних подходов.

Эпистемологическая классика сама по себе весьма разнообразна, поэтому уточним свои приоритеты. Основания для выбора таковы: эпистемологический подход должен реконструировать логику отдель-

ных реальных научных исследований, общий ход развития познания в разных науках и использоваться самими учеными в рефлексии над своей деятельностью. Из известных мне подходов всеми тремя признаками обладает только логический эмпиризм, точнее, сочетание идей К. Поппера, К. Гемпеля и И. Лакатоса[11]. Именно эту классику мы будем защищать, а при необходимости мягко уточнять и модифицировать.

Непризнанное накопление знаний в социологии

Новый взлет философской эпистемологии мы связываем с ожидаемыми прорывами в социальных науках, а последние будут возможны только при условии получения сильных объяснительных и предсказательных теорий и, соответственно, надежных и воспроизводимых эмпирических результатов. Синтез теоретических знаний возможен только при условии их накопления, причем не как альтернативных моделей, взглядов, подходов, концепций, а именно как эмпирически надежно подкрепленных теорий, завоевавших признание среди специалистов. Вопросы признания и научного консенсуса приводят нас к проблематике накопления знаний, точнее, к трудностям, касающимся такого накопления в сфере социально-гуманитарных наук.

Коллинз утверждает наличие в социологии отдельных фрагментов накопления знаний, которое, тем не менее, не является общепризнанным[12]. Он выделяет:

(A) «специализированное накопление» внутри отдельных исследовательских сообществ, не признаваемое вовне,

(B) «непризнанное или утерянное накопление», происходящее при игнорировании научным сообществом прошлых результатов вследствие смещения интересов и выхода из моды прошлых понятий, задач и достижений, и, наконец,

(C) «непризнанное пересекающее границы специальностей, интегрированное накопление» (unrecognized cross-speciality integrated cumulation), под которым понимаются результаты, полученные в различных сообществах, оформленные в различных понятиях, имеющие при этом сущностное сходство, которое, однако, не воспринимается как таковое.

В качестве примеров специализированного накопления (A) Коллинз приводит результаты, полученные в таких социологических движениях (традициях, сообществах, соответствующих парадигмах), как:

- миросистемный анализ (А.Г. Франк, И. Валлерстайн, К. Чейз-Данн, Дж. Арриги, Дж. Абу-Луход и др.);
- анализ социальных революций как государственного распада (Б. Мур, Т. Скочпол, Дж. Гольдстоун);

[11] См.: Розов Н.С. Указ. соч. С. 110–122.

[12] См.: Collins R. Socially Unrecognized Cumulation // American Sociologist. 1999. Summer.

• военно-центрированная теория государства (В. Макнил, М. Манн, Ч. Тилли, Б. Доунинг);

• теории массовой мобилизации (Р. Дарендорф, Ч. Тилли);

• так называемая «элементарная теория», экспериментально демонстрирующая преимущества и недостатки позиций в различных сетях обмена (Д. Уиллер, Б. Андерсон, Б. Марковски);

• теория состояний ожидания, фиксирующая зависимость поведения и оценки индивидов от групповых определений индивидуального статуса (Дж. Жматка, Дж. Скворец, Дж. Бергер, Д. Вагнер и др.).

В каждом случае происходит явное накопление результатов, но они известны и признаны только в рамках соответствующего научного сообщества. Остальные школы склонны отвергать значимость такого накопления результатов или же попросту игнорировать их.

Примерами непризнанного или утерянного накопления знаний (В) в социологии являются исследования типов организационного контроля, проводимые в 1920–1960-х гг., близкие к ним исследования неформальных групп в организациях (Г. Саймон, Дж. Марч, А. Стинчкомб, А. Этциони). В программе «нового институционализма» (У. Пауэлл и П. Димаджио) по существу произошел возврат к схемам организационного контроля, особенно в версии «нормативного контроля» (Этциони) и школы человеческих отношений, но без признания того, что воспроизведены давние результаты. Подобным же образом в школе «рационального выбора» при изучении средств и искусственно создаваемых нанимателями условий, управляющих поведением наемных работников (Дж. Коулман), произошел фактический (но непризнанный) возврат к схемам организационного контроля в классической теории управления. Почти забытыми остались и богатые результаты исследования малых групп, полученные в 1930–1950-х гг. (Аш. Шериф, Дж. Хоманс).

Коллинз отмечает следующий парадокс: главной причиной такого забвения часто служит именно признанный успех исследований. То, что считается изученным, перестает волновать, исследователи обращаются к новым темам, контекстам, понятиям, а прежние достижения вскоре начинают восприниматься, как «старая шляпа» – знак отсталости и ретроградства.

Самыми любопытными являются непризнанные результаты, пересекающие границы специальностей (С). Под эту рубрику, по Коллинзу, подходит прежде всего открытие феномена социальных сетей, механизмов их действия и закономерностей развития. Сетевые явления были по отдельности обнаружены:

• в социологии религии (Р. Старк, В. Бэйнбридж);

• в изучении социальных движений (Д. Сноу, Л. Цуркер, Ш. Экланд-Олсон, Д. Макадам);

• в исследованиях массовой мобилизации (Ч. Тилли);

• в анализе форм конфликтной динамики в зависимости от сетевых позиций, занимаемых сторонами (Д. Блэк).

Удивительно то, что даже вполне самосознательное профессиональное сообщество «Международная сеть анализа социальных сетей» (International Network for Social Network Analysis, INSNA) не

проводит такого рода обобщений, но вместо этого стремится к развитию все более рафинированных техник сетевого анализа, пренебрегая результатами, полученными в других научных сообществах без применения таких изощренных методов.

Коллинз выделяет следующие главные препятствия для признания накопления результатов в социологии (причем многое явно применимо и к остальным социальным наукам):

1) сами специализированные исследовательские сообщества становятся барьерами, поскольку вследствие своей профессиональной мотивации члены таких сообществ склонны не признавать накопления результатов в конкурирующих сообществах, даже тогда, когда чужие результаты по существу совпадают с собственными;

2) социальные исследователи больше реагируют на теоретические «бирки», служащие своего рода символическими знаменами отдельных научных сообществ, склонны отвергать все результаты, ассоциирующиеся с отвергаемыми теориями (особенно, метатеориями), вместо того, чтобы сосредоточиться на анализе лучшим образом подкрепленных обобщений, относительно автономных от теоретических интерпретаций;

3) имеется излишняя фиксация на методах и местных стандартах методологии; в реальности же идеально точных методов не бывает; именно сходство результатов, полученных разными методами, является самым ценным, однако оно остается непризнанным из-за «фетишизма методов»;

4) в каждой исследовательской области в социальных науках предпочтение отдается переднему фронту, прокладыванию новых троп, заявлению новых понятий и концепций, притом, что прошлые результаты, даже признанные достоверными, со временем начинают игнорироваться, а затем и забываться.

Как достигнуть накопления знаний в социальных науках?

Ситуация представляется сложной, но отнюдь не безнадежной. Попробуем разобраться во внутренних критериях положительного знания, глубинных причинах выбора исследовательских стратегий и на этой основе очертим возможности, необходимые условия и ресурсы для того, чтобы социальное познание смогло наконец вырваться из-под действия «закона малых чисел»[13] (когда в поколениях воспроизводится от трех до шести противостоящих позиций вместо победы одной позиции – достижения консенсуса с последующим накоплением). Пусть социальное научное познание и не превратится в «науку быстрых открытий»[14], но, по крайней мере, встанет на путь надежного накопления положительных (как эмпирических, так и теоретических) знаний.

[13] См.: Коллинз Р. Цит. соч. Гл. 3.
[14] См.: там же. Гл. 10.

Критерии положительного знания

Под положительным знанием будем понимать суждение (совокупность суждений), которое:

а) надежно подкреплено эмпирически *(принцип корреспондентности)*;

б) согласуется с ранее принятыми теориями *(принцип когерентности)*;

в) используется в последующих исследованиях в качестве основания *(принцип превращения в основание)*;

г) принимается большинством специалистов, либо же доля принимающих это положение быстро растет при смене поколений *(принцип монотонного роста согласия, или просто принцип согласия)*;

д) фиксируется в профессиональных учебных пособиях в качестве не частного мнения, но достигнутого практически общепринятого знания *(принцип образовательной трансляции)*.

Рассмотрим выделенные критерии с целью выявления главных слабых мест социального познания. Критерии (а-б) носят традиционный логико-методологический характер. Критерии (г-д) относятся, скорее, к социологии науки. Наиболее любопытен критерий (в) «*использование суждения в последующих исследованиях в качестве основания*», поскольку здесь пересекаются «территории» методологии и социологии науки.

Почему же в одних ситуациях ученые стремятся опровергнуть (или хуже того – игнорировать) некоторое теоретическое суждение, заявляя собственную альтернативную позицию, а в других ситуациях они склонны взять такое суждение в качестве основания и продвигать дальше исследовательский фронт? Почему в одном случае чье-то теоретическое суждение воспринимается как препятствие, а в другом – как трамплин к новым собственным свершениям?

Представляется, что в корне данного различия лежит три тесно взаимосвязанных фактора: 1) воспроизводимость эмпирических фактов, подкрепляющих теоретическое суждение, 2) готовность исследователей проверять эту воспроизводимость, 3) эффективность применения подкрепленных теоретических положений в планировании и проведении новых исследований.

Сравним такие дисциплины, как психология личности и экспериментальная когнитивная психология. По всем трем вышеуказанным факторам когнитивная психология существенно успешнее, что и объясняет достаточно массивный корпус накопленного не только эмпирического, но и теоретического знания в психологии восприятия, внимания и памяти в сравнении с продолжающимся теоретическим хаосом в психологии личности.

Данное сравнение подсказывает еще более глубокие причины различий: чем в большей мере обобщенный эмпирический и теоретический результат может быть отвлечен от пространственно-временной и прочей специфики подкрепляющих его эмпирических фактов, тем больше сила вышеуказанных факторов и, соответственно, вероятность выскользнуть из тенет «закона малых чисел» и прорваться к получению и накоплению положительных знаний.

Проблемы с воспроизводимостью результатов в социальных, тем более в исторических науках тесно связаны с практической невозможностью задать искусственные экспериментальные условия и с соответствующей жесткой привязанностью исследования к своему материалу. *Социальные исследователи почти никогда не стремятся воспроизвести чужие результаты.* Это сопряжено с крайне большими методическими, организационными (а зачастую и финансовыми) трудностями, притом что честь первооткрывателя уже принадлежит другому. Гораздо легче, почетнее и перспективнее спланировать и провести собственное инновационное исследование. Ясно, что при таком положении дел непризнание и забвение результатов остаются неизбежными. Что же может изменить ситуацию?

Кумуляционистская стратегия

Рассмотрим, в каком направлении должна строиться деятельность воображаемого сообщества «кумуляционистов» – тех социальных исследователей, которые сохраняют надежду на получение и накопление положительных знаний и стремятся соответствующим образом изменить социально-познавательную ситуацию.

Во-первых, *исследовательские методы, процедуры получения и интерпретации результатов должны быть максимально отделены от материала.* Это достигается проверкой методов на разнородном материале, обобщением, концептуализацией, преодолевающей разнородность реального материала, а также операционализацией, конструктивизацией самих методов и процедур. В идеале эмпирический материал должен расписываться как конфигурация значений некоторого набора универсальных характеристик, причем каждой такой характеристике должно быть сопоставлено несколько надежных тестовых процедур – аналогов измерительных приборов в естествознании. Действительно, почему относительно легко воспроизводятся эксперименты в физике, химии, физиологии, генетике? Потому что физик, например, знает, что при столкновении с материалом механики он будет иметь дело с массами, силами, расстояниями, скоростями, ускорениями и т.п., в случае электродинамики – с проводниками, силой тока, напряжением, в случае оптики – с лучами, свойствами отражения и преломления и т.п., причем в каждом случае имеется арсенал надежных приборов для измерения соответствующих величин.

Сегодня нельзя сказать, что в социальных науках ничего подобного нет и быть не может. Неплохо известны характеристики ситуаций взаимодействия, конфликтов, малых групп, социальных движений, социальных страт, социальных институтов, организаций, разного типа поселений, рынков, государств и т.д. Если вместо измерительных приборов здесь будут использоваться надежные тестовые процедуры, то вполне можно надеяться на резкое расширение круга воспроизводимых результатов. Такова методико-техническая сторона облегчения воспроизводимости.

Во-вторых, параллельно с облегчением воспроизводства чужих результатов должны повышаться стандарты эмпирических исследований: *прежде чем провести собственное исследование, необходимо проверить результаты предшественника*. Вначале это должно стать признаком блестящих, безупречно выполненных работ, а потом превратиться в общую норму. Здесь речь идет о социально-нормативной стороне саморегуляции деятельности научного сообщества.

В-третьих, следует начать работу над самым важным: *накоплением арсенала проверенных теоретических положений (законов), которые выгоднее использовать, чем отвергать или игнорировать*. Заметим, что здесь совмещаются внутренняя содержательная сторона научных исследований и внешняя – социально-мотивационная.

Итак, почему физик не тратит сил на то, чтобы оспаривать закон сохранения энергии или закон Ома, а просто использует их в решении своих задач? Почему социолог, напротив, скорее склонен критиковать известные положения, пренебрегать прошлыми результатами (например, в изучении малых групп, социальных сетей, солидарности, организационного контроля), а не использовать их в своей работе?

Ответ таков: в естествознании эмпирически подкрепленные теоретические положения (законы) легко встраиваются в программу исследования, их использование позволяет с высокой степенью надежности *судить о неизвестных значениях одних переменных по известным значениям других переменных*. Это делается преимущественно с помощью математической формализации законов и манипулирования формулами.

Какой же можно использовать аналог для тех положений социальной теории, которые не формализуются в виде алгебраических или иных формул? На настоящий момент лучшим общим решением представляется использование тренд-структур (моделей сложного взаимодействия факторов, представленных в форме графов). Тренд-структуры уже широко используются в разных социальных науках, разработаны способы математической экспликации соответствующих моделей и соотнесения с эмпирическими данными, обычно имеющими табличное представление[15].

Очевидно, что ни применением самих по себе эффективных исследовательских средств и приемов, ни призывами, ни даже сменой стандартов социального исследования не достичь желаемого прорыва в социальных науках. Если он и произойдет, то только при счастливом сочетании множества разнородных компонентов социально-сетевого, институционального, концептуального, методологического и методического характера, причем состав этих компонентов предугадать невозможно.

[15] См.: Stinchcombe A. Conctructing Social Theories. Chicago and London, 1987. (Originally published: New York: Harcourt, Brace & World, 1968); Разработка и апробация метода теоретической истории (Серия «Теоретическая история и макросоциология»). Вып. 1. Новосибирск, 2001. Часть 1.

Социально-феноменологический анализ речевых коммуникаций[1]

Н. М. СМИРНОВА

Когнитивные аспекты анализа речевых коммуникаций – одно из важнейших проблемных полей современной социальной эпистемологии. К его разработке, на мой взгляд, побуждают два обстоятельства. Первое, социально-культурное, состоит в том, что ситуации постмодерна свойственна «радикальная индивидуализация», фрагментация и деградация социальных связей. Один из наиболее глубоких критиков современного общества известный английский социолог З. Бауман убежден в том, что современное общество коренным образом отличается от прежних форм человеческого сосуществования не просто кризисом всех предшествующих форм социальной организации, но закатом социальности как таковой. Не склонный видеть в нем лишь проявление перманентного «культурного кризиса», он убежден, что ныне «мы вступили на территорию, которая никогда ранее не была заселена людьми, – на территорию, которую культура в прошлом считала не пригодной для жизни. Повторяю еще раз: в этих местах мы не были никогда прежде. И нам еще стоит увидеть, что значит оказаться здесь и какими будут долгосрочные последствия всего этого»[2].

[1] Исследование выполнено в рамках проектов РГНФ № 06-03-00275а и № 05-03-03138а.

[2] Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002. С. 316.

Приведенное высказывание подытоживает алармистские выводы о том, что тенденцией развития современных технологически развитых обществ является размывание устойчивых социальных сообществ – узелков невидимых нитей социальной связи. Свойственная ситуации постмодерна радикальная диверсификация социокультурного опыта («расцвет социально-культурного многообразия») приводит к тому, что человек вовлекается в различные пласты культурного опыта, но не идентифицирует себя ни с одним из них на сравнительно долгое время («кризис идентификации»). В свою очередь, социально-онтологические основания устойчивых социальных групп (место в системе разделения деятельности как базис устойчивых социальных интересов) становятся все более аморфными. Современный «класс», убежден крупнейший французский социолог П. Бурдье, это «класс на бумаге» – категория организационно и идеологически не связанных друг с другом людей, объединенных лишь сходством налоговых деклараций.

Оборотной стороной размывания устойчивых социальных структур является масштабная массовизация современных обществ, классические формы которой описаны еще Х. Ортегой-и-Гассетом[3]. Однако в отличие от классической массовизации, связанной с разложением структур кланово-родовой идентификации и становлением новых классов индустриального общества, постиндустриальная массовизация – социальная энтропия, ведущая к «радикальной атомизации». Разрушение структур социально-групповой идентификации, «новая атомизация» и ее оборотная сторона – «массовизация» диагностируются как «смерть социального», ее симулякр. И алармистский вывод крупнейшего французского социолога Ж. Бодрийяра о том, что современная массовизация – *симуляция* всех форм социального, отрицание социальности как устойчивых форм общественных связей – серьезный повод поразмышлять о теоретической репрезентации «остаточных форм» социального. Кризис устойчивых социальных связей как постиндустриальный «вызов социальному» актуализирует проблему социально-организующей роли речевых коммуникаций как «минимума социальности». Обращение же к социально-феноменологической концепции языка обусловлено тем, что последняя видит *в смысловой структуре социального мира матрицу непрерывного воспроизводства социальности.* Феноменологический анализ предельных оснований социальности, поиск жизнемировых констант интерсубъективности является достойным философским ответом на ситуацию «заката божественного социального».

Второе обстоятельство – собственно философского характера. Субстанциализацией языка как основания социальности мы обязаны разборке крупнейших теоретических синтезов новоевропейской метафизики. Критические усилия левогегельянской критики трансформируют Абсолютный дух гегелевской метафизики в «дух европейской

[3] См.: Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 1997.

культуры», субстанцией которой, по убеждению В. Гумбольдта, и выступает язык. «Обмирщение» фундаментальных объективистских онтологий европейской философии Нового времени и привело к осознанию креативной роли языка как земного аналога Абсолютного духа, субстанции, ratio. Взвалив на себя земные обязанности Абсолютного духа, язык стал социальным конструктором, активным участником «сотворения социального мира». Гумбольдт полагал язык подлинной субстанцией социальной жизни, утверждая, что не люди овладевают языком, но язык овладевает людьми, грамматические и лексические формы которого задают определенный способ видения мира и модели социальных отношений. Придание языку социально-конструирующих свойств означало, что структура языка определяет предметное расчленение мира, а структурные и лексические характеристики языков отражают национальные различия в миросозерцании. В таком понимании естественные языки детерминируют как представление о структуре универсума, так и типы обыденного миросозерцания. И хотя метаморфозы европейской культуры не раз посягали на субстанциалистские претензии языка, низводя его до уровня простого средства регистрации опытных данных (позитивизм), девальвации его значимости сопутствовало и умаление самой философии до роли средства очищения и рационализации языка науки.

Антрополого-лингвистический поворот в европейской философии XX в. привел к смещению фокуса исследовательского внимания на коммуникативно-смысловые аспекты анализа социальной реальности. Гипостазирование языка, придание ему социально-конструирующих функций обрело второе рождение у основателя лингвистического позитивизма Б. Уорфа и его последователей. По их мнению, мы расчленяем мир по линиям, предписанным нашим родным языком (vernacular). Так, существительным соответствуют предметы, прилагательным – их свойства, глаголам – типы действия и т.д. И если в языке культурного сообщества отсутствуют, к примеру, существительные (подобный случай описан в одном из рассказов Х-Л. Борхеса), то в их картине мира предметы – не более чем «сгущение» свойств и отношений («луна – небесное, ночное, круглое, светящееся…»).

Действительно, «опредмечивающая» (типизирующая) функция языка заложена в самой природе языковой объективации. Объективированный в языке смысл может быть транслирован другому члену языкового сообщества, а грамматические формы языка играют важную роль в онтогенетическом развитии человеческого мышления. Но осмелюсь утверждать, что структура естественных языков все же не определяет картины мира всецело, хотя и вносит в нее свой вклад. Лингвистический позитивизм абсолютизирует социально-конструирующие функции языка, фактически элиминируя его творца и носителя. Социально-феноменологическая же интерпретация языка, которая и будет предметом моего анализа, исходит из противоположной, социально-антропологической презумпции. *Она исследует язык*

как опыт интерсубъективности, персональной идентификации и средство трансляции социальных значений. При этом в исследовании языка социальная феноменология выходит на более глубокий, чем лингвистика, уровень анализа и задается вопросом, выходящим за пределы противостояния различных лингвистических концепций (например, структурной лингвистики, концепции «порождающих грамматик» или теории речевых актов). Предметом ее анализа является фундаментальный вопрос генезиса смыслов и роли смыслообразующей деятельности в персональной и социальной идентификации человека.

Интерсубъективные и социально-идентифицирующие функции языка

Социальная феноменология трактует использование языка (vernacular) как особый пласт человеческого опыта. А. Шюц до определенных пределов разделяет основную идею Гумбольдта о социально-конструирующей природе естественного языка как опыта первичного структурирования мира, задающего тип прединтерпретации реальности в грамматических и лексических формах. Но на этом сходство заканчивается. В отличие от субстанциалистских представлений Гумбольдта, полагавшего, что не человек овладевает языком, а «язык овладевает человеком», социальная феноменология исходит из радикально индивидуалистической перспективы. Исходным пунктом его анализа языка становится уровень языковой практики отдельного индивида (как члена лингвистического сообщества) в повседневной жизни. При этом, в отличие от М. Вебера, считавшего, что собственно социальное действие всегда предполагает коммуникативную ориентацию на другого (а потому сочинение стихов и одинокая молитва таковыми, по Веберу, не считаются), социальные феноменологи, следуя Э. Гуссерлю, полагавшему имманентное присутствие Другого в горизонте сознания, убеждены в том, что «трансцендирующая и интегрирующая сила языка сохраняется и тогда, когда я говорю сам с собою, а не с другим»[4]. Именно в языке происходит «осаждение» (sedimentation) первичных социальных значений (Я, Другой, дом, труд, семья и т.д.). В языковых же формах зафиксированы и исходные легитимации социального порядка (свое, чужое, можно, нельзя и т.д.). Язык конститутивен в отношении *символического универсума* (П. Бергер, Т. Лукман), обжитого человеком едва ли не лучше природного. И в этом смысле язык есть «фабрика социальных значений», продуцирующая «структурированное сожительство смыслов», выполняющих важнейшие социально-интегративные функции.

[4] Berger P., Luckmann T. The Social Construction of Reality. A Treatise on Sociology of Knowledge. Anchor Books. N.Y., 1966. P. 39.

Феноменологически естественный язык – неиссякаемый кладезь обыденных типизаций. Опыт очерчивает *горизонт* ранее неизвестных типических характеристик, а каждое понятие обыденного языка содержит открытый горизонт ранее не исследованного типического содержания. Типизация, лежащая в основе опыта повседневной жизни, – это идентификация с тем, что «уже было», срывание покровов новизны и отождествление феномена с тем типом, к которому он может быть «приписан». То, что однажды воспринято в его типичности, несет в себе открытый горизонт «опыта в возможности». Оно апеллирует к серии типичных характеристик, актуально не воспринимаемых, но потенциально антиципируемых. Актуальный опыт подтверждает или не подтверждает подобные ожидания. Если подтверждает – содержание типа расширяется. Если нет – тип может быть разбит на подтипы. Подобные типизирующие структуры позволяют преодолевать своеобразие личного опыта и наводят мосты взаимопонимания в повседневной жизни.

Язык позволяет не только превзойти уникальность личного опыта, но и закрепляет, стабилизирует его. Именно «осажденный» (sedimented) опыт человеческих переживаний делает человека *биографически детерминированным* существом, конституирует человеческую индивидуальность. Язык же является и важнейшим средством первичной рационализации человеческих переживаний, очерчивая сферу доступного осмыслению и памяти. Чем ближе опыт переживаний к интимному ядру личности, полагает М. Шелер, тем труднее выразить его в языке. Пределы осмысленности человеческих переживаний совпадают с границами их вербализации: то, что не выразимо в языке, может быть прожито, пережито, но не наделено значением. Наиболее интимные чувства (материнские, любовные), по Шелеру, и вовсе не выразимы в языке, они конституируют неподвластную самопознанию область «абсолютно личной собственности»[5]. Как инструмент первичной рационализации рефлексируемых переживаний язык выступает важнейшим конститутивным средством обретения субъективной реальности, *персональной идентификации*.

Если «внешняя» социальная реальность поддерживается институционально, то субъективная реальность нуждается в коммуникативной поддержке. Важнейшим средством коммуникативной поддержки субъективной реальности выступают повседневные беседы. Самооценка, которую поддерживают в человеке *значимые другие*, посто-

[5] Понятие «абсолютно личной собственности» М. Шелера как сферы невербализируемых переживаний, без сомнения, отсылает к более фундаментальному понятию Э. Гуссерля «примордиальная сфера». Это та сфера сознания трансцендентального Ego, из которой – посредством «редукции к сфере принадлежности» – элиминированы все атрибуты чужой субъективности, а собственное Ego дано непосредственно. Примордиальная сфера выступает когнитивным основанием аналоговой апперцепции в процессе феноменологического конституирования Ater Ego.

янно убеждает его в том, что он действительно тот, за кого себя принимает («короля играет свита»). В случае же асимметрии социальной и персональной идентичности необходимую симметрию можно восстановить путем модификации поддерживающих субъективную реальность отношений (расширить круг друзей, уволить секретаршу, развестись с женой и т.д.). В высокомобильном и роледифференцированном обществе, убеждены Бергер и Лукман, существует множество способов реорганизовать коммуникативную поддержку субъективной реальности[6] в целях улучшения социального самочувствия человека. В социально-феноменологической интерпретации, таким образом, естественный язык не только конститутивен в отношении субъективной реальности, но и является важнейшим средством ее поддержания – в той мере, в какой последняя имеет коммуникативную природу.

Ситуативная детерминация значений: эмерджентные коннотации и схема выражения

Социально-феноменологическая концепция языка заимствует классическую (корреспондентскую) концепцию значений языковых знаков (конструкцию соответствия), но вводит в нее дополнительные идеализирующие допущения. Понятие соответствия в социально-феноменологической интерпретации опирается на гуссерлеву концепцию аналогизирующей апперцепции. Аналогизирующая апперцепция объединяет явления в смысловое единство благодаря спонтанной способности сознания к интуитивному схватыванию сходства. Но на этом влияние Гуссерля и заканчивается. Ибо, по Гуссерлю, все мыслимые, т.е. трансцендентально возможные, формы социальности в зародыше коренятся в формах конститутивной активности трансцендентально чистого сознания Ego, и посюсторонние проявления такого «бытия в возможности» не представляют для него интереса. Основанная на презумпции коммуникативной природы субъективной реальности социальная феноменология использует принятый в современной лингвистике ситуационно-интеракционистский подход к значению. С этой точки зрения устойчивое ядро референтных значений, зафиксированное в словарях, воплощает лишь *типизированный* опыт использования слова лингвистическим сообществом и не исчерпывает собою всей полноты его значения. Для адекватного понимания слова необходимо принять во внимание его *ситуативные коннотации*, выражающие личный опыт использующего его человека применительно к конкретной ситуации речевого общения[7]. В отечественной литературе

[6] См.: Berger P. Luckmann T. Op. cit. P. 151.

[7] Подобное различие двух аспектов значения можно обнаружить еще в книге Л.С. Выготского «Мышление и речь» (1934). Он придает большее значение объективному аспекту значения, по его мнению, свидетельствующему о глубине отражения объективного мира.

подобный взгляд на природу значения развивал А.Р. Лурия. «"Значение" есть устойчивая система обобщений, стоящая за словом, *одинаковая для всех людей,* причем эта система может иметь разную глубину, разную обобщенность, разную широту охвата обозначаемых им предметов, но она обязательно сохраняет неизменное "ядро" – определенный набор связей». Наряду с этим названный автор вводит и другое понятие, обозначаемое термином *«смысл».* В отличие от значения, смысл – *«индивидуальное значение слова,* выделенное из этой объективной системы связей; оно состоит из тех связей, которые имеют отношение к данному моменту и к данной ситуации. Поэтому если "значение" слова является объективным отражением системы связей и отношений, то "смысл" – это привнесение субъективных аспектов значения соответственно данному моменту и ситуации»[8]. Иными словами, «референтное» значение универсально и выражает лингво-коммуникативный опыт всего культурного сообщества. Смысл же «относителен» к личному опыту человека и конкретной ситуации его использования. В социальной феноменологии этому различению соответствуют понятия *объективного и субъективного контекстов значения.* Ситуативная детерминация значения состоит в том, что в различных ансамблях речевых практик слово обрастает эмерджентными, ситуативно обусловленными ассоциативными и эмоциональными «окаймлениями» (fringes). Эти «добавочные», маргинальные смыслы являются чем-то вроде ауры, окружающей ядро устоявшегося, «словарного» значения. Подобные эмерджентные смыслы содержат следы прошлого опыта использующего слово человека и нагружены лексически не выразимыми иррациональными импликациями. Эмерджентные смыслы намекают, но «не говорят». Их можно выразить с помощью невербальных коммуникаций (взгляда, жеста, танца), положить на музыку. На ауре маргинальных смыслов построена вся мировая поэзия. Но их нельзя деконтекстуализировать. Не существует общезначимых правил их выбора для всех ситуаций речевого взаимодействия, так как когда аппрезентативное соответствие знака и референта установлено, в самих знаках нет следов этой работы. «Значение знака определяется как взаимным отношением знаков, так и тем, как их используют»[9], – убежден Г. Гарфинкель. Употребление любого слова, т.е. выбор из словаря подходящего значения или выражения, всегда опосредовано как прошлым коммуникативым опытом говоря-

[8] Лурия. А.Р. Язык и сознание. М., 1979. С. 53. Подобную же двойственность отмечают и современные исследователи речевых практик. «Как представляется, в философии языка и культуры недооценена антиномия прямого значения знака и его идиоматического использования. <…> В основе же этой антиномии лежит оппозиция референции и тропа» (Козлова Н.Н., Сандомирская И.И. Я так хочу назвать кино. «Наивное письмо»: опыт лингво-социологического чтения. М., 1997. С. 22).

[9] Garfinkel H. Ethnomethodological Studies of Work. Studies in Ethnomethodology. L., 1986. P. 114.

щего, так и его определением наличной ситуации. Шюц убежден в том, что язык каждый раз рождается заново в процессе его использования. Это значит, что устоявшееся словарное значение слова всегда испытывает определенные модификации в практике его употребления применительно к определенной ситуации речевого взаимодействия, а почерпнутые из коммуникативного опыта эмерджентные смыслы обретают дополнительную «ситуативную» окраску применительно к каждому отдельному случаю их употребления. «Каждое слово значит ровно столько, сколько я хочу», – уверял Шалтай-Болтай, и в этом, как ни парадоксально, изрядная доля истины. Осуществив феноменологическую «прививку» к древу ситуационного интеракционизма в анализе значения языковых знаков, социальная феноменология очерчивает когнитивный горизонт их потенциально возможных интерпретаций.

Эмерджентные, «ситуативные» смыслы необходимо принять во внимание, чтобы достичь правильного понимания речи. Ибо посредством ситуативных нюансов речи («игры слов») говорящий может донести до слушателя совсем иные смыслы, чем те, что составляют прямое (словарное) значение используемых им слов. Подобная ситуация с гениальной психологической тонкостью описана М. Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита». Римский прокуратор Понтий Пилат в беседе с начальником тайной стражи на словах предупреждает его о готовящемся покушении на Иуду. Но с помощью тонких словесных ухищрений, намеков и ассоциаций прокуратор доносит до Афрания совсем иной приказ: убить Иуду. Рыцарь плаща и кинжала не сразу схватывает потаенный смысл Пилатова замысла. Чтобы донести до него подлинный смысл запретного приказа, Пилат осыпает его милостями. «Так убьют, игемон?» – восклицает прозревший наконец Афраний и отправляется исполнять тайное поручение. В своем отчете о содеянном он продолжает начатую прокуратором тонкую словесную игру. Прибегнув к помощи возлюбленной Иуды, для того чтобы заманить того в западню, он категорически отвергает предложенную Пилатом официальную версию «ищите женщину» и с неподдельным возмущением повествует о собственном деянии как о дерзости убийц, подбросивших «иудины сребреники» в дом иудейского первосвященника.

«Добавочные» смыслы необходимо принимать во внимание не только для адекватного понимания повседневной разговорной речи, но и в научно-социологических исследованиях. Практика прикладных социологических исследований свидетельствует, что вербализация подразумеваемых смыслов существенно повышает репрезентативность социологических опросов. Анализ, проведенный отечественными учеными, показывает, что если к вопросу «Предпочли бы Вы иметь работу, если бы это было возможным?» добавить «Или Вы предпочитаете заниматься домашним хозяйством?», разница в ответах достигает 50%. При этом в случае введения уточняющей (подразумеваемой) альтернативы количество неопределенных ответов резко па-

дает (в данном случае с 26% до 8%). Подобные исследования дают основание полагать, что мнение, согласно которому подразумеваемые (имплицитные) смыслы настолько очевидны, что не нуждаются в экспликации, ошибочно. Столь существенный разброс в статистических данных социологических опросов свидетельствует о необходимости упоминания в вопросе как можно большего числа подразумеваемых смыслов[10], относящихся как к персоне, так и к ситуации их использования.

Смысловые коннотации «словарных» значений языка образуют специфическую *схему выражения*, транслируемую лишь в процессе коммуникации. Она может носить персональный характер, если «непроговоренные смыслы» имеют характер личностного знания, определять культурное лицо членов социальной группы, наконец, быть присущей лингвистическому сообществу в целом. Но даже и в последнем случае схема выражения не может быть усвоена лишь из словаря и грамматики – приписывание «прямого» смысла словам идиоматического выражения ведет к бессмыслице. «Для того, чтобы освоить чужой язык как схему выражения, – убежден Шюц, – нужно написать на нем любовное письмо, помолиться и выругаться»[11]. Экспрессивная и интерпретативная схемы языковых знаков постигаются лишь в живом опыте, в котором конституируются и воспроизводятся.

На уровне макроструктуры ситуативная детерминация значений означает необходимость специального исследования интерпретативных процедур как способов приписывания интерсубъективных значений. Нормативные правила сами по себе не содержат инструкций по приписыванию значений окружающим объектам или событиям. Поэтому «чтобы решить проблему формулировки всеобщих правил в определенном социальном контексте, – рассуждает А. Сикурел, – я использую понятие интерпретативных процедур как инвариантных свойств или принципов, которые позволяют приписать субъективное значение правилам, называемым социальными нормами»[12]. Когнитивной психологии, убежден он, недостаточно для понимания генезиса смысла социальной структуры. Она не раскрывает, как формулируются отдельные социально структурированные мысли, как воспринимаются образы событий и объектов на основе более общих социальных правил и норм, т.е. не исследует *ситуативный базис значений*. Усвоение же языковых правил сходно с усвоением норм: и то, и другое предполагает умение интерпретировать. Ребенок должен учиться интерпретировать общее правило или норму вкупе с конкрет-

[10] См: Мосичев А.В. Влияние формулировки вопроса на результаты эмпирических социологических исследований // Методология и методы социологических исследований (итоги работы поисковых проектов 1992–1996 гг.). М., 1996. С. 22–23.

[11] Schutz A. On Phenomenology and Social Relations. The University Of Chicago Press, 1979. P. 98.

[12] Cicourel A. Cognitive Sociology. Language and Meaning in Social Interaction. Penguin, 1973. P. 85.

ными случаями их употребления – невозможно научить ребенка быть вежливым, не представляя образцов (когнитивных паттернов) вежливого поведения. «Члены общества, – убежден Сикурел, – должны усвоить знание того, как приписывать значение их окружению, так чтобы общие правила могли быть артикулированы применительно к отдельным случаям»[13]. В философско-методологическом плане это означает, что универсалистские претензии классического обществознания на открытие «всеобщих и необходимых законов» социальной жизни замещаются описанием «правил интерпретации». При этом любые интерпретации суть временные конвенции и могут быть приняты лишь до тех пор, пока не опровергнуты последующими интерпретациями. И задача методолога – изучать *культурные детерминанты* таких интерпретаций в социально-санкционированных способах мышления и деятельности.

Антиципация схемы выражения как условие понимания

Классическая наука исходила из неявной презумпции абсолютной смысловой прозрачности языка как посредника социальных взаимодействий. Предполагалось, что «идолы языка», способные вводить в заблуждение, легко растопить в лучах критики и просвещения. Методология неклассической науки обязывает учитывать воздействие средств и операций познания на познавательный образ объекта, колеблющее классический идеал объективности знания как «очищения» от операционально-ценностных контекстов человеческой деятельности. В ней нет места и абсолютному наблюдателю, взирающему на мир с позиции «вненаходимости», гарантирующей достоверность научного описания. Рассматривая «парадоксы самоописаний» современных обществ, Н. Луман, к примеру, подчеркивает, что «в обществе нет независимой позиции наблюдателя, единой инстанции наблюдения. Ни классический "субъект", ни "прогрессивный класс", ни "научная объективность" уже не могут считаться гарантами достоверности высказываний»[14].

Социально-феноменологический анализ коммуникативной функции языка состоит в исследовании его способности транслировать социальные значения. Как вариант неклассического обществознания она отвергает свойственную классической науке метафору языка как неискажающего переносчика социальных значений – идеального подобия светоносного эфира классического естествознания. Социальная феноменология вводит сильное идеализирующее допущение: *непременным условием адекватного восприятия речи является совпадение,*

[13] Ibid. P. 51.

[14] Луман Н. Наблюдения современности // Социологический журнал. 1991. № 1. С. 185.

по меньшей мере частичное, упомянутых выше схем выражения. Совпадение схем выражения в просторечье означает, что оба «говорят на одном языке». В ситуации лицом-к-лицу, где симптомы чужой субъективности максимально открыты, в этом, как правило, можно убедиться, наблюдая за выражением лица коммуникативного партнера. Говорящий интерпретирует реакцию партнера как гнев, отчаяние, безразличие *аппрезентативно*, т.е. на основании «эмпирически сходной манеры собственной телесной экспрессии». Но феноменологическая теория аппрезентации содержит сильное ограничение: для того чтобы подобная интерпретация чужой телесной экспрессии стала возможной, использующий коммуникативные знаки должен предварительно пережить сходные эмоции в собственном опыте. Ибо наличие гуссерлевского «первого творения» (в данном случае – опыта собственного переживания) – непременное условие феноменологически понятой аппрезентации, и это очерчивает пределы возможности феноменологически понятого понимания.

Сложность адекватного восприятия языковых знаков существенно возрастает в ситуации непрямых социальных взаимодействий. Обращаясь к анонимному коммуникативному партнеру, использующий языковые знаки лишен возможности наблюдать за выражением его лица и телесной экспрессией. В таком случае говорящему следует иметь в виду, что ему не удастся скорректировать возможное (а отчасти и неизбежное) несовпадение субъективных контекстов значений в самом процессе языкового взаимодействия. Поэтому чтобы быть правильно понятым, говорящий должен осуществить воображаемую «репетицию» чужого восприятия, т.е. осуществить антиципацию аппрезентативной и референциальной схем восприятия своего адресата, предвосхитить, «как слово наше отзовется». Если же коммуникативный партнер представлен идеальным типом, то использующий языковые знаки должен по возможности строго придерживаться их социально санкционированного, «словарного ядра» значения. Чем более анонимен коммуникативный партнер, тем более «объективно» следует использовать языковые знаки.

Благодаря способности преодолевать ситуативную ограниченность отдельных актов коммуникации, естественный язык в состоянии наводить мосты между различными пластами человеческого опыта – конечными областями значений (finite province of meaning). При этом естественный язык служит проводником из одной конечной области значений в другую, например из области грез, научного исследования или религиозного экстаза в сферу повседневной жизни. Можно интерпретировать значение сна, выразив его содержание в обыденном языке повседневной жизни. С помощью языка можно связать эстетический и религиозный опыт, введя его образы в строй повседневного мышления. Наконец, формализованный язык науки основан на повседневном обыденном языке, и, как показали безуспешные попытки логических позитивистов, создание особого «объектного» языка науки, не зависимого от естественного (т.е. решение проблемы демаркации), невозможно.

Исследование языковых ресурсов объективации личного опыта приобретает особую важность и в свете важнейшего методологического требования социальной феноменологии: постоянной экспликации предпосылок социального теоретика, почерпнутых из обыденного мышления. Презумпция погруженности социального теоретика в различные ансамбли языковых практик и, следовательно, несвободы от социального опыта, обусловленного его социально-групповым положением, – отличительная черта методологической рефлексии неклассической науки. Сформулированный в рамках социальной феноменологии *постулат чистоты метода* предписывает трактовать как аналитически проблемную не только языковую деятельность как таковую, но и свою собственную практику использования языка как члена языкового сообщества[15]. Это означает требование достижения *практически достаточного* уровня рефлексии неявных предпосылок, почерпнутых из обыденного языка и мышления.

Исследования Шюца о практике речевого взаимодействия в повседневной жизни развивает представитель «поздней» социальной феноменологии Сикурел, еще более радикализирующий ситуационно-интеракционистский подход к значению[16]. Сикурел подвергает критике нормативную установку, ориентирующую исследователя на то, чтобы ограничиться формулировкой всеобщих правил и оставить без внимания способы, посредством которых они «живут» в мыслях и действиях конкретных людей. Ведь правило зафиксировано в словесных предписаниях. В отличие от него, действие, в том числе речевое, носит спонтанный характер и детерминировано множеством жизненных обстоятельств, отсутствующих в формулировке правила. Действие может лишь отчасти следовать правилу. Между ними неустранимый зазор, преодолеваемый личным усилием говорящего-действующего. Сикурел обращает внимание на тот факт, что сами по себе всеобщие правила, функционирующие в виде ценностей и норм, не содержат сведений о том, как их использовать на практике, т.е.

[15] Но процесс экспликации предпосылок, почерпнутых из обыденного языка и мышления, потенциально бесконечен, поскольку как только такие значения обнаружены, допущения, сделанные в их анализе, также должны быть прояснены. В свою очередь, их экспликация заставляет делать дополнительные допущения, и так ad infinitum («парадокс бесконечной триангуляции»). Чтобы избежать редукции в бесконечность, ученый должен удовлетвориться если не исчерпывающим, то *практически достаточным* объяснением. И до тех пор, пока оно не опровергнуто новыми интерпретациями, найденное объяснение должно быть временно принято. Экспликация собственных предпосылок, таким образом, является бесконечным процессом, поэтому социальный ученый должен осознавать, что его научные открытия являются временными, «предпосылочными» истинами, зависящими от путей познания и способов интерпретации.

[16] Следует также отметить работу: Romaine S. Language in Society: Introduction to Sociolinguistics. Oxford University Press, 1994.

как их применять в каждом отдельном случае[17]. Подобное знание всегда контекстуально. Оно возникает в процессе социальных коммуникаций и содержит невербализируемые моменты, определяемые жестами, мимикой, телесной экспрессией говорящего. Словарные же значения, несмотря на их контекстуально-сенситивное происхождение, должны быть ситуативно релевантны, т.е. специально отобраны для решения определенной задачи речевого взаимодействия. В каждом конкретном случае они имеют значения ad hoc. Поэтому значения, содержащиеся в словарях, пригодны для решения конкретных практических задач лишь постольку, поскольку тот, кто их использует, руководствуется не логическими критериями выбора значений, но сам решает, какие именно черты коммуникативной ситуации оправдывают его лексический выбор.

Социальные феноменологи не были первыми, кто сформулировал подобные проблемы. Но они в полной мере осознали их важность для современной эпистемологии. Практически в то же время подобные вопросы активно исследовал американский ученый и философ М. Полани[18]. Изучая генезис личностного знания, он убедительно показал, что усвоение «максим» (правил) искусного действия само по себе не приводит к умению их использовать на практике. Ибо знания, зафиксированного в норме, недостаточно для успешного исполнения действия. Между знанием нормы и знанием того, как ее использовать на практике, всегда существует «эпистемологический разрыв» (epistemological gap), преодолеваемый (в случае успешного действия) или не преодолеваемый личным усилием действующего, будь его действие телесным или вербальным. Знание того, как преодолеть подобный эпистемологический разрыв, в принципе неформализуемо. Оно является *личностным* в подлинном смысле слова, т.е. обретаемым в коммуникативном опыте индивида.

С другой стороны, проведенный Полани скрупулезный анализ личностного знания показывает, что и успешное действие отнюдь не всегда основано на знании правил (максим) его осуществления. Например, пловцы и велосипедисты зачастую не могут внятно объяснить, за счет чего они сохраняют равновесие или держатся на плаву. Но даже если это и удается, объективированного в языке знания недостаточно для не имеющего подобных навыков новичка, поскольку есть множество ситуативных нюансов, отсутствующих в формулировке общих правил, которые необходимо учесть на практике. Поэтому знакомство с правилами полезно и облегчает обретение навыка, заключает Полани, однако само по себе знание правил не научает их

[17] См.: Cicourel A. Op. cit.

[18] См.: Polanyi M. Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy. University of Chicago Press, 1958. Corrected eddition 1962; Сокр. пер. с англ.: Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1985; Polanyi M. Tacit Knowing: Its Bearing on Some Problems of Philosophy // Reviews of Modern Physics. 1962. V. 34. № 4. October.

практическому использованию. То, как достичь виртуозного исполнения действия, заключает Полани, невыразимо и всегда остается предметом искусства – умения личностным усилием преодолеть разрыв между ограниченным набором правил и бесконечным множеством ситуативных нюансов, отсутствующих в формулировке правил, которые необходимо учесть на практике. Знание того, как преодолеть эпистемологический разрыв, не поддается прямой трансляции и является личностным в собственном смысле слова.

Фундаментальное расхождение социальных феноменологов с Полани касается проблемы экспликации предпосылок научной деятельности. Автор «Личностного знания» убежден в том, что попытки эксплицировать предпосылки науки столь бессодержательны потому, что ученые «вживаются» в них, как в собственное тело. Знание предпосылок науки является неявным (tacit), периферическим, невыразимым в языке. Социальные же феноменологи, напротив, уверены, что ученый обязан эксплицировать свою систему допущений, позволяющую достичь если не исчерпывающей, то практически достаточной степени «чистоты метода» как условия методологической корректности научного исследования.

«Выговаривать умолчания»: этнометодологическая программа изучения социальности как речевых коммуникаций

В теоретической форме проблема ситуативного базиса значения в социальной феноменологии формулируется как проблема индексных выражений, указателей или «индексов». Возникнув в истории логики, она притягивала к себе внимание всех крупных философов, так или иначе касавшихся проблем языка. Гуссерль говорил о выражениях, чей смысл не мог бы быть постигнут слушателем без необходимого знания биографии и целей того, кто говорит, обстоятельств их произнесения, того, что говорилось ранее, а также специфики отношений между говорящим и слушающим[19]. Б. Рассел указывал на описания, содержащие индексные выражения, употреблявшиеся в одном случае для указания на одну вещь, но в других случаях – на другую[20]. Каждое исследование отсылает к определенной ситуации и персоне, времени, месту и указывает на нечто, не названное в словах. Их значение соотносится с каждым отдельным случаем их употребления. Нельсон Гудман заметил, что их употребление зависит от отношения говорящего к объекту, времени и месту их произнесения. «Время релевантно темпоральным индексным выражениям... Пространственные индекс-

[19] См.: Mohonty C.N. Edmund Husserl's Theory of Meaning. The Hague, 1964. P. 77–80.

[20] См.: Rassel B. Inquiry into Meaning and Truth. L., 1940. P. 102–109.

ные выражения релевантны тому месту, где они произносятся»[21]. Индексные выражения содержат указатели либо эгологического характера (как правило, личные местоимения), либо указатели конкретной ситуации, понятной лишь для вовлеченного в нее («тот», «этот», «там», «здесь», «сейчас», «скоро», «завтра» и т.д.). Осмысленность таких выражений строго ограничена рамками ситуации их употребления, так как используемые в них указатели являются носителями эмерджентных смыслов ad hoc.

Индексные выражения – головная боль логиков и лингвистов. Их бесконечные методологические усилия направлены на исключение неопределенности индексных выражений, устранение альтернативных смыслов. Ибо все, что должно быть сказано, убежден Л. Витгенштейн, может быть сказано ясно. О том, что не может быть сказано ясно, следует молчать. Однако упорные методологические попытки заменить индексные выражения на «объективные», т.е. общепонятные, не имели успеха. Программное изучение формальных свойств естественных языков показало, что такого средства найти невозможно. Индексные выражения не устранимы не только из разговорного, но и из куда более строгого научного языка. Учитывая сложность проблемы рационализации индексов, социальная феноменология вносит свой вклад в исследование проблемы экспликации смыслов индексных выражений.

Исследование индексных выражений составляет особую ветвь «поздней» социальной феноменологии – *этнометодологии.* Когнитивным основанием этнометодологии является метод участвующего наблюдения, методологические императивы которого детально разработаны Шюцем. Но термин «участие» относится здесь не к персоне, осуществляющей наблюдения, а к разговорному языку. Предполагается, что те, кто используют разговорный язык, вовлечены в объективное производство повседневного знания как наблюдаемого и подлежащего сообщению феномена. Но для получения объективного знания социальный ученый как член языкового сообщества обязан проблематизировать сам факт использования языка. Этнометодологическая проблематизация рационализации индексов слагается из следующих вопросов:

1.Что позволяет говорящему и воспринимающему «слышать» естественный язык?

2.Что делает его наблюдаемым и подлежащим сообщению феноменом?

3.Наконец, что представляет собою сам феномен естественного языка?

Этнометодологическая программа родилась в 1972 г. под влиянием идей Гарвея Сакса и Гарольда Гарфинкеля. Сакс исходил из того, что та или иная форма социальных коммуникаций («социального по-

[21] Goodman N. The Structure of Appearance. Harvard University Press, 1951. P. 290.

рядка») продуцируется в процессе повседневного общения. Подобное общение осуществляется с помощью естественного языка. Поэтому *практика интерпретации повседневных бесед является ключом к пониманию механизмов социальных коммуникаций.* «Продуцирование локального социального порядка существует как линейный порядок практик беседы (conversational practieces), на котором основывались все предыдущие изучения, но упускавшие это из виду»[22]. Гарфинкель формулирует сходную задачу как необходимость исследовать «формальную структуру повседневной деятельности»[23]. К числу сторонников этнометодологической программы, кроме упомянутых выше Сакса и Гарфинкеля, причисляют себя Сикурел, К. Мак-Эндрю, М. Поллнер, Э. Роуз, Д. Циммерман. Перечисленных авторов объединяет убеждение в том, что для уяснения формальных структур повседневной деятельности необходимо знание индексных свойств естественного языка. Их интересуют прежде всего механизмы конституирования эмерджентных смыслов. Именно индексные свойства естественного языка способны прояснить связи между заведенным порядком повседневной рутины и рациональностью в повседневных практиках. Иными словами, исследование индексных выражений позволяет заглянуть в «плавильный тигель рациональности» (Б. Вальденфельдс). Но сам по себе индекс не обеспечивает рефлексивного конституирования. Например, приводимое Гарфинкелем высказывание «Я в курсе дела» справедливо в отношении одной персоны, но может не быть таковым в отношении другой, при этом компетентность первой персоны, в отношении которой это высказывание справедливо, имеет свои границы. Справедливость приведенного высказывания обусловлена временем его произнесения, статусом персоны, а также кругом проблем, которыми он занимается. Чтобы уменьшить неопределенность этого выражения, можно заменить местоимение «Я» на имя, понятное всем, добавить дату, а также уточнить круг дел, которыми занимается «посвященный». Но ситуативная неопределенность, «относительность к случаю», полностью не устраняется. Ибо беседа носит чувственный характер. Она является частью взаимодействия, имеющего свои случайности, круг которых расширяется по мере ее продолжения.

Какой же шаг в исследовании индексных выражений предлагают сделать сторонники этнометодологической программы? Посредством анализа и сравнения повседневных разговоров они стремятся к реконструкции имплицитных смыслов – *«фонового знания»*, продуцируемого в процессе повседневных взаимодействий. Задачей этнометодологии провозглашается – *выговаривать умолчания*, т.е. содержание, принимаемое участниками речевого взаимодействия как «само собой разумеющееся» (taken for granted). Без схватывания непроговоренных смыслов взаимное понимание немыслимо. Но если факт взаимо-

[22] Garfinkel H. Op. cit. Introduction. P. VII.
[23] Ibid. P. 160.

понимания налицо, этнометодологу надлежит сформулировать содержание того неявного знания, которое делает его возможным. «Мы полагаем, – убежден Гарфинкель, – что такого рода формулировки не только всегда присутствуют, но и осознаются как существенный конститутивный элемент беседы, в которой они продуцируются. Мы также предполагаем, что они поддаются трансляции и комментарию»[24]. Выявляя и комментируя повседневные речевые взаимодействия, исследователь заключает такие формулировки в скобки. Использование скобок призвано напомнить, что непроговариваемые смыслы («фигуры умолчания») являются неотъемлемой частью процесса речевого взаимодействия. Содержание *формулировки* носит существенно контекстуальный характер. Неявное знание, неизбежно входящее в беседу, – контекстуальный феномен. Он неустраним. У него нет моратория, тайм-аута. Каков же механизм «формулировки»?

Идеалом этнометодологов, стремящихся эксплицировать «фоновое знание», является нахождение «простых речевых правил» (plain spoken rules) для обеспечения адекватного описания, адекватного объяснения, адекватной идентификации и анализа повседневных практических взаимодействий. И задача «практической логики» – найти простое правило для обеспечения дополнительной контекстуальной информацией каждое индексное выражение. Идеал подобного рода, равно как и любой идеал, недостижим. И сознавая неразрешимость проблемы индексов в общем виде, этнометодологи предлагают ограничиться «практически достаточным» для осуществления эмпирических описаний решением. Таким образом, «формулировки» предлагаются как способ, посредством которого социальные науки могли бы осуществлять более строгий анализ практических действий, адекватных всем практическим целям.

Сикурел убежден в том, что любое социальное взаимодействие можно понять, исходя из процесса лингвистической коммуникации. Поэтому для выявления структуры социальных взаимодействий он использует аппарат всеобщей семантики. Базисным социальным взаимодействием для него является феноменологически фундаментальная ситуация лицом-к-лицу в ее лингвистическом измерении, а базовой моделью социальной коммуникации – отношение «говорящий–слушающий» (speaker–hearer). Исходя из нее определяются всеобщие принципы интерпретативных процедур, используемых в обыденной жизни. Подобные принципы основаны на следующих идеализациях:

1. Взаимность перспектив (reciprocity of perspectives). Этот принцип постулирует, что ребенок должен учиться ориентироваться на партнера по коммуникации так, чтобы можно было предположить, что они разделяют одно и то же социальное окружение. Это предполагает, что каждый из участников взаимодействия будет обладать та-

[24] Ibid. P. 171.

ким же опытом, если их поменять местами. Если не оговорено иначе, они могут не обращать внимания ни на какие различия в индивидуальном приписывании значений вещам и событиям. Фонетические, синтаксические и словарные знаки, которые используют участники социального взаимодействия, должны быть замкнуты на ограниченные контексты. Таким образом, участники полагают, что занимают стандартизированную ориентацию, воспринимают одну и ту же информацию и имеют одно и то же «самоочевидное» знание для обоих. Иными словами, оба участника принимают идеализацию взаимности разделяемого опыта и один и тот же принцип для приписывания значений и придания релевантности непосредственному окружению.

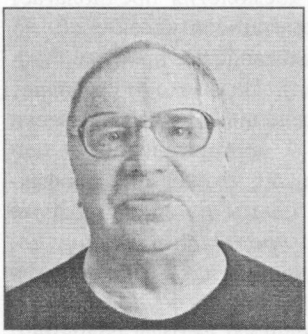
2. Нормативные формы (normal forms). Интерпретативная процедура, называемая «нормативные формы», основана на описанной выше идеализации взаимности перспектив. Этот принцип учит ожидать (и требовать), чтобы каждый участник коммуникативной ситуации принуждал другого произносить узнаваемые и осмысленные звуки независимо от возможных разногласий. Взаимное понимание предполагает, что оба участника обладают сходными нормативными формами, принятыми в их культуре. Если принцип взаимности перспектив учит участников речевого взаимодействия навязывать друг другу идеализированную взаимозаменяемость точек зрения и следовать одинаковым процедурам приписывания значений и принятию сходных систем релевантности, то принцип нормативных форм помогает устранять препятствия к общению: говорящий и слушающий будут пытаться *нормализовать* (т.е. свести к одной норме) возникающие несоответствия. Использующие этот принцип снабжены общей и стандартизованной системой сигналов и кодов. Без них повседневное общение было бы невозможным, поскольку ничто не могло бы считаться известным и очевидным, и весь диалог приобрел бы черты бесконечного регресса в сомнении.

3. Принцип «и так далее...» (et cetera) требует неразмышляющего следования изложенным выше принципам, без обращения к вопросу, какой консенсус по их поводу существует или необходим. Использование имплицитных правил невозможно до тех пор, пока эти принципы не становятся сами собой разумеющимися. Презумпция того, что участники повседневных взаимодействий оперируют одними и теми же принципами, «играют в одну и ту же игру», является решающей[25]. Подобные процедуры, убежден Сикурел, достаточны для достижения понимания в повседневной жизни. Этнометоды, таким образом, воплощают «повседневную рациональность» – социально санкционированные способы поддержания привычных структур понимания и взаимодействия. Выговаривая «фоновое знание», этнометодология выявляет когнитивный фундамент любого социального взаимодействия, обеспечивающий принципиальную возможность человеческого понимания и коммуникации.

[25] См.: Cicourel A. Op. cit. P. 85–87.

Нет, космология – наука физическая, а не гуманитарная! Ответ В. М. Розину[1]

В. В. КАЗЮТИНСКИЙ



С большим удивлением прочел статью В.М. Розина, в которой высказана точка зрения, что современная космология – дисциплина не естественно-научная, а гуманитарная (!). Приводимые им аргументы неубедительны, основаны на разного рода натяжках, а частично просто ошибочны. Парадоксальным образом столь странный взгляд на статус космологии исходит из обширного цитирования автореферата моей докторской диссертации. Комментарии Розина буквально выворачивают мой текст наизнанку, и он предстает какой-то нелепостью. Вот почему я, что называется, «не могу молчать».

Напомню сначала свою позицию. Космология долгое время была одним из важнейших разделов философской онтологии, т.е. представляла собой знание гуманитарное, но еще не научное (метафизическое). Но уже И. Ньютон в XVII в. высказал ряд соображений о мире как целом не в философском контек-

[1] См.: Розин В.М. К проблеме демаркации естественных и гуманитарных наук, а также куда мы должны отнести космологию // Эпистемология & философия науки. 2007. Т. XI. № 1.

сте, а в рамках классической науки, наметив тем самым программу построения физической космологии. Космологические теории – детище неклассической физики. Теория Вселенной как целого была впервые построена в релятивистской космологии, основоположниками которой явились А. Эйнштейн (1917) и А.А. Фридман (1922–1924). Затем появилось множество альтернативных теорий. Из них наибольшую известность приобрела теория стационарной Вселенной, первые варианты которой появились в 1948 г. (Ф. Хойл, Г. Бонди, Т. Голд). Наконец, с 1980-х гг. доминирует инфляционная космология (А. Гус, П. Стейнхардт, А.Д. Линде и др.). Эта теория экстраполирует на Вселенную как целое наряду с релятивистской также квантовую физику. Эмпирическая интерпретация этих теорий и основанных на них моделей показала, что не во всех случаях их объектом является одна и та же физическая система. Например, теория расширяющейся Вселенной является схематическим изображением некоторых свойств метагалактики. Объектом других (теория стационарной Вселенной, инфляционная космология) является система большего масштаба и уровня структурной иерархии, включающая метагалактику в качестве своей части. Инфляционная космология предполагает существование бесконечного множества внеметагалактических объектов с разнообразными свойствами (включая свойства пространства-времени, типы элементарных частиц и т.д.). Их часто обозначают термином «другие вселенные» или «минивселенные», а теоретически мыслимую множественность вселенных – «метавселенной» или «мультиверсом». Еще в 1969 г. я высказал идею, что космология фактически подразумевает под Вселенной как целым не один и тот же физический «оригинал», а *относительную и преходящую границу познанного* в мегамире. Расширение возможностей науки приводит к обобщению понятия «Вселенная как целое».

Казалось бы, изложенное понимание научного статуса современной космологии не дает решительно никаких оснований считать ее наукой гуманитарной. Ведь статус научной дисциплины в общем случае определяется ее объектом и методом. Объект космологии – это физический объект, метод его конструирования в системе знания основан на экстраполяции фундаментальных физических теорий, точно так же как модели, теории и сценарии космологической эволюции формулируются на языке физики. То есть космология – одна из физических наук, и считать ее гуманитарной можно было бы только в том случае, если объявить гуманитарной наукой саму физику, чего Розин, насколько я понимаю, не предлагает. Мой подход к проблеме статуса космологии претерпел в статье Розина совершенно неадекватную, более того, могу сказать без преувеличения – чудовищную деформацию. Обратимся к его аргументам.

Во-первых, Розин не обращает внимания на проводимое мною разделение понятий «мир как целое» в философии и «Вселенная как объект» космологии, которые фиксируются различными концептуаль-

ными контекстами. В философии «мир как целое» (универсум, абсолют) имеет смысл «всего существующего». Но это – философская идея (если угодно, метафизический объект), но не объект *физический*. В космологии «Вселенная как целое» долгое время также считалась уникальной. Она отождествлялась с целостным аспектом нашей метагалактики, которая рассматривалась как всеобъемлющая и принципиально единственная система. Но ситуация уже давно изменилась. Современная космология ввела образ мультиверса, включающего множество вселенных, каждая из которых по-своему уникальна. Но как системы определенного уровня в структурной иерархии природы эти вселенные (минивселенные) чем-то уникальным быть перестали. Повторим: знания о них формулируются на языке современной физики, а гуманитарное знание находит себе место лишь в философских основаниях космологии. Розин впадает в противоречие, когда он, с одной стороны, цитирует устаревшее высказывание об уникальности Вселенной (и на этом основании относит космологию к гуманитарным наукам), а с другой – соглашается с высказыванием о множественности вселенных, что лишает его аргумент всякого смысла.

Во-вторых, если Вселенная как целое эмпирически не выделена, а ее теории строятся на основе экстраполяции, то какой же это тогда объект естествознания, спрашивает Розин. Но остается неосмысленным в его статье цитируемое им определение космологии, данное А.Л. Зельмановым. Вселенная как целое действительно не может нами наблюдаться, так как находится за «горизонтом видимости», определяемым конечной скоростью света. Однако наблюдениям и измерениям доступна огромная область Вселенной, порядка 10^9 световых лет, которая и служит эмпирическим базисом для экстраполяции, построения целостных образов Вселенной. Современная космология использует такие фундаментальные факты, как, например, закон красного смещения Хаббла, реликтовое излучение, флуктуации его температуры, ускоренное расширение Вселенной и многие другие. Космологи очень гордятся тем, что их наука за последние десятилетия перестала быть по преимуществу теоретической дисциплиной и все в большей степени включает наблюдательные и экспериментальные исследования. Непонятно, из каких моих слов Розин сделал вывод, что в космологии невозможно провести измерения, поставить решающий эксперимент? В своей работе я утверждаю обратное, притом неоднократно. Открытие реликтового излучения стало своего рода решающим экспериментом для выбора между теориями эволюционирующей и стационарной Вселенной.

В-третьих, если Вселенная, пишет Розин, задает смысл и цель существования человека, то космолог, изучая ее, уясняет сам себя и природу человека. Не оказались ли мы опять на территории гуманитарной науки? Отнюдь нет. В космологии пробивает себе дорогу идея *единства наук о природе и человеке*, в частности в форме антропного принципа. А это совсем другое дело.

В-четвертых, Розин искажает мою позицию следующим образом. Он выражает согласие с моей основной идеей – о том, что понятие Вселенной как целого коррелятивно системе познавательной деятельности и не относится к какому-то раз навсегда заданному физическому абсолюту. Но отсюда сделан вывод неожиданный и нелогичный: «Иначе говоря, это понятие относится к гуманитарной науке»! Откровенно говоря, мне не приходило в голову, что мои слова могут быть интерпретированы столь превратно. Я говорю, что объектом космологии не является некий физический абсолют, заданный раз и навсегда. Это физический объект, пределы которого относительны, расширяются в процессе познания (скажем, от метагалактики до мультиверса). На каком же основании объект, фиксируемый понятием Вселенной, отнесен к гуманитарной науке? Таких оснований не существует.

В-пятых, Розин неожиданно смешивает космо*логию* и классическую космо*гонию* (так называлась в прошлом наука о происхождении небесных тел и систем; сейчас она стала центральной проблемой всей астрономии и как особый раздел исчезла). Как же используется это некорректное смешение понятий? Розин цитирует мои высказывания о «скрытой массе» (сейчас, многие годы спустя после появления моего автореферата, принята другая терминология: «темная материя» и «темная энергия», или «квинтэссенция»). Современная наука считает, что 95–98% массы Вселенной находится в еще не изученном состоянии. «Ничего себе естественная наука, где объяснено 2–5% и непонятны основные механизмы!» – восклицает Розин. Но «в гуманитарной науке такое положение сплошь и рядом». Однако гипотеза о существовании темной материи и темной энергии, которые не обнаруживаются наблюдениями, а с барионным веществом Вселенной взаимодействуют только на основе гравитационных сил, стала интенсивно разрабатываться лишь в последние десятилетия. Многие исследователи считают ее даже не гипотезой, а одним из наиболее выдающихся открытий – обнаружением новых физических форм материи и энергии. Говорят и о «серьезном вызове», брошенном науке о Вселенной природой. Но как бы не разрешилась эта проблема, ни при каких умственных усилиях невозможно понять – причем здесь гуманитарная наука.

В-шестых, Розин приводит цитируемые мной слова В.Л. Гигзбурга о том, что на вопрос «Что было "до" сингулярности?» *в настоящее время* (имеется в виду 1968 г.) нет разумного физического ответа. И опять повторяет свой излюбленный мотив: «Если его нет в физической реальности, то, возможно, эту проблему можно разрешить в рамках гуманитарной науки?» Увы, в этом нет необходимости. Сейчас на вопрос о том, что было «до» сингулярности «разумный физический ответ» уже есть: «до» сингулярности был вакуум. Розин с большими (явно излишними) подробностями приводит соответствующие высказывания из моего автореферата, как бы не замечая, что они противоречат устаревшей оценке. Ситуация в науке изменилась. Космология –

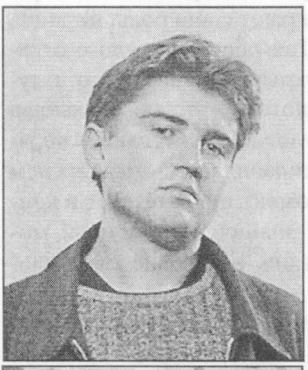
плохо ли, хорошо ли, – справляется с названной проблемой, нисколько не изменяя при этом свой статус естественной науки. Конечно, нельзя отрицать и некоторого гуманитарного влияния, но лишь в том смысле, что космологи, решая свои профессиональные проблемы, при формулировке принципиально новых физических идей выходят в сферу философии. Но так бывает при решении фундаментальных проблем в любой естественной науке, на любом этапе ее развития.

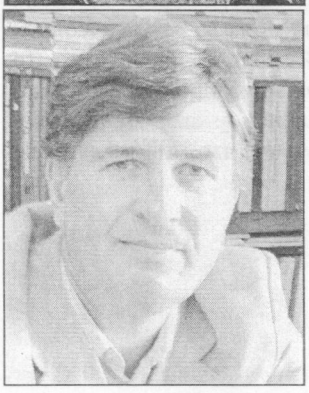
В-седьмых, полным искажением смысла моего анализа современной космологии является утверждение Розина, что в космологии не действуют основные принципы естественно-научной проверки теории и предпочтение той или иной теории отдается на основе ценностных соображений. Это – нелепость, которая не снилась мне даже в страшном сне! Ничего подобного нет в моей работе, в ней показано, что космологи используют все больший массив эмпирических данных для подтверждения теоретических моделей, схем и сценариев точно так же, как это делают исследователи в других разделах физических наук. Конечно, ценностные соображения все же играют свою роль, но лишь преломляясь через когнитивные факторы. Так обстояло дело с отказом от стационарной космологии. После открытия реликтового излучения она быстро сошла со сцены, но не потому, что не объясняла этот феномен, а потому, что делала это неудовлетворительным образом, тогда как теория горячей Вселенной справилась с объяснением элегантно и непринужденно. Ценностный момент присутствует в контексте стандартных процедур обоснования знания. Ценностный момент содержит и антропный принцип, но лишь на уровне его философских интерпретаций.

Итак, ни один из аргументов Розина в пользу гуманитарного статуса космологии, на мой взгляд, не выдерживает критики. Хотел того Розин или нет, его интерпретация моих взглядов абсолютно неадекватна и носит по сути пародийный характер. Не думаю, что содержание моей работы дает для подобной интерпретации хотя бы малейший повод. Она вызывает во мне больше чем огорчение – тревогу: а вдруг кто-нибудь в самом деле подумает, что мои взгляды на космологию такие, как их понял Розин?

Раскопки души. О когнитивном потенциале феноменологии на примере археологии

А. С. ЩАВЕЛЁВ, С. П. ЩАВЕЛЁВ





… Из пепла великой усталости восстанет феникс новой жизненности и одухотворенности, возвещающих великое и далекое будущее человечества, ибо лишь дух бессмертен.

Э. Гуссерль

Мы останемся смятым окурком, плевком,
в тени
под скамьей, куда угол проникнуть лучу
не даст.
И слежимся в обнимку с грязью,
считая дни,
в перегной, в осадок, в культурный
пласт.
Замаравши совок, археолог разинет пасть
отрыгнуть; но его открытие прогремит
на весь мир, как зарытая в землю страсть,
как обратная версия пирамид.

И.А. Бродский

Как заметил М.К. Мамардашвили, «феноменология есть момент всякой философии»[1]. Можно добавить, что и

[1] Мамардашвили М. Феноменология – сопутствующий момент всякой философии // Он же. Как я понимаю философию. М., 1990. С. 100.

Разумеется, здесь и далее имеется в виду феноменология в более или менее философском, а не общенаучном смысле этого слова. В последнем

любой другой дисциплины, в особенности гуманитарной и социальной науки. Там, где существование объекта без интенционирующего субъекта остается проблематичным, нависает «феноменологическая тень». Таково прежде всего гуманитарное познание, воссоздающее мир ценностей жизни и культуры. В особенности исследования ретроспективной, исторической направленности, ведь прошлого не существует как такового, вне нашей памяти о нем[2].

Однако если во многие общегуманитарные дисциплины (прежде всего социологию и психологию) феноменология проникла довольно основательно, то большинство прикладных, источниковедческих и вообще специальных отраслей познания до сих проявляют, так сказать, «аллергию» по отношению к феноменологической рефлексии. Так, в историческом источниковедении сохраняется своеобразная «идиосинкразия» относительно теоретического осмысления соответствующего исследовательского процесса вообще. Специалисты, стоящие у самых истоков рождения знаний о прошлом, теорию и методологию не жалуют, почитают, как правило, одну узкую методику обработки и издания первоисточников. В свою очередь, философы истории и эпистемологи исторического познания чаще всего проявляют неосведомленность в действительных вопросах прикладной работы с письменными источниками, не говоря уже о вещественных (которыми и занимается прежде всего археология).

Некоторые социальные и гуманитарные науки в XX в. испытали эпистемологический шок от вытеснения традиционных для них нарративных, дескриптивных, сравнительных направлений исследования сугубо теоретическими построениями и рассуждениями. Но археология благополучно избежала «демона» чрезмерного теоретизирования в ущерб научной конкретике. Более того, в отличие, скажем, от лингвистики, которая серьезно обогатила свой методологический инструментарий за счет разных вариантов философии языка, археология так и не сделала решающего шага к теоретическому синтезу, осталась в этом смысле докритической дисциплиной. Теоретико-методологические опусы не пользуются влиянием в профессиональной среде археологов, их наука хоть и «потеряла теоретическую невинность»[3], но настоящего «романа» с современной философией у нее так и не слу-

случае оно означает «ту часть эмпирических наук, которая на основе простого наблюдения доставляет материал для теорий» (Разеев Д.Н. В сетях феноменологии // Гуссерль Э. Основные проблемы феноменологии. СПб., 2004. С. 64). К сожалению, терминологически здесь трудно разойтись. Выражение «феноменальный» в литературном языке закрепилось за прямо противоположным эффектом чего-то исключительного, выдающегося, а не рядового, массовидного.

[2] См. об этом, в частности: Щавелёв С.П. Историческое познание и ценности практики // Наука глазами гуманитария / Отв. ред. В.А. Лекторский. М., 2005. С. 501–522.

[3] Clarke D.L. Archaeology: «the Loss of Innocence» // Antiquity. 1972. № 47. P. 6–18.

чилось. На примере феноменологии мы попробуем предсказать, что такой альянс уже не за горами.

Археология как таковая

Археология, как известно, – наука о прошлом человеческого общества, от которого сохранились некие материальные остатки («древности»). Дословный перевод ее названия с греческого на русский – «древлеведение» (греч. *archaios* – древний). Автором данного термина признают Платона. В диалоге «Гиппий Больший», в частности, он говорит, что люди с удовольствием слушают рассказы «о родословии героев и людей, о переселениях, т.е. о том, как в старину основывались города, и вообще обо всей археологии»[4]. Столь расширительное ее понимание – как любого антиквариата, хоть вещественного, хоть фольклорного – продержалось многие столетия, пока в XIX – начале XX вв. раскопки памятников старины не приобрели научно-методичный характер. Тогда археология из музейного собирательства и любительского знаточества самых разных древностей превратилась в относительно самостоятельную отрасль исторического познания. Согласно крылатому определению А.В. Арциховского, теперь это «история, вооруженная лопатой».

Реконструируя самое отдаленное – дописьменное (и поэтому, как по неточной инерции порой говорится, доисторическое) и, так сказать, малоописанное в старейших письменных источниках (протоисторическое) прошлое человечества по сохранившимся, главным образом в земле, его материальным останкам, – археологи имеют дело непосредственно с такими артефактами, как орудия труда, оружие, посуда, иная утварь, украшения, конструкции жилищ, хозяйственных построек, оборонительных сооружений, погребения, жертвоприношения, клады, всякие прочие следы опредмеченной жизнедеятельности предков. А уже по ним, этим следам, делаются, согласно специальным методикам и творческому воображению археологов, предположения относительно этническо-языковой принадлежности, религиозных верований, экономических устоев, общественных отношений, потестарно-политических порядков и других общих характеристик социумов, составлявших те или иные археологические культуры или симбиозы культур (культурно-исторические общности).

Тем самым, из археологии получается своего рода интеллектуальная (единственно возможная!) «машина времени», позволяющая заглянуть на много веков и даже тысячелетий в минувшее человечества. Проникнуть как бы «за кулисы» истории. Та любит демонстрировать себя в парадных залах да на полях сражений, тогда как обстановка кухни, спальни, чулана куда быстрее изглаживается из исторической

[4] Plato. Hip. M. 285 d. В новом переводе этого фрагмента термин «археология» переведен как: «…Все рассказы о далеком прошлом» (Платон. Соч.: В 3 т. Т. 1. М., 1968. С. 157).

памяти, если только эти помещения не восстанавливают макетчики по материалам раскопок и этнографических сборов. Его Величество Текст – владыка всего остального гуманитарного исследования – в археологии остается далеко на заднем плане. Письменные источники отчасти освещают только самые поздние отрезки истории, причем далеко не всего человечества, как, например, находки графитти – надписей на твердых предметах. «Текст» археолога – это документация его разведок и раскопок памятников старины на местности их расположения. Специалисту-разведчику и раскопщику приходится воссоздавать в собственном воображении былую жизнь на данном лоскутке земли. Поэтому-то не герменевтика, а феноменология представляется ближайшей гносеологической основой изучения ископаемых древностей.

Археология как метафора феноменологии

Задолго до М. Фуко и иже с ним могильщиков модерна термин «археология» освоил сам Э. Гуссерль – в качестве метафорического обозначения метода феноменологии. «Феноменологическая археология – это исследование Я и субъективного в их подлинности, раскрытие сокровенной конститутивной конструкции апперцептивной деятельности, результаты которой предстают перед нами в качестве опытного мира. <…> Как в обычной археологии: реконструкция»[5]. Для основоположника феноменологии было важно понимание истоков, вплоть до первопричин действующих паттернов сознания. В этом моменте Гуссерль следовал нескольким классическим образцам.

Похожий намек на археологическую метафору содержится в «стратиграфии психики», предложенной З. Фрейдом. Выражение подхватили его последователи и биографы. Под «археологией психоанализа» они понимают всю его разнородную предысторию, начиная от древних пророков и средневековых экзорцистов и вплоть до непосредственных сотрудников и конкурентов «отца-основателя» пансексуализма среди психологов и врачей[6].

Еще раньше Ф. Ницше, разрушая традиционную европейскую аксиоматику ценностей, обратился именно к генеалогии явлений общественной жизни, прежде всего этики, морали и религии. Генеалогия – методически та же археология, только персонифицированная. Демонстрация историчности и функциональности аксиологии позволила ему увести эту область философствования подальше от «трансцендентального далека» и «мира идей» предшествующей германской метафизики.

В какой-то степени указанная генеалого-археологическая установка понимания культуры перекликается и с «принципом историзма»,

[5] Цит. по: Diemer A. Edmund Husserl: Versuch einer systematishen Darstellung seiner Phänomenology. Meisenheima. Glan: Hain, 1965. S. 19.

[6] См.: Лоренцер А. Археология психоанализа. Интимность и социальное страдание. М., 1996.

предусмотренным диалектикой К. Маркса и его последователями. Те в свою очередь подводили внушительную, на первый взгляд, документально-фактическую базу под свои выводы о классовой борьбе, неизбежности революции и переходе к социализму. И первобытность, и античность, и прочие эпохи мировой истории интересовали всех мало-мальски заметных теоретиков марксизма на предмет поиска идейных предшественников.

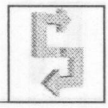
«Раскапывать» мировую историю брались многие, только с разных концов. Различные версии применения принципа историзма во многом исключали друг друга. Полицентрические цивилизации – совсем не то, что линейные формации. Азиатско-африканский «способ производства» – не чета западноевропейскому. Субъективизм «философии жизни» контрастировал с утрированным экономизмом марксистов. Аморализм Ницше не приемлем для верующего в экзистенциализм. Но для глубинной онтологии и гносеологии предложенный Э. Гуссерлем археологический по духу путь редукции сознания от затемняющих наслоений здравого смысла и спекулятивной философии надо признать наиболее органичным.

«Археология» как символ историзма

Сегодня распространение «археологии» до общегуманитарного масштаба чаще всего связывают с именем М. Фуко. В идейной эволюции этого герольда постструктурализма выделяется вершинный «археологический» период. Его составили книги: «Рождение клиники: археология взгляда медика» (1963); «Слова и вещи: археология гуманитарных наук» (1966); «Археология знания» (1969). Собственно говоря, термин «археология» здесь везде подразумевается в кавычках, поскольку его историцистское содержание последовательно отрицается Фуко-теоретиком и настойчиво обходится Фуко-практиком в работах «История безумия в классическую эпоху», «История сексуальности» и др.

Механизмы властвования и подчинения в социуме реконструированы Фуко новаторски и виртуозно. Но «история» этого общества получается у него весьма своеобразная. Для этого автора «археологическое описание – это именно уход от истории идей... это последовательная попытка выработать другую историю того, что было сказано людьми»[7]. Другую – по сравнению с традиционной историей и настоящей археологией как ее частью, которые рассматривают культуру в целостном развитии ее человеческого потенциала. Для Фуко как специалиста по патологии фундаментальные структуры (коды, эпистемы) цивилизации бессубъектны и межпредметны. Рассмотрев отношения разных речевых практик (пресловутых дискурсов), он выявляет за ними внеязыковые «структуры повседневности» – экономические, социальные, политические, идеологические, их иерархию в

[7] Фуко М. Археология знания. Киев, 1996. С. 138.



разные эпохи европейской жизни. Слова и вещи, на чей-то взгляд авторские, с точки зрения постмодерниста, как бы диктуются такими трансцендентами, как труд, жизнь (витальность), язык. Метод определения типов и правил дискурсивных практик, властвующих над сознанием и поведением людей на том или ином этапе существования общества, называется здесь археологией.

Метафоризируя реальную практику раскопок, можно сказать, что для Фуко «план» вскрываемого им пласта интеллектуальной истории значит все, а «профиль» – ничего. Брошенная этим очередным ницшеанцем фраза «человек исчезает, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке» убеждает метафизически-экзистенциально, но отнюдь не археологически. После методично произведенных раскопок остается некий смысл культурного слоя. Он фиксируется в полевой документации и собранных коллекциях. Этот фактический материал будет многократно служить дальнейшему историческому познанию. В некоторых случаях археологу удается воскресить даже индивидуальные черты далекого прошлого. Вспомним расшифрованные египетские иероглифы, рунику степных кочевников и северных викингов и другие системы древнейшей письменности, петроглифы Европейского Севера и Сибири, подземные глиняные армии китайских императоров, свитки с христианскими апокрифами из района Мертвого моря, берестяные грамоты Великого Новгорода и других русских городов, графитти на штукатурке христианских храмов.

Путем археологии, только не философической, а настоящей, историзм и гуманизм получают посильное подтверждение и продолжение. Тем не менее с легкой руки Фуко термин «археология» теперь на универсальном гуманитарном сленге призван обозначить тягу к раскрытию генезиса и исторической изменчивости идей и понятий. «Археологический подход» ныне – «хороший методологический тон» ориентации на временную относительность представлений о мире и о самом познании. Из опоры культурной традиции «археология» на этом уровне словоупотребления превращается в релятивизатор гуманитарного знания (что в определенных дозах полезно для историографии).

Археология как феноменология истории

Главный козырь археологии – новый и особенный корпус источников наших знаний о прошлом. До появления мало-мальски научной археологии в XIX в. историки имели дело только с миром былого, отраженным в письменности (летописях/хрониках, указах, прочих актах, воспоминаниях, записях устной традиции и любых других документах). Прошлое воспринималось сквозь призму архива. Причем почти все письменные источники носили либо сугубо официальный характер, исходили от победителей в жизненной борьбе, либо составляли предельно субъективный жанр воспоминаний, дневников, памфлетов. Подавляющее большинство действовавших на исторической

сцене лиц сходили с нее, страдая «источниковой немотой», т.е. никак не упоминались на страницах рукописей и книг (в этом смысле справедлива вышеприведенная мысль Фуко об «исчезновении человека» в истории). Дописьменный период развития большинства народов Земли вообще оставался вне научного познания (с начала антропогенеза и до раннего железного века, т.е. миллионы лет эволюции человечества).

Систематические раскопки не только удлинили историю человечества на эти самые миллионы лет, но и позволили воссоздать альтернативный мир прошлого. У мира письменных источников истории появился двойник-конкурент. Причем не один-единственный, а потенциально множественный, зависящий от усовершенствованных методик и географии раскопок. Например, русская археология сначала открыла для себя курганы и прочие могильники предков, затем дело дошло до поселений – городищ и селищ, наконец, появились на свет берестяные грамоты и другие граффити на твердых предметах (вроде штукатурки церковных стен X–XVII вв., исписанных множеством то благочестивых, то вольномысленных изречений) – древняя история заговорила!

Вселенная прошедших веков оказалась плюралистичной. Прошлое, показанное сквозь раскоп археолога, весомо дополняло прошлое, глядящее со страниц летописей светских владык да житий церковных святых. Археология сыграла роль своеобразной теории относительности наших знаний о прошлом. Письменная история потеряла монополию отвечать на вопросы о прошлом. В политической истории, истории идей и вообще духовной культуры письменные источники сохранили свое первенство перед вещественными. В социальной истории древности, истории повседневности и материальной культуры археология превосходит по своим эвристическим возможностям другие исторические дисциплины. Эти последние на равных ведут диалог с археологией (как в истории первобытного искусства).

Но и сама археология как наука неоднородна. Ее разделы соответствуют когортам археологов, чьи профессиональные занятия отчасти смыкаются, а частично расходятся по предмету и методам. Это дисциплинарное устройство усиливает феноменологическую вариативность археологического знания.

Прежде всего, археология подразделяется на полевую и кабинетную.

Первая занимается поиском, картографированием, описанием и изучением с помощью раскопок и других методик памятников старины. Задача археолога-полевика – добросовестно, на современном методическом уровне разведать и раскопать памятник, полно и точно зафиксировать найденные в нем материалы, дать им первоначальную обработку (в виде рисунков, графиков, схем). Это археология скорее техническая, нежели гуманитарная, поскольку методики вскрытия культурного слоя и фиксации результатов его разборки носят инженерный и естественно-научный характер.

Непосредственные результаты раскопок – своего рода редукции, в духе гуссерлевской. Былой мир теперь заключен в скобки археологи-

ческого сознания. Отныне он существует только там. Но это существование пока потенциально, сами по себе выкопанные из земли вещи, как и весь культурный слой, – не более чем материал для дальнейшей, вторичной редукции.

Второй раздел археологии можно назвать историческим, т.е. содержательно интерпретационным. Здесь полученные в ходе полевых работ материалы осмысливаются, анализируются, сопоставляются с другими археологическими материалами и иными типами источников о соответствующем прошлом. Процедуры индуктивно-дедуктивного плана предполагают в данном случае пропорциональную долю понимания минувших событий и их участников.

Тем самым завершается редукция давным-давно исчезнувшего фрагмента истории человечества в представлениях специалистов.

Но имеется еще третий раздел – своего рода метаархеология. Археолог-теоретик работает с принципами анализа вещественного материала прошлых эпох и с принципами междисциплинарного согласования в процессе интерпретаций этого материала. Ближайшие к археологии отрасли гуманитарного исследования – это письменная история и этнология. Их сравнительные данные позволяют «оживить» археологическую картину прошлого, придать ей черты динамизма жизнедеятельности, которая в действительности давно закончилась. Процедура выявления сущностных категорий и принципов исследования исторических древностей проясняет профессиональное сознание археолога, помогая тем самым дальнейшей исследовательской работе.

Наконец, надо отметить такой стоящий особняком раздел археологии, который занят распознаванием образов прошлого по его материальным свидетельствам. Имеется в виду семиотика вещей и их структур, смысл и контекст орнаментов, рисунков, конфигурации памятников и т.п. Этот раздел археологии ближе всего смыкается с искусствоведением: гуманитарное понимание и «вчувствование» в природу архаичной эстетики характерны для него в большей мере, чем строгие приемы естествознания. Здесь также малоэффективен поэтапный анализ, если ему не предшествует целостное схватывание эстетического смысла предмета в духе Гуссерля или Х.-Г. Гадамера.

Не случайно «дрейфует» и место археологии в классификации наук. В западноевропейской (континентальной) и русской традициях она проходит «по ведомству» истории и смежных гуманитарных наук. Тогда как в англо-американской – прочно связана с антропологией, этнологией и социологией. В первом варианте больше ценится ее гуманитарно-кабинетный компонент, а во втором – экспедиционно-полевой.

В целом археологический дискурс сохраняет явственный привкус прикладной, эмпирически постоянно обновляемой науки. Недаром археологи любят сравнивать себя с криминалистом, следователем-детективом. Помимо конан-дойлевской «дедукции», их действительно роднит не декларативная, а практическая реставрация интеллектуального чувства искреннего удивления перед загадочным Бытием. В новоевропейской культуре эту античную установку вытеснило на задний

план чувство сомнения. А вот «феноменология в общем может быть охарактеризована как философия, которая вполне научилась удивляться и уважать чудеса сами по себе там, где другие видят только тривиальность или повод для устранения предмета»[8]. Что именно археолог встретит в новом раскопе, ему до конца никогда не известно. Кроме ожидаемого повторительного материала той или иной культуры земля хранит в себе все новые и новые сюрпризы и загадки. Достаточно сказать, что целый ряд типичных археологических находок до сих пор не могут быть убедительно истолкованы (например, палеолитические «венеры», так называемые «жезлы вождей», остроконечники из косульих рогов и моржовых бивней и многое другое). Письменные источники исторического познания будут вечно перетолковывать, но сам их круг, в общем, давно определен. Фонд источников материальных, напротив, постоянно пополняется.

Столь полиморфная природа археологического познания позволяет использовать название этой науки и практики как удобную метафору для обозначения общего интереса к прошлому, корням и истокам самых различных явлений. «Археологией» называют структурно-методическую основу историзма вообще.

Среди идеографических (в неокантианской терминологии) наук археология самая техничная. Она наполнена цифрами, фотографиями, чертежами, графиками, рисунками и другими формализованными формами первичной фиксации знаний. Посему эта область познания вроде бы должна поддаваться номотетизации, методологическому скрещиванию с техническими дисциплинами. Но это происходит лишь на уровне источниковедческого начала археологического исследования. Естественно-научные методы анализа добытых из раскопа вещей дают лишь полуфабрикат знания, интерпретация которого остается гораздо более проблематичной, чем, скажем, данные компьютерной лингвистики (хотя и там до полной формализации далеко – сравним хотя бы коллизии машинного анализа авторства, например, У. Шекспира или М. Шолохова).

Открывающаяся в археологическом раскопе картина отложившейся под землей былой жизни чрезвычайно фрагментирована и потому трудна для понимания. Степень сохранности и полноты бытовых свидетельств старины всегда остается крайне относительной. В большинстве почв без следа растворяется дерево и вся прочая органика, а вещи из более твердых материалов сохраняются далеко не в том составе и порядке, в каком они «жили» в свое время. Экспедиционный фольклор гласит: рай археолога – помойка, мечта археолога – пожар на древнем поселении, тогда образуются закрытые хронологически и более полные комплексы древностей. Еще одна археологическая шутка утверждает, что когда начнут раскапывать руины современной цивилизации, то найденный монокль сочтут уделом бедняка, которому не хватило средств на очки с двумя стеклами… Поэтому об одних и

[8] Шпигельберг Г. Феноменологическое движение. Историческое введение. М., 2002. С. 100.

тех же исторических памятниках, даже образцово по сегодняшним меркам раскопанных, среди специалистов сплошь и рядом бытуют довольно разноречивые интерпретации, вплоть до диаметрально противоположных.

Феноменологическая специфика предмета археологии определяет ее повышенно гипотетический характер. Не в силах непосредственно и полностью воспроизвести фрагмент далекого прошлого, археолог воспринимает его материальные следы так, как это позволяют сделать соответствующие методики. Значения находок для профессионального мышления образуют феномены вполне в гуссерлевском духе. Это не объективизированные факты относительно всей природы, как в физике или химии, но и не субъективные модели внутреннего мира, как в психологии, а именно некая интенция прошлого в настоящем, встреча субъекта и объекта на «квадрате раскопа», его чертеже.

На первом – экспедиционном, натурном этапе выявления памятника старины и извлечения из него первичной информации археолог чаще всего имеет дело только с отдельной, сравнительно небольшой его частью. Например, раскапывается десять погребений из нескольких сотен в составе определенного могильника; вскрывается какая-то часть площади поселения; фиксируется несколько случайно найденных кладов из множества скрытых под землей и т.д. Количественное ограничение продиктовано не только лимитом времени, сил и средств данной экспедиции, но и методическими соображениями. Часть памятника рекомендуется оставить для будущих исследований, когда появятся новые, гораздо более совершенные приемы раскопок и анализов их результатов.

Так что археолог заведомо поставлен в условия, когда он должен так или иначе воспроизвести целое по его части, представить в своем сознании реально невидимые части комплекса, без чего то, что актуально попадает в поле его восприятия, окажется недопонятым (социальная структура могильника, фортификационное устройство городища, причины сокрытия клада и т.п.). При решении этой задачи необходима своего рода эмпатия в отношении былой жизни на месте раскопок. Ученый интуитивно вчувствуется в рельеф местности, топографию памятника, его устройство, как пространственное, так и временное. Интеллектуальное созерцание, идеация, т.е. попытки представить себе ход становления памятника, соображения его строителей и обитателей при выборе места и способов строительства, – повседневная задача любого раскопщика древностей.

Более того, археолог мысленно вписывает изучаемый объект в более широкую картину микрорегиона, той археологической культуры или общности памятников, к которой тот принадлежит, причем с дополнительным дроблением на основные типы элементов памятника (домостроительство или погребальный обряд, орудия труда, оружие, украшения и т.д.). С одной стороны, в голове археолога держатся результаты предшествующих работ в данном месте с этим типом памят-

ников. С другой – строятся предположения о будущем поиске однотипных или сателлитных объектов.

Таким образом, любые археологические раскопки с точки зрения ментальных задач их проведения – не что иное, как феноменологическая лаборатория. Визуальное восприятие культурного слоя и его структуры оплодотворяется профессиональным мышлением. Для того чтобы мысленно воссоздать давным-давно прошедшую жизнь археологического объекта, требуется его физически разрушить. Таков ключевой парадокс археологической феноменологии.

Не менее феноменологична последующая камеральная обработка и кабинетная реконструкция полученных в поле данных. Найденные вещи, чертежи и фотографии раскопов, полевые дневники раскопок сначала превращаются в систему карт, планов, таблиц и графиков. Вещи сканируются, реставрируются и суммируются. Они вписываются в существующие классификации, датируются и «привязываются» к определенным культурам и хозяйственным типам социумов. Происходит неоднократная «фильтрация», «сепарация» археологического знания для его обобщения и конкретизации. Инструментами обработки «сырой» информации выступают мысленные схемы, наработанные в данный период развития науки (периодизации, типологии, классификации, математические графы). Только после этого археологическое познание готово к «штурму вершины» – попытке социально-исторической интерпретации памятника, объяснения того, как жили его обитатели, какую роль они сыграли в истории своей эпохи, региона.

Источниковедение и скепсис

В области гуманитарного познания в подходе к источникам имеют место две разные стратегии – позитивизм и экзистенциализм (в зависимости от того, как соотносить в нем объективное и субъективное, факты и теоретическое воображение). Одни авторы относятся к источникам гиперкритически, сознательно занижают их информативные возможности, ограничивают свою работу детальнейшей анатомией фактов, без каких-либо серьезных попыток дать им обобщающую интерпретацию. Другой тип гуманитариев, напротив, с источниками обращается весьма вольно, то и дело воспаряя над ними смелой теоретической мыслью.

Р.Дж. Коллингвуд так живописует исследователей того и другого рода. Первые – «это тот сорт людей, которые увидев вас в воскресенье идущими с дочкой, червями и раскладным стульчиком по направлению к реке, обязательно спросят: "Собрались поудить?"»[9]. Другой тип ученых он сравнивает с наивными персонажами Шекспира: «Эти выдающиеся философы Розенкранц и Гильденстерн думают просто-

[9] Коллингвуд Р. Дж. Автобиография // Он же. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 398–399.

душно, что они способны понять, что такое "Парменид", просто прочтя его. Но если вы подведете их к южным воротам Хаустида и предложите: "Пожалуйста, определите разные периоды строительства и скажите, какие цели ставили перед собой каждый раз строители", – то они запротестуют: "Поверьте, мы не можем". Так что вы думаете, что в "Парменида" легче разобраться, чем в развалинах маленького римского форта?»[10].

Хотя среди археологов встречаются и те, и другие[11], в целом археология неплохо справляется с такими проявлениями ученого снобизма. Без теории, предварительных обобщений социокультурного масштаба археолог не в состоянии сформулировать те вопросы, на которые способны дать ответ его полевые находки, – кто именно, когда и как жил здесь, почему жизнь тут прекратилась (развалины «маленького римского форта» в примере Коллингвуда). Сами по себе чертежи, фотографии, коллекции вещей, даже графики и диаграммы будут молчать, пока их не «допросит» специалист с теоретической подготовкой историка и антрополога культуры. С другой стороны, сколь угодно смелая гипотеза, новая интерпретация прошлого упрется в скупые источники, а еще чаще в их отсутствие.

Стоит поменять ту или иную строчку в «археологическом кроссворде», и два исследователя с разными точками зрения на сущность этноса, степень достоверности внеархеологических источников, систематику памятников и находок по-разному оценят прошлое одного и того же региона в определенную эпоху. Историография полна затяжных дискуссий автохтонистов и миграционистов, «либералов» и «патриотов» (вроде дискуссий российских норманистов и «славянистов» по вопросу истоков Древней Руси), не говоря уже о более мелких коллизиях археологической мысли. Именно для разбора таких сложных задач историко-археологического познания может быть использован инструментарий феноменологии, ориентированный на прояснение наших методов исследования, степени их осознания субъектом научного поиска. Археофеноменология, если так можно выразиться, способна указать те метапроблемы, которые не решаются непосредственно полевой или камеральной практикой. Ведь их обсуждение зависит от прояснения проблем другого, теоретического рода.

Методология гуманитарных наук, прежде всего источниковедческих, нуждается в очищении от псевдопроблем, фантомов устаревших теорий и тупиковых подходов в рассмотрении прошлого. Значительную их часть аккумулировал в себе марксизм, к тому же вульгаризированный своими поздними адептами. Уже обстоятельно раскритикованы, но все еще довлеют над умами многих специалистов фантазмы о решающей роли труда при антропогенезе, «первобытном коммунизме», эгалитаризме и промискуитете стада антропоидов, матриархате как потестарной системе, «рабовладельческом обществе», «военной

[10] Там же. С. 345.

[11] См. о них: Формозов А.А. Человек и наука. Из записей археолога. М., 2005. С. 97–109.

демократии», «феодализме как формации и способе производства», примате классовой борьбы над социальным партнерством и др. В свое время они, может быть, и сыграли небесполезную роль рабочих гипотез, подтолкнувших гуманитарное познание вперед. Новые достижения исторической археологии и антропологии перевели эти гипотезы в историографический архив науки, однако модное поветрие постмодернизма обостряет ностальгию иных коллег по стройности «единственно верной теории», и ее даже пытаются гальванизировать[12].

Эпистемологическая «дань» археологии и ее же идеологическая отдача

За достигнутый в изучении прошлого с помощью археологии прогресс приходится, как водится, платить своего рода «эпистемологическую дань». Она состоит, между прочим, в том, что при изучении памятника старины археолог уничтожает его полностью и навсегда. Массовые раскопки городищ и курганов существенно изменили исторические ландшафты многих регионов Европы. Таким образом, современная археология, как никакая другая гуманитарная наука, ограничивает себя по части познавательных возможностей. Аналогия тут возможна только с физикой или биотехнологией, которые тоже вынуждены осторожничать, только не в отношении прошлого, а будущего человечества (чтобы не уничтожить его супероружием или мутацией генотипа).

Средства, которые предлагаются археологическим сообществом для минимизации неизбежного ущерба материальной культуре от своей деятельности, пока носят паллиативный характер. Применение неповреждающих культурный слой методов зондирования (аэрофотосъемка или же электро-, магнитография) по сравнению с традиционными раскопками носит пока сугубо вспомогательный характер. Однако результатами раскопок можно распорядиться с определенной пользой не только для науки, но и для просвещения в старом добром понимании этого понятия.

На месте некоторых раскопок создаются музеи. Они включают в себя не только законсервированный раскоп, но и модели, муляжи найденных сооружений. Наиболее редкие, ценные и целые памятники стараются раскапывать только частично, в диагностических целях, чтобы оставить часть материала до будущих времен, когда методика раскопок усовершенствуется. Вообще, цивилизованным считается

[12] Как, например, составивший себе среди зарубежных коллег репутацию археолога-марксиста еще в позднем СССР Л.С. Клейн до сих пор вынужден называть свою теоретическую конструкцию «диалектикой археологии». См.: Клейн Л.С. Введение в теоретическую археологию. Кн. 1. Метаархеология. СПб., 2004. С. 402. В отношении «единственно верной (в недалеком прошлом) теории» предпочтительным представляется здоровый ревизионизм. См. в особенности: Ойзерман Т.И. Оправдание ревизионизма. М., 2005.

меньше и тщательнее копать, а больше изучать уже накопленные, огромные по размеру и малоосвоенные до сих пор материалы прежних раскопок.

Отдельные земляные насыпи после раскопок воссоздаются с помощью бульдозеров и скреперов приблизительно в первозданном виде. Тем самым археология приобретает своего рода экологическое измерение, объединяющее науку и актуальную общественную практику. Ведь восприятие исторически сложившегося ландшафта национальной культуры обладает важным педагогическим, идеологическим потенциалом. Кстати говоря, в реставрации старинных зданий, прежде всего культовых, археологи тоже принимают участие, помогая архитекторам и искусствоведам воссоздать аутентичный образ разрушенной давно церкви или башни.

Другим, еще более массовидным «фронтом археологической пропаганды» выступают музейные экспозиции. Их преимущества перед натурным моделированием состоят в том, что с помощью витрины, диорамы, макета можно воспроизвести то, что уже разрушено в интересах науки, и воспроизвести так, чтобы наглядно передать публике важнейшие выводы исследователей.

Во многих странах мира проводится своего рода историко-археологический эксперимент – с помощью ученых и инженеров образ жизни той или иной эпохи реконструируют клубы добровольцев[13]. В игровой форме воссоздаются поселения викингов или, допустим, индейцев, их костюмы, украшения, утварь, оружие, прочие аксессуары. Моделируются в натуральную величину и в тех же самых материалах жилища, мастерские, крепости, морские и речные суда. Разыгрываются сражения, известные из письменных источников. Летние лагеря, фестивали, семинары, походы исторических реконструкторов привлекают множество поклонников. С помощью фильмов «оживленная история» тиражирует свои образы на массового зрителя.

Таким образом, археология распространяет свою власть над умами далеко за пределы экспедиционных палаток и лабораторных хранилищ. С ее помощью формируется целостный и яркий, динамичный и проблемный образ давно минувших веков. Историческая память обогащает жизненный мир современных поколений.

Археология как терапия гуманитария

Кастовый этос науки игнорирует сотрудничество с профанами. Желание писать научно-популярные статьи, давать интервью журналистам не нарушает жизненной герметичности мира ученых. Мир науки связан с остальным миром, точнее, мирами общественной, практической, обыденной жизни, очень косвенно, через целый ряд

[13] См.: Малинова Р., Малина Я. Прыжок в прошлое. Эксперимент раскрывает тайны древних эпох. М., 1988.

смысловых «фильтров»[14]. Эпистемологи даже не задумываются над тем, как подобная стерилизация духа влияет на «климат» научного познания. Если представители естествознания без особого ущерба для своих открытий могут абстрагироваться от их социальных последствий (даже самых крайних вроде военных или медицинских), то с гуманитариями жизненный снобизм чаще всего играет злую шутку. «Совесть нации», на поверку, может быть услышана дюжиной-другой коллег, узких специалистов. Пресса, радио, телевидение, Интернет расширяют эту аудиторию, но не принципиально. Как в романе Ярослава Гашека старые девы вели курсы по уходу за новорожденными, так многие представители академического мира взвешивают ценности общества, не высовывая носа из собственной подворотни. Замкнутый круг: школа – университет – академический институт – дача – кладбище. Даже к срочной военной службе будущие профессора и академики, как правило, не пригодны. Из этого правила есть отрадные исключения. «Я… был старостой ученического общежития; здесь впервые я ощутил прелесть административной деятельности и раз и навсегда научился заниматься ею. <…> Став преподавателем философии, я не забросил исторических и археологических занятий. Каждое лето я работал в каких-то крупных археологических партиях, а с 1913 г. сам возглавлял раскопки. Раскопки стали одним из самых больших наслаждений моей жизни. В свое время я научился руководить школьниками, теперь я должен был руководить рабочими, заботиться об их нуждах и здоровье, понимать их отношение к решению нашей общей задачи и помогать им понять мое собственное. Занимаясь раскопками, я неожиданно для себя оказался включенным в своеобразную экспериментальную работу лаборатории мысли»[15], – писал в своей автобиографии Коллингвуд.

Похожую мысль в предисловии к своим поучительным рассказам об ученых высказал патриарх отечественной археологии и историографии А.А. Формозов: «Вся моя жизнь прошла в кругу людей, работавших в исследовательских институтах, вузах, музеях, библиотеках. К счастью, я встречался и с совсем другими людьми, прежде всего во время экспедиций и командировок, когда забирался в глухие углы Казахстана и Средней Азии, Сибири и Европейского Севера, Украины и Кавказа. Благодаря этому я смог объективно оценить плюсы и минусы взрастившей и воспитавшей меня интеллигентской среды»[16].

Перед нами нечто вроде известного в истории революционного движения в России «хождения в народ», только по долгу научной работы. У археологов, этнографов, фольклористов, антропологов оно входит в профессию и влияет на их мировоззрение. Мы далеки от мысли разъяснить загадочные каналы взаимосвязи мега- и микросубъектов человеческого познания, но вправе предположить их влия-

[14] Подробнее см.: Алябьева З.С., Щавелёв С.П. Практическое значение гуманитарного знания // Гуманитарное знание: сущность и функции / Сост. и отв. ред. Г.А. Подкорытов. СПб., 1991. С. 56–69.

[15] Коллингвуд Р.Дж. Цит. соч. С. 325, 335.

[16] Формозов А.А. Рассказы об ученых. Курск, 2004. С. 6.

тельность. Тут наука сближается с художественной литературой: «Зачем человек, если есть его книги? Текст ведь всегда лучше его сочинителя. Да, наверное, лучше: спокойнее, предсказуемее, безопаснее – но не полнее. Не сложнее. Не многообразнее. Не восхитительно противоречивее»[17].

Ведь ученые появляются не из колбы чародея вроде гомункулуса. Они вырастают в тех социальных пространствах, которые им так или иначе предстоит изучить. Качества личности как-то коррелируют со способностями субъекта познания, в особенности гуманитарного. Практическая археология в этом плане является замечательной школой жизни. Тому свидетельство – биографии советских археологов. Нетрудно заметить, что блестящих результатов среди них добились как выходцы из простого народа, рабочих да крестьян, так и потомственные интеллигенты. Для первых полевая археология стала прекрасной возможностью применить свои навыки ручного труда, житейскую сметку на благо академической карьеры. Поднимаясь по «общественной лестнице», они могли с пользой для дела сохранять исконные навыки общения с самыми разными людьми, зрения вне городских стен, решения прикладных задач. Опыт и дар полевой работы компенсировал многим из «выдвиженцев» отсутствие эрудиции, слабое знание иностранных языков. Для «образованцев» же не в первом поколении раскопки позволяли надежно спрятаться от идеологического диктата власть предержащих.

Для историков и философов школой практической методологии сегодня все чаще становится политическое консультирование, прикладная социология, журналистика, публицистика, редакторство, даже государственная служба, включая разведку и контрразведку. Этим неплохо оплачиваемым занятиям отдали щедрую дань самые знаменитые теоретики прошлого столетия – М. Вебер, Дж. К. Гэлбрейт, Р. Арон, П. Бурдье, многие другие их коллеги по университетам и академиям. В своих мемуарах они, не сговариваясь, отмечают, что участие в «живой жизни» (гуссерлевская «неурезанная реальность») оплодотворило их теоретическую мысль. Получается, из субъекта научного, в особенности гуманитарного, исследования невозможно полностью исключить целостную личность человека, а она, в свою очередь, тянет за собой в чертоги науки впечатления от реального «жизненного мира».

Профессионалы и дилетанты

Продолжением темы о соотношении профессиональной науки и жизненного мира служит вопрос о соотношении любительства и дилетантизма. На первый взгляд, время любителей давно кончилось. В храме науки им нечего делать. Никто не подпустит человека без

[17] Вайль П. Без Довлатова // Довлатов С. Последняя книга. Рассказы, статьи. СПб., 2001. С. 310.

диплома не то что к синхрофазотрону, но и к элементарному микроскопу. Применительно к точному естествознанию это, вероятно, так. Энциклопедизм и романтизм «естественной истории» остался в далеком прошлом. Правда, в периоды научных революций и более мелких «переворотов» естественно-научной тематики и методики самые опытные натуралисты обречены какое-то время оставаться любителями принципиально новой проблематики. Конечно, для ее успешной разработки они довольно быстро повышают квалификацию, заново профессионализируются.

А вот можно ли обойтись без любителей в области гуманитарного познания? Отрицательный ответ на этот вопрос дает все та же археология. Исторические древности, памятники старины встречаются повсюду. То и дело природные стихии или хозяйственная деятельность людей обнаруживают их, угрожают их существованию. Никакая академия наук, никакой университет не обеспечат своими научными сотрудниками все грады и веси, даже районы и области, тем более таких огромных стран, как Россия. К счастью, на местах чаще всего находятся так называемые краеведы. Как правило, это местные жители более или менее интеллектуальных профессий – учителя, журналисты, чиновники средней руки. Среди них немало коллекционеров разных редкостей, но ближе их сердцу слава первооткрывателя. Чаще всего именно они сообщают ученым о новых памятниках, важных находках, передают их в музеи. Лучшие из любителей могут вырастать до вполне профессиональных исследователей древностей. Примеры тому есть практически в каждой области бывшего СССР, нынешней России. В других случаях отмечались конфликты между приезжими учеными и местными патриотами – борьба за приоритет открытия важного памятника, место хранения находок. Разумеется, научным «потолком» добросовестного краеведа выступает эмпирический уровень изучения прошлого. Подобные волонтеры – незаменимые помощники ученых в их полевых экспедициях.

Кроме археологии, «вклад народа» заметен в таких жанрах традиционной истории, как устная. Сейчас все шире практикуются записи рассказов ветеранов труда и войн о пережитом на их долгом пути. Эти рассказы дополняют историю, отложившуюся в архивах и официальных документах прошлого. Немыслимы без доверительного сотрудничества с простыми людьми полевая лингвистика, фольклористика, этнография.

Объединению ученых и их добровольных помощников в работоспособный коллектив помогает тот психологический микроклимат, который царит в палаточных лагерях и у экспедиционных костров. Субкультура российских археологов напоминает стиль общения советских интеллигентов-шестидесятников. Добродушный юмор, гитара, песни соло и хором, экскурсии по интересным местам природы и культуры и другие традиции экспедиционного досуга укоренились на всем «постсоветском пространстве». Так, археологические песни – относительно самостоятельный жанр так называемого городского романса, фольклора интеллигенции. Недаром среди археологов боль-

ше всего беллетристов и поэтов (упомянем хотя бы В.Д. Берестова, Г.Б. Федорова, Ю.А. Липкинга). Практически все мало-мальски известные археологи написали популярные книжки о своих находках для широкого круга читателей. Таким образом, в области практической археологии коллективный субъект исследования особенно успешно объединяет усилия профессионалов и любителей исторического знания.

Археология как искушение гуманитария

У практической археологии имеются не только плюсы, но и минусы, по сравнению с другими отраслями гуманитарного знания. Ведь археологические источники многомерны не только эпистемологически и методически, но и этически. Имеются в виду такие по виду внешние стороны научной работы, как авторское право, приоритетность открытия, соперничество между коллегами и целыми научными группами, ведущими исследования по близким направлениям. Морально-юридические принципы применительны к любой науке, но в области естествознания соответствующие коллизии давно и прочно ослаблены сложившимися «правилами игры». Конечно, везде бывают этически сомнительные моменты. Престижные премии то и дело получают не совсем те или совсем не те авторы. Порой на решения официальных инстанций о присуждении премий и прочих наград влияют вненаучные соображения – клановые, идеологические, политические. Не всегда справедливо (на чей-то взгляд) делятся финансовые потоки, питающие науку. Однако все эти отдельные противоречия в общем вписываются в обстановку неизбежной конкуренции, при которой у всех участников процесса в принципе есть возможность одержать победу.

В гуманитарных науках, как известно, далеко не столь четкие критерии новизны, масштабности научных открытий. Отсюда и большая волюнтарность распределения материальных ресурсов между исследователями, пониженный градус их этического самосознания. В области археологии моральная ситуация самая, пожалуй, сложная. Ведь памятник старины совсем не так общедоступен, как текст для филолога или книга для «чистого» историка. За наиболее перспективные памятники, районы раскопок среди археологов всегда шла более или менее явная борьба. Монополизируются целые регионы для раскопок тех или иных археологических культур. Возрастает и соблазн более страшных для ученого грехов – подтасовки результатов разведок и раскопок, да и «просто» недобросовестной фиксации найденного.

Раскопки – всегда лотерея. Кто вытянет «счастливый билет» и обнаружит сенсационный памятник, заранее неизвестно. Чаще всего наиболее громкие открытия совершали или дилетанты, или не очень выдающиеся профессионалы. Такие открытия, как гомеровская Троя, гробница Тутанхамона, скифские курганы или колодцы ацтеков, полные золотом, прославили счастливчиков, но отнюдь не повысили их

рейтинг в глазах академического сообщества. Доследовать сенсационные памятники приходилось, как правило, менее известным широкой публике специалистам.

Налицо изнанка того «жизненного мира», в котором обречены трудиться профессиональные археологи. За кулисами их профессии виднее черты того кризиса европейской культуры и науки, какой напророчил Гуссерль. Один из его уроков, не вполне усвоенный нынешней эпистемологией, состоит в неочевидной пока иерархии научных и вненаучных форм знания. Отказ от наукоцентризма и завоевание когнитивного суверенитета для атеоретических проекций действительности в самых разных областях духовной культуры (религии, светской мистике, искусстве, морали и т.д.) – одно из завоеваний философской мысли на рубеже прошлого и нынешнего веков[18]. Вместе с тем убедительная систематизация, иерархия типов осознания жизни все еще остается, на наш взгляд, делом будущего. В столь сложном и непредсказуемом мире, каковым является западный постиндустриализм на фоне восточного «постфеодализма», возможности науки затруднительно полностью уравнять со знанием вненаучных толков, включая откровенно иррациональные, мистические, экстатические. Даже в тех ситуациях, когда одной из причин кризиса выглядит сама наука, его преодоление видится на путях дальнейшего развития именно научного познания, реставрации морально-этического этоса науки.

Экспансия паранауки и «лекарство» от квазизнания

Один из духовных «вирусов», поразивших общественное сознание наших современников, – паранаука[19] не миновала историю и археологию. Ее официальные версии раз за разом объявляются обманом или самообманом. В пику им предлагается некая «новая хронология», вообще альтернативная история, сочиненная воинствующими дилетантами и чудовищными эклектиками[20]. Их опусами переполнены при-

[18] См. цикл работ И.Т. Касавина и его исследовательской группы, посвященный методологии гуманитарного познания и вненаучным формам рациональности. Лидером аналогичного движения философской мысли в Санкт-Петербурге выступил Б.В. Марков.

[19] См.: Мартишина Н.И. Когнитивные основания паранауки. Омск, 1996; Она же. Наука и паранаука в духовной жизни современного человека. Омск, 1997; Дубровский Д.И. Паранаука, парапрактика и измененные состояния массового сознания // Здравый смысл. 1997. № 2; Пружинин Б.И. Ratio servus // Вопросы философии. 2004. № 12.

[20] Лучшую сводку аргументов против наиболее распространенных вариантов паранауки см. в: Кругляков Э.П. «Ученые» с большой дороги. М., 2001. Применительно к истории, где квазинауки особенно много, см. в: Володихин Д., Елисеева О., Олейников Д. История России в мелкий горошек. М., 1998. Именно археологические сюжеты очерчены в кн.: Формозов А.А. Человек и наука. Из записей археолога. М., 2005. С. 98–110.

лавки книжных магазинов и ресурсы Интернет. Мера оппозиционности академической историографии варьируется в довольно широком диапазоне – от этакой беллетризации, журнализма в духе недоучившегося по причине репрессий Л.Н. Гумилева до клинических случаев вроде «Влесовых книг», «Протоколов сионских мудрецов», академика-геометра Фоменко с сотоварищами-спичрайтерами, офтальмолога Мулдашева с его «одноглазыми циклопами» где-то в Тибете, «русских друидов»-неоязычников и прочих маньяков-«клиоманов» разной степени небезобидности.

Надо признать, что традиционная историография давала определенные поводы для недоверия к ней со стороны широкой общественности. На глазах последней историки, прежде всего при тоталитарных режимах, раз за разом по указке властей переписывали прошлое. Ученые из разных стран излагали национальную и мировую историю с оглядкой на противоборство современных геополитических интересов, итоги локальных и мировых войн. Особенно уязвимой для критики оказалась история, основанная на письменных источниках. Опыт недавно истекшего столетия показал, как виртуозно и многократно можно манипулировать текстами в интересах идеологии. Соответственно, степень доверия к научной интерпретации летописей, актов, прочих документов исчезающе мала в народном сознании. Оно по большей части вмещает в себя разнообразные химеры в исторических обличьях.

Полностью примирить геополитические противоречия современной истории разных стран и народов не дано никакой гуманитарной науке, да и публика обычно склонна внимать не реалистичным урокам истории, а разным мифам на исторические темы. Археология же вместе с нарративной историей со всей возможной внятностью будет демонстрировать этой самой публике, что в истории любого народа, региона Земли победы чередовались с поражениями, благодеяния перемежались предательствами, взлеты сменялись спадами. Но из такой констатации следует нечто большее, чем историософский релятивизм или же философско-исторический имморализм. Расшифрованные археологами развалины былых культур обнаруживают, что один тип цивилизации обеспечивал людям более гуманные условия существования, нежели другой. Что нет нации-государства без подобной предыстории: «Каких последов в этой почве нет / Для археолога и нумизмата – / От римских блях и эллинских монет / До пуговицы русского солдата»!..» (*М. Волошин*). Что усилия многих поколений предков не напрасны, раз мы, их потомки, имеем возможность рассматривать прошлое на выставках в национальных музеях да в иллюстрациях ученых монографий.

Не есть ли это в какой-то степени приемлемый вариант ответа на основной вопрос Гуссерля о том, «можем ли мы жить в этом мире, исторические события которого – лишь непрерывная цепь иллюзорных порывов и жестоких разочарований?»[21].

[21] Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994. С. 6.

Обсуждаем статьи об историзме[1]

В. П. Филатов

В одной из своих работ Э.Ю. Соловьев охарактеризовал историзм как «возникший в буржуазную эпоху философски оформленный культ истории». Этот культ проявлялся в различных формах. Это и просветительские картины исторического прогресса человеческого разума, и стремление романтиков погрузиться в прошлое и найти там архетипы национальной культуры, и попытки спекулятивной философии истории обнаружить некую общую «фигуру» протекания мировой истории и на этой основе выявить ее «смысл» и «назначение». Самым ценным продуктом охватившего людей интереса к истории стала профессионализация исторической работы, дисциплинарное оформление исторической науки в XIX в. Наибольшую роль в этом сыграла блестящая плеяда немецких историков – Л. Ранке, Б. Нибур, Т. Моммзен, Я. Буркхардт, Г. Дройзен, Э. Целлер и др.

После их работ значение спекулятивных конструкций философии истории гегелевского типа стало быстро падать. Можно сказать, что они и их французские и английские коллеги в середине XIX в. коллективно выполнили роль того «Ньютона истории», о котором писал И. Кант, когда ставил вопрос о возможности исторического познания в эссе «Идея всеобщей истории во всемирно гражданском плане». В этом контексте принцип историзма предстал уже в рамках того типа философской рефлексии, которую В. Дильтей назвал «критикой исторического разума». В помещенных ниже статьях авторы рассматривают, как проблемы историзма ставились в исследованиях неокантианцев по логике исторического познания, в дискуссиях об историзме в немецкой философии 1920-х гг., методах исторического познания начиная с 1940-х гг. в англо-американской аналитической философии.

[1] Данный материал подготовлен в рамках проекта РГНФ № 06-03-00322а.

Хотелось бы отметить два момента, которые могли бы дополнить обсуждение проблемы историзма. Во-первых, весьма интересный и напряженный спор об историзме шел и в России на рубеже XIX–XX вв. Причем он не воспроизводил западноевропейские образцы, хотя и учитывал их. Оригинальность ему придавало противостояние еще живой славянофильской историософской традиции, в том числе в форме концепции «культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского, и критического подхода нового поколения историков и философов (В.О. Ключевский, Н.И. Кареев, П.Н. Милюков, А.А. Кизеветтер и др.), отрицавших метафизику истории, в том числе существование неких «архетипов», субстанциональных «национальных идей» и т.п.

Второй момент касается понятия «историцизм». В статье В.С. Малахова не отмечено одно обстоятельство, благодаря которому этот термин приобрел негативный смысл. В конце XIX в. понятие «историцизм» употреблялось в вызвавшем большой резонанс «споре о методе» между сторонниками немецкой исторической школы национальной экономии во главе с Г. Шмоллером и австрийской школой теоретической политической экономии во главе с К. Менгером. Последний критиковал историческую школу за то, что ее представители рассматривали экономическую теорию как полностью зависящую от истории хозяйственной жизни, причем вплетенной в общую социокультурную историю страны. Такую позицию Менгер назвал «историцизмом», придав этому понятию отрицательный смысл, поскольку видел в этом, во-первых, неадекватное использование исторического знания и, во-вторых, лишение автономии экономической теории посредством превращения ее в раздел другой дисциплины. В работе Ф. Хайека «Контрреволюция науки» в определенной мере сохраняется этот ранний смысл термина «историцизм», хотя для него, как и для К. Поппера, главными фигурами историцизма выступали Г.В.Ф. Гегель, О. Конт и К. Маркс, которые сочетали в своих учениях веру в существование незыблемых законов исторического развития с холистскими трактовками общества и идеями социального конструктивизма.

О. В. Вышегородцева

История – прошлое человечества; наука о прошлом; повествование о некотором событии; процесс развития. Иногда для обозначения исторической науки используется термин «историография», в узком смысле означающий историю исторической науки. Рождение научной истории, отделение ее от мифа и литературы в самостоятельную форму знания связывают с именем древнегреческого историка Фукидида, впервые снабдившего историческое повествование критикой свидетельств. Расцвет исторических исследований, подготовленный историками Возрождения, разработавшими метод рациональной критики источников, и историками Просвещения, применившими его, а также романтиками, открывшими принцип историзма, приходится на XIX век, когда в научный оборот вводится большой корпус новых источников. Классическими образцами исторического описания стали соз-

данные в то время труды Я. Буркхарда, Ф. Гизо, Г. Дройзена, Т. Карлейля, Ф. де Куланжа, Т. Макалея, Ж. Мишле, Т. Моммзена, Б.Г. Нибура, Л. фон Ранке, А. де Токвиля, О. Тьерри. Завершение дисциплинарного оформления исторической науки в XIX в. было отмечено выходом книги французских историков Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса «Введение в изучение истории», содержащей скрупулезную экспликацию методов исторической критики. В XIX в. историческая наука переживает процессы предметной стратификации, приведшие к выделению в качестве самостоятельных субдисциплин политической, экономической, культурной и социальной истории. В XX в. предметное поле исторической науки переструктурируется под влиянием социологического (школа «Анналов» во Франции: М. Блок, Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф, Л. Февр и др.; марксизм в Великобритании и США: Э. Карр, Ф.Д. Тернер, Е.П. Томпсон, Э. Хобсбаум и др.) и антропологического (новая культурная история и микроистория: К. Гинзбург, Н. Земон-Девис, Э. Ле Руа Ладюри, Л. Хант, Р. Шартье и др.) концептуально-методологических поворотов. Возникают новые, гибридные, исторические субдисциплины – этноистория, историческая психология (психоистория), историческая антропология, историческая география, урбан-история, гендерная история и др. Для современного состояния исторической науки характерны фрагментация как результат пролиферации субдисциплин, поиски новой парадигмы исторического синтеза, попытки снять теоретическое напряжение между исследованиями исторических субъективностей (индивидуальных и коллективных) и социальных структур.

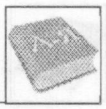
Теоретические задачи философии истории как рефлексии над историей обозначаются в зависимости от того, в каком значении используется термин «история» – в онтологическом или в эпистемологическом. Философия истории как теория мирового исторического процесса (историософия) ставит перед собой вопросы о субъекте и движущих силах истории, о законах исторического развития, о цели и смысле истории и содержит неустранимую прогностическую интенцию. Целостная концепция истории впервые обнаруживается в труде Августина Блаженного «О граде Божьем». Выделяются два базовых подхода к истолкованию исторического процесса: унитарно-стадиальный (Г.В.Ф. Гегель, О. Конт, К. Маркс, М. Вебер и др.) и плюрально-циклический (Дж. Вико, О. Шпенглер, А. Тойнби и др.). Эпистемологическая философия истории как критика исторического разума возникает в конце XIX – начале XX вв. в период институциализации истории. В эпистемологии истории можно выделить два проблемных кластера. Во-первых, проблемы эпистемологического статуса истории: проблема логики и методологии исторического познания, проблема законов истории, проблема теории в истории, проблема исторической причинности, проблема исторических универсалий, проблема места и роли истории в корпусе социогуманитарных дисциплин. Во-вторых, проблемы объективности истории: проблема ценностей в историческом исследовании, проблема исторических понятий, проблема конструктивного характера познавательных средств историка, проблема исторической памяти.

Вопросы эпистемологического статуса истории встают в связи с возникающей на рубеже XIX и XX вв. необходимостью легитимизации научности социогуманитарных дисциплин, парадигмальным примером которых выступает история. Тематизированное Вико, немецким романтизмом и прежде всего И.Г. Гердером и Гегелем историческое сознание, принципами которого являются признание инаковости прошлого и требование познавать прошлое в его собственных категориях, стало основой исторического метода, воспринятого становящимися «науками о духе» как единственно релевантного познанию человека. Взаимоотношения истории и других социальных и гуманитарных наук вновь проблематизируются в середине XX в. в связи с транспортированием историей концептуальных метафор и методологических моделей из социологии, антропологии и экономики. При этом заимствованные историей объяснительные модели науки-доноры верифицируют на историческом материале, что создает ситуацию порочного круга в оценке релевантности теоретических схем. Другая проблема связана с контроверзой «история–истина»: история подрывает притязания любой науки на абсолютную истину, историзируя, т.е. релятивизируя их.

Дискуссии о логике исторического познания были заданы концептуальными рамками противостояния натурализма (редукционизма) и антинатурализма (антиредукционизма). Натурализм (позитивизм в трех версиях, натурализованная эпистемология У. Куайна) настаивает на существовании единой логики научного познания и считает, что естественные науки представляют образец научности. Антинатурализм (философская герменевтика, баденское неокантианство, нарративизм) отстаивает идею особых когнитивных средств, делающих прошлое интеллигибельным. Соответственно, это процедуры либо понимания (В. Дильтей), либо описания (Г. Риккерт), либо повествования (Л. Минк, П. Рикёр). Когнитивный интерес истории к специфическому в сочетании с ее притязаниями на реконструкцию целостной картины (фрагментов) прошлого делает контроверзу «единичное–всеобщее» центральной для эпистемологии истории. Проблема исторических универсалий, вокруг которой ведутся баталии номиналистов (методологический индивидуализм) и эссенциалистов (методологический коллективизм), структурирует размышления о субъекте исторического изменения и способах исторического описания. Здесь обнаруживается разрыв между событийной и структурной историей и между каузальным и телеологическим объяснением, с одной стороны, и нарративным, с другой. Схизма нарративистов и антинарративистов порождена ложным противопоставлением процедур анализа (причиновменения) и синтеза (повествования, понимания) в историческом исследовании. Следует задаться вопросом о том, как понимание и каузальность дополняют друг друга (Р. Арон). Редукционисты (К. Гемпель, М. Уайт) пытаются применить дедуктивно-номологическую модель объяснения («объяснение через охватывающие законы») или ее смягченную – каузальную – версию к истории, в то время как антиредукционисты (Р. Коллингвуд, У. Дрей) обосновыва-

ют релевантность телеологического объяснения истории. Известны попытки соединения этих двух типов объяснения (например, квазителеологическая модель Г. фон Вригта). Критика применимости дедуктивно-номологической модели объяснения в истории исходит из проблематичности статуса исторических законов: они часто представляют собой тривиальности обыденной психологии и не обладают свойствами универсальности, инвариантности и симметрии, т.е. являются всего лишь тенденциями, что обусловлено особой природой исторической причинности. Проблема законов в истории тесно связана с проблемой теории в истории и является принципиальной для понимания природы науки. Если научная теория трактуется как эссенциальный уровень познания, то философия истории как крупномасштабная теория исторического процесса, формулирующая его законы, может претендовать на эту роль. Но из-за отсутствия методологических средств обеспечения связи между теоретическими абстракциями философии истории и эмпирической конкретикой философия истории не воспринимается в качестве необходимой составляющей исторического знания ни работающими историками, ни аналитически ориентированными философами истории (например, А. Данто). Номиналисты критикуют философию истории как форму трансцендентальной иллюзии. История как целостность – всего лишь регулятивный принцип, а не реальность. В этом же русле выстроена критика К. Поппером историцизма – доктрины, постулирующей единство исторического процесса, его детерминированность и прогрессивный характер. Современная философия науки смягчает критериальные требования к «хорошей» науке вплоть до возможности считать теорией любые формы систематизации познавательного материала. В таком случае уже историческое повествование будет достаточным для приписывания истории объяснительной силы (позиция нарративизма). Такой подход способствует сохранению ситуации фрагментированности исторических исследований.

Вопрос о том, можем ли мы объективно познать прошлое, содержит двусмысленность, связанную с понятием объективности. Историческая объективность отличается от естественно-научной и соответствует когнитивной практике истории, в которой неразрывно присутствуют факты и ценности. Проблема объективности исторического познания раскрывается в трех ракурсах. Во-первых, через вопрос о том, как возможна истина в истории, если сам познающий историчен? Не обрекает ли перспективность нашего видения истории на неизбежный релятивизм (Г.-Г. Гадамер)? Существует ли прогресс исторического познания? Выбор вопросника и отбор фактов детерминированы как личным опытом и интересом историка, так и социальным запросом эпохи. Но это не означает множественности карт прошлого, скорее всего, это – множественность маршрутов познавательного движения по карте истории. Во-вторых, может ли историк освободиться от искажающей пристрастности? Разработанные методы критики источников позволяют устранить присутствующие в них контаминации. Но искажения может вносить и сам познающий в ходе построения цело-



стной интерпретации. Идеологическая ангажированность историка ведет не только к заблуждениям, но и к фальсификации истории. Средством, но не панацеей против этого служит критическая рефлексия исследователя и кодекс профессиональной чести историка. В-третьих, в споре конструктивистов и реалистов проблема объективности предстает в форме вопроса: является ли историческое знание конструкцией или реконструкцией? В такой форме проблема объективности истории была остро поставлена в философском постмодернизме, предложившем лингвистическую абсолютизацию кантовской идеи конструктивной природы познавательных средств. Если история – всего лишь особый способ создания литературного «эффекта реальности» (Р. Барт, Х. Уайт), то не существует различия между историческим романом и историческим исследованием. Если исторический факт это лингвистический конструкт, то не существует инстанции обоснования истинности исторического объяснения. Историческая реальность теряет статус объективности и совпадает с содержанием источника, равно как и с содержанием работы историка, множится и становится интертекстуальностью – дискурсом. Реалисты, признавая формирующую природу исторических концептов, настаивают на способности историка говорить правду о прошлом, но лишь частичную, а не полную и окончательную (А. Про, Дж. Тош, Р.Дж. Элтон).

Историзм, историцизм, историчность

В. С. Малахов

Историзм (нем. «Historismus», англ. «historicism», франц. «historicisme»). В XX в. значение понятия «историзм» колебалось от нейтрального (Т. Литт, К. Мангейм) и позитивного (Э. Ротхакер, Ф. Майнекке) до негативного (П. Тиллих, М. Хайдеггер, Б. Кроче). Негативные коннотации термин «историзм» приобрел в последней трети XIX и в начале XX вв. В противовес словоупотреблению в постгегелевском идеализме (где под «историзмом» понимали спекулятивную философию истории) в неокантианстве историзм означает либо смешение теории и истории, подмену «систематического» измерения философствования «историческим» (П. Наторп), либо фетишизацию детерминизма (Г. Зиммель), либо релятивизм (Г. Риккерт). Хайдеггер, опираясь на Ницше, понимает историзм как историографию, лишенную собственно истории, как «неисторическую историю» (ungeschichtliche Historie). В первые десятилетия XX в. историзм, по сути, тождествен историческому позитивизму – бессистемной фактографии, накоплению исторических данных без вопрошания об их значимости и безотносительно к современной тому или иному историку эпохе. В этом полемическом контексте появляется труд Э. Трельча «Историзм и его проблемы» (1922). Главная проблема историзма – это проблема релятивизма. В этой связи Трельч особое внимание уде-

ляет наследию В. Дильтея, которого считает «самым проницательным, тонким и живым представителем чистого историзма». Трельч полон решимости освободить историзм от отрицательных побочных значений, но уже несколькими годами позже («Historismus und seine Überwindung», 1924) отказывается от этих попыток. Тематика историзма занимает Э. Ротхакера («Einleitung in die Geisteswissenschaften», 1920), стремящегося продемонстрировать емкость и неоднозначность этого явления. Историзм, по Ротхакеру, связан далеко не с одним позитивизмом, историзация мышления начата философией немецкого романтизма и Г.В.Ф. Гегелем. В том же ключе трактует проблематику историзма и Ф. Майнекке («Die Entstehung des Historismus», 1936). Непреходящая ценность историзма заключается, по Майнекке, во-первых, в индивидуализирующем рассмотрении духовных явлений, и, во-вторых, во внедрении в мышление понятия развития.

Историцизм (нем. «Historizismus»)*. Термин «историцизм» имеет, в отличие от «историзма», почти исключительно негативную смысловую нагрузку. У Ф. Ницше историцизм повинен в архивном, музейном обращении с человеческой историей. Э. Гуссерль полемизирует с историцизмом как с опасностью не меньшей, чем натурализм: если последний натурализирует предметы сознания, то историцизм превращает их в «духовно-исторические» образования. Полемизируя с Дильтеем, Гуссерль настаивает на том, что релятивность философских систем и мировоззрений нельзя преодолеть, находясь на исторической точке зрения, для преодоления релятивизма необходим ориентированный на общезначимость идеал истины. Позиция философии как «строгой науки» должна быть поэтому надисторической.

К. Поппер («Нищета историцизма», 1957) понимает под «историцизмом» все социально-философские теории, основанные на вере в «историческую необходимость», ориентированные на открытие в истории «тенденций» и «законов» развития и тем самым притязающие на предвидение будущего. Сколь бы различны при этом ни были социальные теории (например, воззрения Платона и К. Маркса), их объединяет страсть к социальной инженерии – обустройству общества сообразно некоторому идеалу.

Историчность (нем. «Geschichtlichkeit»). Это понятие было введено в немецкоязычный философский оборот Дильтеем и получило широкое хождение в 1920-х гг. после публикации переписки Дильтея с графом Йорком (фон Вартенбургом). Хайдеггер усмотрел в историчности определенность человеческой экзистенции: то, что человек имеет историю, не есть случайное обстоятельство, но представляет собой способ человеческого бытия. Историю, в свете понятия историчности, следует мыслить не как (завершенное) прошлое, а как (незавершенное) движение, в котором мы сами находимся. Рефлексия историчности должна поэтому способствовать преодолению исторического релятивизма, опасность которого несет в себе историзм.

* В английском и французском языках нет отдельного термина «историцизм».

Человек существует исторически в той мере, в какой он не просто «предоставлен» своим историческим условиям, а в той, в какой он определенным образом относится к ним как к своим собственным возможностям. Это отношение к исторически определенному миру как пространству возможностей развертывается в понимании. Понимание как отношение к возможностям, в свою очередь, исторично, ибо всегда связано с ситуацией. Историчность – это единство связанности с определенной ситуацией и трансцендирующего характера человеческой экзистенции. Трансцендирование собственной ситуации делает возможным понимание другой исторической ситуации. В ходе установления отношения к другой ситуации обретается понимание собственной, т.е. самопонимание. Понятие историчности в хайдеггеровской интерпретации превратилось в интеллектуальную моду, затронув главным образом экзистенциально-феноменологичекое и герменевтическое направление в философии (Т. Липпс, Г. Миш, О.Ф. Больнов, Г.-Г. Гадамер).

Н. М. Смирнова*

Историзм – принцип подхода к предмету исследования как изменяющемуся во времени, развивающемуся, «возведение истории в принцип» (К. Мангейм). Термин «историзм» как универсальный метод «наук о духе» введен в употребление В. Дильтеем в конце XIX в. Однако в более широком значении – как оппозиция схоластизирующему телеологизму традиционной метафизики – понятие «историзм» применяется для характеристики социально-философских воззрений Дж. Вико и французских просветителей Ф. Вольтера, Д. Дидро, Ж.А. Кондорсе, выдвинувших идею общественного прогресса как поступательного развития человечества от низших ступеней к высшим. Восходящая к просветителям идея «естественных» исторических законов стала философским основанием доктрины естественных прав человека. Историзм противопоставлялся аисторической догматике классического рационализма в Германии представителями «романтической» (И.Г. Гердер, Ф. Шлегель) и исторической школ (Ф. Савиньи, Б. Нибур, Я. Буркхард и др.), а также Тюбингенской школы теологии.

В XVIII – первой половине XIX вв. развитие принципа историзма осуществлялось преимущественно в форме *философии истории* как крупномасштабного, универсального обозрения исторического процесса, дополняющего эмпиризм событийных исторических хроник. Выдающаяся роль в развитии философии истории середины XIX в. принадлежит немецкой классической философии. Фундаментальным основанием философии истории Г.В.Ф. Гегеля является идеалистический панлогизм – обозрение всемирной истории как закономерного этапа развития Абсолютной идеи. Взгляд на общество как на отчужденное бытие саморазвивающегося Абсолютного духа позволяет увидеть его как процесс поступательного развития, подчиненный объективным закономерностям: Абсолютный дух усилиями людей развивается в направлении все большей реализации идеи свободы, с дости-

* Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 06-03-00304а.

жением условий которой (в Прусской конституционной монархии) историческое развитие заканчивается. Ограниченность гегелевского историзма как обращенного в прошлое становится объектом критики в философско-исторических концепциях младогегельянцев (Б. и О. Бауэры, М. Штирнер и др.).

Исторический материализм К. Маркса – новый этап в развитии западноевропейского историзма. Если Гегель, полагая, что материя лишь разнообразится в пространстве, сужал применение принципа историзма до анализа духовных образований, то историзм Маркса охватывает сферы природы, общества и человеческого познания. Являясь продуктивным синтезом диалектического метода Гегеля и современной ему исторической науки, историзм Маркса соотносит исторический прогресс с развитием материальных основ жизни общества, развитием общественных производительных сил. Полемически заостряя значение принципа историзма в научном познании, Маркс утверждал, что существует «единственная подлинная наука о человеке» – история, история природы и история деятельности людей, тесно связанные между собою. Рассмотрение предмета в его самодвижении и развитии, а также в диалектической связи с другими явлениями способно, по мысли Маркса, обеспечить объективность и всесторонний характер научного исследования. Маркс существенно углубляет гегелевское диалектическое понимание источника развития как единства и борьбы противоположностей. В отличие от гегелевской идеи примирения противоречий в основании, он выдвигает тезис о наличии таких типов противоположностей, борьба которых с неизбежностью приводит к качественному преобразованию породившей их основы. Опираясь на работы французских историков эпохи Реставрации, Маркс проанализировал антагонистические противоречия современного ему капитализма и выдвинул идею классовой борьбы как движущей силы развития общества.

В обстановке усиления антиметафизического тонуса западноевропейской философии второй половины XIX в. принцип историзма трансформировался в духе позитивистской исследовательской программы. Историки, подобно естествоиспытателям, стремились освободиться от «ненужной подпорки» метафизического «духа» и опереться на исторические факты как на фундамент «позитивной» исторической науки. Аналогом естественно-научных «фактов наблюдения» в истории становятся исторические тексты, документальные свидетельства о жизни людей. Формирование истории как научной дисциплины связано с реабилитацией случайного в историческом развитии – знак глубоких антиметафизических преобразований в истории европейской мысли. Антиметафизическая направленность позитивистски ориентированного историзма реализовалась в «критике исторических источников» как средстве очищения от метафизических предрассудков и достижения объективности исторического знания.

В постгегелевском самосознании европейской культуры, где духовное начало рассматривалось как воплощение человеческой деятельности («дух времени», «дух народа», «воля», «труд», «дух евро-

пейской культуры»), историзм характеризует установку на изучение процесса изменения культуры как способа человеческого бытия. Процесс исторического познания у Дильтея предстает как понимающее переживание человеком тотальности исторического опыта, «континуальности знания и действия». Поэтому основанием исторического метода у него становится описательная психология, положенная в основу интуитивистской герменевтики. Задача исторического метода – понимание целостной жизненной активности, жизненной практики. Важным средством достижения этой цели он считает представление исторической последовательности великих метафизических систем прошлого как воплощенных объективаций человеческих переживаний жизни. Дильтеевская критика исторического разума направлена против схематизирующего рационализма абстрактного гносеологического субъекта, оторванного от контекста исследовательской практики. Однако культурно-историческая нагруженность историзма чревата опасностью релятивизации человеческих ценностей, нигилизмом, гипостазированием субъективных оценок, на что справедливо указывал Ф. Ницше.

«Понимающую» традицию в развитии принципа историзма наследовал М. Вебер. Но в отличие от Дильтея, основоположник «понимающей социологии» полагал, что задачей историка является не осмысление человеческих переживаний, а рациональная реконструкция смысла человеческих действий в научных понятиях. Психологическую нагруженность дильтеевского историзма Вебер считал главным препятствием его превращения в общезначимый научный метод. Убежденный в том, что поведение людей мотивировано не столько всеобщими абстрактными ценностями (Г. Риккерт, В. Виндельбанд), сколько «интересом эпохи», Вебер сосредоточил главное внимание на разработке социологического метода реконструкции человеческих мотиваций и их связи с последующими результатами человеческих действий.

Концепции циклического развития цивилизаций (О. Шпенглер, А. Тойнби), бросающие вызов линейному прогрессизму новоевропейского историзма, отражали представления о ценности социально-культурного многообразия и отвергали глобальную схему исторического процесса как недопустимую универсализацию опыта Западной Европы.

Современный историзм, обогащенный представлениями о ценности цивилизационного опыта незападных культур, бросает вызов представлениям о «конце истории» (Ф. Фукуяма), понятом как завершение исторической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии в качестве «всечеловеческой» формы политического устройства. Основанные на представлении о неравновесном, стохастическом характере социальной динамики современные версии историзма противостоят и упрощенному («плоскому») детерминизму в понимании взаимосвязи социальных явлений, вере в «железные законы исторической необходимости», оправдывавшей тоталитарную практику фашистских и коммунистических режимов (критика историцизма Поппером).

М. А. Кукарцева

Историзм – философский принцип, требующий рассматривать любое явление в его возникновении, развитии и изменении. Историзм возможен в политике, искусстве, философии, архитектуре, литературе и пр. Как универсальный принцип историзм сформировался на рубеже XVIII–XIX вв. на основе учения о трансцендентальной субъективности в немецком идеализме. Центр философских размышлений переместился от анализа способа бытия объекта к рассмотрению способа бытия исторически развивающегося субъекта, в результате чего была создана онтология, основанная на историческом развитии духовной культуры. Классический историзм как особый стиль мышления распространялся в основном на область всеобщей истории. Его главными чертами являются сконцентрированность на категории развития (прогресса), интерес к исторической перспективе, «финалистский детерминизм; идея провиденциальной необходимости; оправдание зла, несправедливости и насилия как орудий прогресса в истории; толкование настоящего как полной истины прошлого»[2].

В середине XIX в. историзм стал пониматься как историзирование всего существующего, т.е. рассмотрение действительности под историческим углом зрения. Для К. Маркса историзмом было требование последовательно рассматривать предмет в развитии, противопоставляя друг другу разные этапы и уровни исторического движения. В. Дильтей психологизировал историзм, утверждая, что историческое познание основано на «внутреннем опыте» субъекта познания. Он ввел понятие критики исторического разума, в компетенции которого находилось исследование (как «вчувствование» и переживание) «духовных миров» разнообразных уникальных культурно-исторических образований. С неокантианских позиций историзм обосновывался В. Виндельбандом и Г. Риккертом, выдвинувшим идею идиографического метода.

Особого взлета историзм достиг в немецкой исторической науке и в исторической культурологии. Л. фон Ранке рассматривал историзм как умение узнавать, постигать и излагать факты такими, какими они являются «на самом деле», т.е. какими их сотворила божественная мысль. Присоединяясь к Ранке, Ф. Мейнекке трактовал историзм как «историческую религию», направленную против идей Просвещения, как предельную индивидуализацию исторических событий и субъектов (наций, эпох). В исторической культурологии М. Вебера, Г. Зиммеля, Э. Кассирера, Э. Трельча историзм есть способ мышления в категориях истории, т.е. принципиальное объяснение реальности, познания и мышления как продуктов исторического развития, что необходимо для установления культурной идентичности исторических субъектов. К. Манхейм отмечал, что «историзм есть… принцип, кото-

[2] Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас. М., 1991. С. 353.

рый не только скрытно от нас организует всю работу в области гуманитарных наук, но и пронизывает обыденную жизнь»[3].

В неогегельянском ключе историзм обосновывался Б. Кроче и Р.Д. Коллингвудом. Кроче предложил концепцию «абсолютного историзма» как совпадение истории, жизни и реальности в бесконечном саморазвивающемся духе. По Кроче, любая реальность есть история, а любое знание есть знание историческое. Коллингвуд обосновал идею исторического сознания как свойства любого сознания вообще.

В 1920-х гг. историзм столкнулся с рядом трудностей, что привело его к кризису. Историзм развивался, во-первых, как оппозиция позитивистским идеалам науки и познания, предлагающим в социально-гуманитарных науках следовать методологическим стандартам естествознания, в частности методу объяснения индивидуальных фактов через охватывающие законы. Отрицание историзмом наличия таких законов в истории, акцент на конкретном и уникальном привели к обвинению историзма в контекстуализме, перспективизме, в конечном итоге в релятивизме. В-вторых, критики историзма опирались на идеи Ф. Ницше, считавшего историзм проявлением болезни человека, разрушающей основы науки. Кризис историзма усматривали также в нерешенных проблемах критериев объективности исторического знания и общественной значимости научного познания вообще, в устаревшей методологии исторического познания, в возникновении социально-экономической истории вместо истории отдельных событий, в кризисе западной цивилизации в целом.

Дебаты об эпистемологической роли историзма разгорелись в середине XX в. в связи с обсуждением проблемы статуса исторического знания: наука это или искусство, какова роль охватывающих законов в историческом познании? У. Дрей, например, рассматривал историзм как постулат существования только исторически конкретного, отрицающего общие законы. Ключевым стало положение М. Манделбаума о том, что историзм есть «вера в то, что сущность любого явления и адекватное понимание его ценности могут быть получены через рассмотрение его в терминах места, которое оно заняло, и роли, которую оно сыграло в процессе развития»[4]. К. Поппер усматривал первые мотивы историзма в «Трудах и днях» Гесиода, основателем историзма считал Гераклита, первым великим теоретиком – Платона.

Возрождение историзма как мышления в категориях истории, призванное восполнить в настоящем утрату традиций и норм прошлого, наблюдается в трудах неомарксистов – Г. Лукача, А. Грамши и др., немецких историков Й. Рюзена, Т. Ниппердая, Г. Люббе. Рюзен считает, что историзм осуществляет в современном мире важную функцию формирования культурной идентичности в темпоральной перспективе, устанавливая связи между прошлым, настоящим и буду-

[3] Mannheim K. Historismus // Mannheim K. Wissenssoziologie. Auswahl aus dem Werk // Neuwied, 1970. S. 246.

[4] Mandelbaum M. History, Man and Reason. Baltimore, 1971. P. 124.

щим, и становится средством кросс-культурной ориентации. М. Хайдеггер, Х. Ортега-и-Гассет и др. предлагают «экзистенциальный» вид историзма, фиксирующий уникальность события и проблематизирующий идею логики и закономерности в истории.

Постмодернизм понимает себя как радикальный историзм. М. Фуко, например, предложил схему «общей истории», основанной на базовых дискурсивных практиках, программирующих действия людей в прошлом и в настоящем. Ф. Анкерсмит считает, что постмодернизм и историзм схожи в том, что отрицают метанарративы; множат исторические интерпретации, осуществляют фрагментаризацию (индивидуализацию) изображаемого и отрицают единство прошлого. Различие состоит в понимании субъекта и объекта исторического познания. В историзме субъект познания возвышается над прошлым и выключен из настоящего, он трансисторичен. Объектом познания в историзме становится любой физический предмет, находящийся вне человека и служащий объективизации прошлого, понимаемого как линейный процесс. Историзм поэтому представляет прошлое отдельно от него самого. Постмодернизм – в единстве прошлого и настоящего, так как субъект исторического познания находится здесь внутри прошлого и понимает его как часть нашей идентичности. Это достигается выбором объекта исторического познания. Объектом являются образования, обладающие способностями одновременно быть внутри и вне человека, их можно обнаружить в истории ментальностей, в микроистории. Теоретики нового постмодернистского историзма, например, М. Левинсон, Д. Пиз, Х. Даброу и Р. Страйер и др. считают, что он имеет целью сконцентрировать исследование истории на фактографии, где факты должны излагаться в нарративе и их конфигурация определяется воображением историка. Новый историзм считает необходимым интеграцию истории и литературы, так как полагает, что литературные тексты активно участвуют в конструировании культурно-исторических систем, а не являются их продуктами.

ЛИТЕРАТУРА

Дильтей В. Введение в науки о духе. М., 2000; Риккерт Г. Философия истории. СПб., 1908; Кареев Н.И. Историка (Теория исторического знания). Пг., 1916; Трельч Э. Историзм и его проблемы. М., 1994; Коллингвуд Р.Д. Идея истории. Автобиография. М., 1980; Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991; Тойнби А. Постижение истории. М., 1991; Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993; Хайек Ф. Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблении разумом. М., 2003; Барг М.А. Эпохи и идеи: становление историзма. М., 1987; Арон Р. Избранное. Введение в философию истории. М., 2000; Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе 19 века. Екатеринбург, 2002; Данто А. Аналитическая философия истории. М., 2002; Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. М., 2003; Рикёр П. Время и рассказ. М.; СПб., 1998; Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков. М., 2003; Копосов Н.Е. Как думают историки. М., 2001; Лооне Э.Н. Современная философия истории. Таллин, 1980; Философия и методология истории. М., 1977; Философия истории. Антология. М., 1994; Aron R. La philosophie critique de l'histoire. P., 1964; Mandelbaum M. The Anatomy of Historical Knowledge. Baltimore, 1977; Carr E.H. What Is History. L., 1986; Dray W. Philosophy of History. Englewood Cliffs, 1993.

Ценностное сознание и социальная теория познания Д. Блура[1]

Ю. С. МОРКИНА

1. Введение

Цель данной статьи состоит в анализе роли ценностей в структуре эпистемологических исследований. В качестве материала мы выбираем те дискурсы, которые развертывает английский философ и социолог науки, лидер Эдинбургской школы социальной теории познания Д. Блур в своих книгах: «Знание и социальная образность» и «Витгенштейн: правила и институты»[2]. Эти работы Блура (равно как труды других философов, на которые он ссылается в своих исследованиях) мы будем рассматривать с ценностной точки зрения. Смысл такого видения в том, чтобы проследить на данном примере существенную роль ценностного сознания в формировании систем знания, прежде всего философских и эпистемологических. И.Т. Касавин определил ценность как «экзистенциальный аспект социально принятого регулятивного концепта, который формулируется в текстах, пронизывает действия и коммуникацию и существует в форме идеалов, норм, интенций, целей и других диспозиций че-

[1] Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 0503-03247а.

[2] Bloor D. Knowledge and Social Imagery. L., 1976. Bloor D. Wittgenstein, Rules and Institutions. L., 1997.

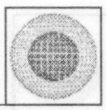
ловеческого поведения»[3]. Из этого определения видна связь ценности с социальным аспектом существования человека. Ценность – это аспект *социально принятого* концепта. Но это также и «экзистенциальный аспект», всегда тесно связанный со смыслом существования индивида. Мы считаем, что философ как индивид, не лишенный экзистенциального аспекта своего существования, необходимо является носителем и выразителем определенных ценностей независимо от той рефлексивной позиции, которую он занимает по отношению к ценностям различных культур, и от выполняемой им функции организатора диалога между культурами, диалога, в котором ценности каждой культуры становятся предметом рефлексии. Они явно или скрыто лежат в основе любого дискурса. Под любым столкновением подходов, методов, эпистемологических или онтологических взглядов можно увидеть столкновение ценностей.

2. Романтизм и Просвещение

Первым примером ценностной нагруженности философских позиций может служить противостояние позиций, которым Блур дает имена «просвещенческой» и «романтической» идеологий. И хотя противостоящие идеологии во многом являются идеальными моделями, сконструированными им самим, Блур придает им статус общих схем, нашедших отражение во взглядах многих реальных мыслителей и деятелей. Рассмотрим эти модели. Идеология, согласно Блуру, представляет собой упрощенную картину общества. Кроме того, он определяет идеологии как «типичные группировки идей»[4], устойчиво коннотирующих друг с другом при их циркуляции в человеческом обществе. Среди черт, выделяемых им как типичные для идеологии Просвещения, – индивидуализм и «атомизм». Коллективное целое в просвещенческой мысли рассматривается как состоящее из индивидов-единиц. Природа индивидов, их сущность при этом мыслится неизменной, независимой от их объединения в общества и не обусловленной этими обществами. Индивидуализм здесь, как считает Блур, тесно связан со «статическим подходом к мышлению». Мыслитель Просвещения представляет себе все частное и преходящее как подчиненное вечным (вневременным) и универсальным законам. Природа человека, рациональность, моральность рассматриваются как неизменные качества, которые можно абстрагировать от конкретных условий без ущерба для понимания сущности. «Абстрактный дедуктивизм» (термин Блура), присущий Просвещению, проявляется в том, что частные социальные феномены или поведение индивидов выво-

[3] Kasavin Ilya. Comments to: «Philosophers Should Be Able to Influence Value Systems», by Eui-Soo Kim, Korea // Science and Society. Доклады международного симпозиума. М., 2005. С. 78.

[4] Bloor D. Knowledge and Social Imagery. L., 1976. P. 64.



дятся из общих абстрактных принципов (морали, разумного принципа, научного закона). Поскольку просвещенческая мысль связана с реформами, образованием, изменениями, она тяготеет к прескрипции (предписанию) и морализации. Подчеркивание ценности разума, подсчета, простоты и интеллигибельности – центральные темы Просвещения, по Блуру[5]. Черты данной идеологии, на которые он обращает внимание, взятые вместе, можно рассматривать как особый «стиль мышления». Но важно, что сама предрасположенность к просвещенческому стилю мысли вытекает из высокой ценности, придаваемой определенным концептам, – это высокая оценка отдельной человеческой личности (берущая начало в христианском мировоззрении), а также более высокая оценка всеобщего и неизменного по сравнению с частным и преходящим (восходящая еще к Платону). Из взаимодействия этих ценностей вытекает тенденция рассматривать природу индивида как неизменную. В самом деле, если индивид ценен и если также ценна неизменность, то неизбежно искушение приписать неизменность индивиду, тем самым еще более поднимая его онтологический статус, и признать его действия исходящими из вечных неизменных законов.

Взгляды Романтизма Блур описывает как реакцию на идеи Просвещения вообще и на Французскую революцию и индустриализацию, которые были проникнуты этими идеями. Отсюда «методологический стиль романтической мысли» отличается чертами, прямо противоположными признакам просвещенческого стиля, – это признание свойств общества, несводимых к свойствам составляющих его индивидов (наличия общественного духа, традиций, стиля, национальных характеристик), а также понимание индивида исключительно в общественном контексте, как всецело зависимого от общества, к которому он принадлежит. Чувство «романтического стиля» ведет к убеждению, что частное и историческое значит гораздо больше, чем универсальное и вневременное. Понятие универсальных принципов разума заменяется понятием о локальных, культурно обусловленных вариациях принципов рациональности. Романтизм отличается убеждением в исторической обусловленности всех продуктов творческой мысли. Индивидуальный случай становится для мыслителей, разделяющих романтическую позицию, более реальным, чем абстрактные принципы. И, наконец, в противоположность прескриптивной и моралистичной мысли Просвещения, которая отделяет должное от сущего, романтическая мысль сплавляет дескриптивные и прескриптивные компоненты – ценности начинают видеться как имманентные фактам, «смешанные и объединенные» с ними[6].

А. Жуссэн образно описывает Романтизм как «реакцию жизни против мысли» в противоположность Классицизму, являющемуся

[5] См.: Ibid. P. 61.
[6] См.: Ibid. P. 56.

«реакцией мысли против жизни»[7]. Сущность Классицизма он видит в подчинении воли и чувства разуму с его предрасположенностью рассматривать все через образование общих понятий, а сущность Романтизма – в стремлении вывести волю, чувства, интуицию на первый план, в том числе и эпистемологически[8]. Таким образом, в романтической мысли устанавливается приоритет частного перед общим, общественного целого и мудрости общества перед разумом индивида, сложности человеческой природы перед простотой абстрактных понятий. Утверждается историчность и локальность человеческих «свобод и ограничений», невозможность подвести их под абстрактные правила[9]. В основе такого изменения взглядов лежит изменение ценностной ориентации. Данный поворот во многом исходит из просвещенческих положений, только с отрицательным знаком. Например, трудно понять, почему из приоритета частного и локального (отдельных обществ, культур) в романтической мысли следует приоритет общества перед индивидом, который, на первый взгляд, является воплощением всего «частного и локального». Но здесь следует вспомнить, что ранее индивид уже наделялся высокой ценностью и что само понятие индивида коннотировало в просвещенческой мысли с неизменностью и всецелым подчинением разуму. Субстратом изменяемости и текучести Романтизм видел общество. Если бы подчинение разуму и общим понятиям ранее связывалось бы с понятием общества, а индивид мыслился бы субстратом воли, страстей и инстинктов, чем-то всецело преходящим, имеющим размытые границы, то можно предположить, что Романтизм сделал бы индивида основной ценностью и провозгласил бы его приоритет перед неизменным рациональным обществом.

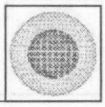
Типичную особенность мыслителей Просвещения Блур видит в стремлении проводить дистинкции: ценностей и фактов, индивидуального разума и общества, прав и традиций, рационального и реального, истины и мнения, публичного и приватного. Типичная же особенность романтической мысли состоит в том, что понятия объединяются и сплавляются. Романтическому стилю мышления присуща скорее синтетичность, чем аналитичность. Рассматривая этот вопрос диалектически, Блур указывает на причины таких особенностей: просвещенческий стиль на уровне нерефлексивного видения растворяет разнородность общества в «атомизированной однородности», которая на уровне рефлексии легче становится объектом дистинкций[10]. Романтический же стиль на практике нерефлексивно подразумевает (takes for granted) структурное разделение общества, и мысли здесь уже нечего разграничивать. На наш взгляд, этот анализ еще раз под-

[7] Жуссэн А. Романтизм и философия Бергсона // Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. Мн., 1999. С. 1116, 1118.

[8] См.: Там же. С. 1106–1107.

[9] См.: Bloor D. Knowledge and Social Imagery. P. 59.

[10] См.: Ibid. P. 59.



утверждает мысль о преемственности идеологий, об укорененности предпосылок Романтизма в идеологии Просвещения. Эти две идеологии, считает Блур, послужили «архетипами» или «моделями» для двух философских систем взглядов на природу научного познания.

Отметим, что научность познания (что бы ни подразумевалось под этим словом) является одной из базовых ценностей европейской культуры. Вообще, во взаимодействии ценностно нагруженных понятий часто можно обнаружить закономерность, в силу которой широко распространена атрибуция (приписывание) объекту или концепту, наделенному высокой ценностью, качеств, также наделяемых высокой ценностью (данное явление можно назвать «присвоением»). Исходя из этого можно предположить, что просвещенческий взгляд должен приписывать научность оперированию общими понятиями и всеобщность науке. В соответствии же с романтическим идеалом право на научную ценность приобретают локальные исследования, описания частных случаев, идеографические науки занимают прочное место в общей картине познания, открытие всеобщих законов перестает быть однозначным идеалом научности. Колебание между двумя идеалами научности является одним из источников современных разногласий относительно статуса качественных исследований в социальных науках[11].

3. Стереотипы и ценности

Блур подчеркивает совпадение философских представлений о научном познании К. Поппера с просвещенческим идеалом и Т. Куна с романтическим.

Стиль и тон философии Поппера, считает Блур, обусловлен его ключевой метафорой – картиной дарвиновской борьбы. Чтобы ускорить борьбу за выживание и элиминацию слабых теорий, Поппер предписывает ученым идти на интеллектуальный риск. Идеальная наука, по Попперу, не подчинена ни авторитету разума, ни авторитету опыта, поскольку ни тот, ни другой недостаточно надежны, чтобы служить отправной точкой для продвижения к истине[12]. Ничье знание не имеет привилегии перед проверкой. Прогресс науки должен быть обеспечен путем критики существующих научных теорий.

Концепция Куна не насаждает отрицания научных авторитетов, а, напротив, выделяет полезную функцию догмы в науке. Процесс научного образования, по Куну, характеризуется авторитарностью. Студенты и ученые работают (в периоды «нормальной науки») с уже существующей парадигмой и подчинены ее авторитету. Подход Куна не

[11] См.: Трубина Е. О нарративах, голосах и локальном знании // Знание и общество. Доклады международного симпозиума. М., 2005. С. 56–67.

[12] См.: Bloor D. Knowledge and Social Imagery. P. 49.

подразумевает, что все знание о науке может быть эксплицитным и ясным. Наука – набор социальных практик, а вовсе не деятельность с эксплицитной методологией. Наука – образец поведения, и ее обоснование не покоится ни на каких вербальных заявлениях или универсальных стандартах. Парадигма функционирует как метафизическая система, детерминирующая основоположения научных теорий, их онтологию, экспериментальные факты[13]. Смена парадигмы сопровождается сменой языка и значений. Отсюда куновская несоизмеримость парадигм.

Индивидуализм и атомизм Поппера, согласно Блуру, проявляется в рассмотрении науки как набора изолированных теорий, индивидуальных догадок. Логическая и методологическая характеристика этих единиц (теорий, догадок) остается той же во всех случаях и на всех стадиях научного исследования. Статичность подхода Поппера, «абстрактный дедуктивизм», проявляется в утверждении вневременных и универсальных принципов правильного научного мышления, в оценке индивидуальных случаев путем их отнесения к абстрактным канонам рациональности и вневременному критерию демаркации.

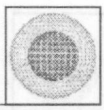
Романтизм Куна находит свое выражение в том, что частная научная идея всегда мыслится как укорененная в целостной исследовательской традиции. В развитии теорий Кун не ищет абстрактных принципов или процедур. Исследовательские традиции для него изменяются исторически.

Блур считает, что показал структурное сходство между двумя «социальными и политическими стереотипами» (просвещенческой и романтической идеологиями), с одной стороны, и двумя позициями в философии науки, с другой[14]. Философское знание действительно иногда может выглядеть как подчиненное социополитическим стереотипам. В.Н. Порус отмечает, что идеальный образ науки Поппера тесно связан с представлениями философа об общественном идеале. Рациональность для Поппера – условие не только научного познания, она положена в основание «открытого общества», для которого Большая Наука выступает как идеальный образец[15]. Но все же во многом *и политические стереотипы, и мысли философов выражают одни и те же ценности, развивающиеся в данной культуре и вытекающие из общей культурной ситуации* (частью которой, наряду с политическим, является положение в науке и философии). Приоритет социополитических идеологий перед философскими картинами мира и науки неочевиден. Относить выработку философских взглядов исключительно по ведомству таких «идеологий», на наш взгляд, означает некорректно упрощать общую картину ситуации. И в дальнейшем исследовании Блур показывает, что те же идеологии (стереотипы) – про-

[13] См.: Никифоров А.Л. Философия науки: История и теория. М, 2006. С. 83.

[14] См.: Bloor D. Knowledge and Social Imagery. P. 57.

[15] См.: Порус В.Н. Рациональность. Наука. Культура. М., 2002. С. 188.



свещенческая и романтическая – противостояли друг другу на протяжении двух столетий в различных культурных сферах: общественной, моральной и экономической теориях, юриспруденции и законодательстве. Иными словами, они эксплицировались во всех сферах мысли. Но и общественные события, происходившие в это время, совершались под влиянием мыслей и идеалов действующих лиц. Так, Блур отмечает, что революционные идеи, воплотившиеся во Французской революции 1789 г., были индивидуалистичны и рационалистичны (т.е. относились к просвещенческой идеологии). Примером послужила отмена после революции институциональных гильдий и корпораций, посредствующих между группами и индивидами. Структуры, артикулирующие социальное целое, были тогда разбиты и атомизированы. Превалировали частные интересы. Против этих «тревожных и кровавых» тенденций выступали реакционные мыслители Британии, Франции и Германии, в том числе Эдмунд Бёрк, отстаивающий идеал стабильного общества, основанного на традиции (prejudice), а не на разуме[16].

Итак, невозможно указать конкретное, «точечное» происхождение идеологии, или «социального стереотипа» (это словосочетание Блур иногда использует как синоним идеологии), в одной какой-либо области культуры. Но, появившись, стереотип захватывает самые разные культурные области, многократно отражаясь в них, как в зеркалах, поставленных друг против друга. Взаимовлияние не является при этом ни односторонним, ни одноканальным.

Исходя из вышесказанного, мы придерживаемся той точки зрения, что «теории познания являются рефлексиями социальных идеологий» лишь в той мере, в которой «идеологические оппозиции пронизывают всю нашу культуру»[17].

4. Дискурс: Дж. С. Милль и Г. Фреге

Примером ценностной нагруженности философской аргументации и видения может послужить критика Фреге миллевского эмпирицистского подхода к математическому знанию, также приводимая Блуром в его книге «Знание и социальная образность»[18]. В соответствии с эмпирицистским подходом истинное знание происходит из опыта. Математика представляет собой такое знание. Следовательно, математическое знание имеет в своей основе опыт. Принудительный характер математических действий и выводов, по Миллю, объясняется необходимым характером нашего внешнего опыта[19]. При этом для Милля

[16] См.: Burke E. Reflections in the Revolution in France // The Works of the Right Honourable Edmund Burke. V. 5. L., 1790.

[17] См.: Bloor D. Knowledge and Social Imagery. P. 65.

[18] См.: Ibid. P. 82–86.

[19] См.: Милль Дж.С. Система логики. Т. 1–2. М., 1914.

характерен психологический подход к математике как к набору навыков, убеждений (beliefs) и мыслительных процессов, которые индивид усваивает в процессе обучения. Фреге восстает против такого взгляда[20].

Миллевское рассмотрение математики содержит два допущения:

1) математические убеждения и мыслительные процессы являются ментальными событиями;

2) они соответствуют физическим ситуациям.

Фреге соответственно критикует:

1) взгляд на числа как на субъективные или ментальные события;

2) взгляд на числа как на свойства физических объектов[21].

Для Фреге математика резко отличается от других наук (психологии, естественных наук) особой тонкостью структуры и большей чистотой. По выражению Блура, работа Фреге «погружена в риторику чистоты и опасности и полна образами вторжения, проникновения, умаления, презрения и угрозы крушения». Фреге «подчеркивает контраст между неопределенным, туманным, путаным, всем непрерывно изменяющимся и тем, что является чистым, прекрасным, упорядоченным, постоянным и творческим». «Это истинная картина знания под угрозой»[22]. В описании Блуром взглядов Фреге прослеживается влияние антропологии М. Дуглас. Согласно Дуглас, нечистота, грязь есть остаточная категория схематизации мира, «побочный продукт систематического упорядочивания и классификации материи»[23], то, что не укладывается в упорядочивающие схемы. Блур подчеркивает, что для Фреге «нечистым» является «размытый» и изменяющийся мир индивидуального сознания, в отличие от «неизменной и определенной» реальности математических законов, сакрализуемой философом.

Психологическая реальность для Фреге не может претендовать на роль субстрата математического знания, отличающегося особой чистотой, неизменностью, упорядоченностью. Сама психологическая реальность не обнаруживает таких качеств, которым в данном случае придается ценность. Состояния сознания неопределенны, различны для разных людей, в то время как математическое знание, содержащееся в состояниях сознания, по Фреге, определенно и фиксированно, едино для всех субъектов. В своем исследовании, посвященном «альтернативным математикам» и «социальным переговорам» (negotiation) в научной мысли, Блур показывает, что это не так и что математические понятия и смысл, придаваемый им, культурозависимы. В зависимости от общего культурно-исторического контекста варьируются следующие параметры:

1) когнитивные стили математик;

2) ассоциации, отношения, использования, аналогии и метафизические импликации, присущие математикам;

---

[20] См.: Фреге Г. Основоположения арифметики. Томск, 2000.

[21] См.: Bloor D. Knowledge and Social Imagery. P. 82.

[22] Ibid. P. 83.

[23] Дуглас М. Чистота и опасность. М., 2000. С. 65.

3) значения, присущие вычислениям и символическим манипуляциям;

4) строгость и тип рассуждения, которое ведет к заключению в математике.

Но вернемся к Фреге. С психологической точки зрения, считает он, разные люди не могут иметь в уме одну и ту же идею, поскольку последняя представляет собой состояние единичного сознания. Это ведет к умножению идей (например, идеи числа «два», представляющей собой в сознании разных людей разные идеи). Фреге понимает, что число, чтобы оставаться самотождественным, должно представлять собой не психологическую сущность в человеческих умах, но независимый объект познания. Такую сущностную независимость числа он и постулирует.

Несмотря на то, что аргументация Фреге кажется сугубо рациональной, она имеет ценностные предпосылки. Например, понятию числа априорно приписывается такое качество, как единство. Но из рассуждения о различии состояний частных сознаний возможно вывести как «непсихологическую» сущность числа, так и его множественную сущность (в первом случае среди посылок должно фигурировать единство понятия числа, во втором – его психологическая природа). Фреге выбирает единство понятия числа и получает первый вариант вывода. Но если бы частные состояния сознания конкретных людей имели более высокий ценностный статус, чем единое и неизменное понятие, то осуществился бы второй вариант рассуждения. Здесь мы также сталкиваемся с явлением «присвоения».

Кроме психологического и материального миров, Фреге утверждает существование мира объектов разума, концептов. Он понимает «объективное» как «независимое от наших ощущений (sensation) и ментальных образов, построенных из них, но не независимое от нашего разума»[24]. Если посмотреть на данное определение с точки зрения ценностного подхода, то очевиден приоритет «чистого разума» над физической эмпирией и психологическим внутренним миром. Из взаимодействия таких ценностей, как разум и «объективное», происходит представление об объективности разума (ср. «третий мир» Поппера[25]).

Частое явление для философской мысли, помимо «присвоения» ценностей, – их онтологизация. Онтологизация ценности выражается в приписывании объекту, обладающему высокой ценностью, более высокого онтологического статуса, большей степени бытия по сравнению с объектами или понятиями, не обладающими таковой. Так, постулирование в философской системе существования «третьего мира» выражает наличие среди предпосылок данной системы высокой ценности «всеобщих абстрактных понятий». Это видно при ее сравне-

[24] Bloor D. Knowledge and Social Imagery. P. 85.

[25] См.: Popper K.R. Objective Knowledge. An Evolutionary Approach. Oxford, 1979. P. 439–440.

нии с системой, например, эмпиризма, в основе которой лежит ценностный приоритет чувственного опыта. Но постулирование «третьего мира» означает и определенную невозможность отказаться от признания значимости двух первых миров, физической реальности и психологических состояний. Иначе «третий мир» предстал бы первым и единственным. Онтологизация, однако, представляет собой частный случай «присвоения», ибо обладание бытием является одним из самых высокоценимых качеств в мировой культуре.

Понять философа, таким образом, во многом означает выявить ценности, руководящие и защищаемые им.

5. Д. Блур. «Социальное»

Общим пафосом рассуждений Блура об «альтернативных математиках» и «социальных переговорах» является необходимость при определении понятия знания отвлекаться от узкокультурных рамок, признавать право на знание за представителями иных культур, видеть субъектов знания в древнегреческих математиках, в аборигенах племени азанде.

В соответствии с романтическим идеалом, описанным Блуром, общество наделено приоритетом над индивидуальным субъектом. Приоритет общественного и коллективного над индивидуальным еще более выражен в поздней книге Блура «Витгенштейн: правила и институты».

Одной из основных культурных ценностей (не только для Блура) является понятие знания. Как социолог Блур мог бы сказать: следует изучать не знание, а убеждения. Но он говорит: следует *определять* знание *как* убеждения и в таком качестве изучать его. Конкретные убеждения, которых придерживаются в действительной жизни реальные люди (как ценные для Блура), получают у него статус знания. Данный статус выступает здесь как качество, традиционно наделяемое ценностью в европейской культуре. Понятие знания, в свою очередь, переопределяется Блуром как такое, которое включает в себя любые убеждения. Дуализм Блура, как это видно из книги «Знание и социальная образность», заключается в том, что каузальное объяснение знания он стремится утвердить на двух основаниях – материальном мире, независимо от нас «устроенном так или иначе», и «социальном факторе». Само понимание «социального фактора» не имеет в данной книге единого содержания. Блур предоставляет ряд моделей, объединенных только именем «социальные»:

1) модель «общества как архетипа» связана с утверждением, что человеческие представления об устройстве общества имеют «естественное сродство» с идеями философов о происхождении и развитии знания и потому неизбежно проявляются в философских концепциях;

2) в конвенциональной модели математического знания конвенция обеспечивает социально поддерживаемый выбор из возможных математических операций;

3) третья модель, близкая конвенциональной, фиксирует присутствие в основании знания институционализированных посылок, принимаемых без доказательства членами общества и не изменяющихся при столкновении с логическими противоречиями[26].

Для Блура все эти построения, во-первых, показывают наличие «социального компонента» в знании. Во-вторых, они объясняют принудительность знания его «общественным» и «надличностным» характером. В них социальный характер знания трактуется как залог его объективности. Объективность состоит именно в коллективности и, следовательно, независимости от сознания и воли отдельного индивида. При этом для осуществления первой («архетипической») модели знания необходимо целостное, определенным образом организованное общество, порождающее в индивидах представление о своей структуре в виде упрощенных «идеологий». Для осуществления же второй (конвенциональной) модели достаточно набора индивидов, входящих в общение по поводу концептуализации реальности и приходящих к некоторому общему соглашению (что, конечно, не исключает их фактической принадлежности к структурированному реальному историческому обществу). Для осуществления третьей модели (институционализированных предпосылок мышления) также необходимо реальное историческое общество, но, в отличие от первой (которая социально объясняет *форму* знания), здесь, как и во второй, мы имеем дело с социальным определением *содержания* знания. Институт колдовства у азанде, определяющий их представления о колдунах, законы Ньютона, принятые западными учеными, может быть, и можно представить как архетипическое выражение общественного устройства, но Блур этого не делает. Для него достаточно показать наличие в знании социального компонента вообще. В данном случае социальный компонент заключается в институционализации. Для Блура также важно продемонстрировать, что формальные законы логики менее принудительны, чем устоявшийся социальный институт.

Таким образом, модели, объединяемые Блуром под именем «социальные», качественно разнородны. В то же время их общей чертой является взаимодействие таких ценностей, как «объективное» (базовая ценность всей науки) и «социальное» как «надличностное» («романтическая» ценность Блура, противопоставленная ценности индивидуального в мысли Просвещения).

Рассмотрим теперь роль положения об объективности социального. Признавая социальный компонент знания объективным фактором, Блур принимает определение объективного, данное Фреге, как «независимого от наших ощущений и ментальных образов, построенных из них, но не независимого от нашего разума»[27]. Для Блура объективность заключается также в независимости от *индивидуального* сознания, но не от коллективного. Блур делает вид, что он *исходит* из дан-

[26] См.: Bloor D. Knowledge and Social Imagery. P. 123–130.
[27] Ibid. P. 85.

ного определения объективности, когда доказывает, что только социальное ему удовлетворяет. Он представляет дело так, как будто ищет объективное по Фреге и находит «социальное»[28]. Но на самом деле для Блура понятие социального (как имеющее ценность) с самого начала уже «присвоило» себе такое качество, как объективность. Социальное не может не быть объективным. Мысль философа начинает искать такое определение объективного, с тем чтобы иметь возможность легализовать результат этого «присвоения». И находит определение у Фреге.

Мысль об объективности институционального получила развитие в книге «Витгенштейн: правила и институты». Здесь Блур называет «идеализмом» свою точку зрения на социальные объекты как на конституируемые социальной реальностью, общественными практиками их применения (например, монета как объект, созданный социальным институтом денег). В данном случае термин «идеализм» означает признание объективности и реальности социальных объектов, их действительного существования. Здесь «группа людей привносит нечто в существование, просто думая и говоря об этом», и поэтому «уместна идеалистическая теория»[29]. Таким образом, феномен социального конструирования рассматривается Блуром в терминах объективности.

Тот же феномен можно было бы рассматривать в терминах субъективности, признавая реальность «коллективного субъекта», но тогда Блуру было бы труднее примирить ценностную значимость понятия объективного с личной значимостью социального. «Вещи, имеющие статус социальных институтов… тесно связаны с объективностью»[30]. Переопределение ценностно значимых понятий так, чтобы они не противоречили друг другу и чтобы качества, наделяемые ценностью, всегда оставались за ценными объектами, представляет собой вариант участия в «социальных переговорах». При таких «переговорах», в соответствии с мыслью самого Блура, значение термина изменяется в ходе научного рассмотрения и зависит от целей того, кто дает определение. При этом «одна линия заключений входит в конфликт с другой, и дать выражение одной всегда означает сократить другую»[31].

6. Д. Блур. «Сталкивающиеся линии»

Примером «сталкивающихся линий» у самого Блура может служить столкновение социологической трактовки знания с «материалистической установкой». Блур не встает целиком на позицию социального конструктивизма: для него «социология знания предполагает

[28] «Мы имеем определение, но какова природа вещей, соответствующих ему?» (Ibid).

[29] Bloor D. Wittgenstein, Rules and Institutions. L., 1997. P. 29.

[30] Ibid. P. 86.

[31] Bloor D. Knowledge and Social Imagery. P. 130.

материализм и надежность чувственного опыта, и отступление от этого предположения недопустимо»[32]. Блур утверждает, что, учитывая поведение материального мира, исследователь не вступает в противоречие (interfere with) с принципами социологического объяснения[33].

Так, в главе «Чувственный опыт, материализм и истина»[34] рассмотрено значение для социологии науки «инсайта эмпиризма» о происхождении познания из чувственных данных.

Блур приводит распространенный социологический анализ ошибок чувственного восприятия и затем свою критику. Социолог науки не должен, по его мнению, концентрироваться на исследовании неверного восприятия, поскольку в таком случае он изучает не знание вообще, но только ошибочное знание. Это противоречило бы принципу симметрии, который вводится им наряду с другими принципами (каузальности, эквивалентности, рефлексивности[35]) и заключается в том, что «социологическое объяснение должно сводить истинное и ложное, рациональное или иррациональное знание к одному и тому же типу причин»[36]. Психологи, историки и социологи приводят примеры взаимодействия социальных факторов и чувственного восприятия. Эксперименты, разбираемые Блуром, показывают влияние предварительного знания, интересов и ожиданий на чувственное восприятие действительности. Выводы исследователей также подвержены влиянию предварительных ожиданий.

Так, Б. Барбер показал, что сопротивляемость новым идеям, теориям и подходам в научной среде обусловлена «закрытостью» ума уже существующими идеями[37]. Барбер утверждает, что нарушение учеными принципа «открытости ума» является постоянной особенностью науки. Среди причин этого он называет наличие теоретических и методологических обязательств ученых.

Мысль о том, что неверное восприятие в некотором смысле нормально, Блур считает ценной. Но для него невозможно допустить преобладание в социологии знания изучения ошибок восприятия. Такое преобладание противоречило бы принципам симметрии и эквивалентности, максимам, в соответствии с которыми следует апеллиро-

---

[32] Ibid. P. 29.

[33] См.: Ibid. P. 30–31.

[34] См.: Ibid. P. 20.

[35] Принцип каузальности заключается в том, что «социология знания должна заниматься причинным объяснением знания, хотя такое объяснение не исчерпывается социальными причинами»; «она должна объяснять все виды знания, оставаясь безразличной к его истинности или ложности, рациональности или иррациональности» – принцип эквивалентности; принцип рефлексивности заключается в том, что «социология знания должна применяться к себе самой так же, как и к другим системам знания» (Bloor D. Knowledge and Social Imagery. P. 4–5).

[36] Ibid. P. 5.

[37] См.: Barber B. Resistance by Scientists to Scientific Discovery // Science. 1961. V. 134.

вать к одному типу причин при каузальном объяснении всех типов знания, «как истинного, так и ложного». В случае социологических исследований неверного восприятия исследователь объясняет, апеллируя к социологическим причинам, только ложное знание. Блур уже протестовал против такой «несимметричности» объяснения. Апелляция к социальным факторам с целью объяснения исключительно ложных знаний дискредитирует социальные факторы с ценностной точки зрения (поскольку «ложность» и «ошибочность» являются для европейской культуры отрицательными ценностями). Авторы приводимых им экспериментов, однако, ничего не говорят об исключительно искажающем влиянии социальных факторов на восприятие. Они говорят просто о *влиянии*, а случаи с неверным восприятием приводят потому, что именно в них социальное влияние выделить гораздо легче. С влиянием на наше чувственное восприятие предварительных знаний, интересов и ожиданий мы сталкиваемся как в повседневной жизни, так и при восприятии показаний приборов в лаборатории. И если влияние этих факторов резко выделяется в случае с неверным восприятием, то логично предположить наличие данного влияния во всех случаях восприятия. Вот благоразумный и соответствующий «сильной программе» вывод из работ психологов. Однако Блур не делает такого вывода, а вместо этого резко критикует сами психологические эксперименты и сделанные их авторами теоретические выводы. Он указывает, что приведенные примеры неверного восприятия могут быть также примерами неверной реконструкции наблюдаемого в памяти. Конструктивный характер памяти исследован Барбером[38]. Таким образом, по Блуру, чувственное восприятие надежно (это очень важно для него), но подключение памяти может вызывать ошибки восприятия. Конечно, память субъекта, реконструкция им прошедшего восприятия так же, как само восприятие, зависит от знаний, ожиданий и интересов. Она подвержена, в сущности, тем же влияниям, что восприятие. Блур, однако, не видит трагедии в том, что мы помним свои восприятия неверно.

Для него главную задачу составляет защита надежности самих чувственных восприятий. Там, где влияние памяти исключается условиями эксперимента, а эксперимент дает результаты, неодинаковые для разных испытуемых, Блур допускает возможность методологической ошибки в его постановке. Но он категорически отказывается согласиться с объяснением такого различия социальными причинами.

Итак, чувственные восприятия надежны, культурные изменения признаются как надстроенные над прочным фундаментом биологически стабильных сенсорных возможностей. Теперь следует отвести должное место социальным факторам, ибо основное положение программы Блура гласит, что любое знание имеет социальный компонент. Блур приводит в качестве примера сравнение Дж. Б. Моррелом двух исследовательских школ, занимавшихся химией в 1820-е гг. –

[38] См.: Bloor D. Knowledge and Social Imagery. P. 23.

Юстуса Либиха и Томаса Томсона[39]. Суть проведенного анализа заключается в выделении двух групп факторов, повлиявших на успех школы Либиха и провал школы Томсона. Первая группа – Либих получал с помощью своей аппаратуры повторяемые результаты (стабильный ответ от материального мира). Томсон не получал таких результатов. Но для Блура различие лабораторных результатов – только часть целого каузального процесса, который привел к неодинаковой судьбе научных школ. Апелляции к этому различию недостаточно для объяснения эффективности или неэффективности эксперимента. Объяснение успеха одной исследовательской программы и неуспеха другой не может быть основано на химическом факте как элементе эмпирического базиса науки. Объяснение, по Блуру, должно апеллировать ко второй группе факторов – социальным условиям развития научного знания. Если бы сообщество проигнорировало открытия Либиха, его программа не добилась бы успеха. В то же время социально игнорируемая область исследования не привлекла бы внимания Томсона. Таким образом:

– социальное признание результатов программы обеспечивает ее успех (Либих);

– социальный престиж исследовательской области привлекает в нее специалистов (Томсон).

«Внутринаучные» факторы, по Блуру, не могут сделать социологическое объяснение иррелевантным для целостной ситуации. В нее он включает социальное признание и распространение знаний.

Итак, мы видели сопротивление Блура любому объяснению ошибочного знания при помощи апелляции к социальным факторам и в то же время стремление рассматривать в «социальном» свете успех исследовательских программ. Надежность чувственного восприятия выступает на первый план в борьбе Блура с классической тенденцией наделять социальные влияния отрицательной гносеологической ценностью. Но материальный мир отступает на второй план, когда речь заходит об успехе – «преуспеть» должно социальное. Это та самая «несимметричность», которую Блур, занятый попытками наклонить весы эпистемической оценки в пользу социального, у себя самого не замечает.

Убеждение, не разделяемое сообществом или группой, однозначно лишается им статуса знания. В то же время принятие теории группой делает ее знанием группы, основой для понимания действительности и адаптации к миру[40]. Однако если заранее включить социальное распространение в понятие знания, насколько трудно будет доказать релевантность социологических факторов для объяснения таким образом определенного знания? Две линии рассуждения – необходимость утвердить знание на прочном материалистическом осно-

[39] См.: Morrell J.B. The Chemist Breeders: The Research Schools of Liebig and Thomas Thomson // Ambix. 1972. V. 19. № 1.

[40] См.: Bloor D. Knowledge and Social Imagery. P. 38.

вании (отнести к неодушевленному миру) и необходимость продемонстрировать социальную природу знания – действительно не входят в противоречие друг с другом, но при этом происходит переопределение понятия знания в соответствии с «социологическими» стремлениями автора.

7. Дискурс: индивидуализм и коллективизм

Спор между индивидуалистами и коллективистами, разбираемый Блуром в книге «Витгенштейн: правила и институты», также можно увидеть в свете ценностных предпосылок. На весах находятся «факты индивидуального сознания», с одной стороны, и коллективная институциональная практика, с другой. Мы рассмотрим только коллективистское решение Блуром проблемы инновации, отвлекаясь от рассмотрения проблемы значения (meaning), которую также можно увидеть с точки зрения ценностных предпосылок.

Блур формулирует «сильный тезис», выражающий для него сущность следования правилу: *«Кто-либо может действительно считаться следующим правилу R, только если до этого он реально принадлежал к обществу, каждый член которого следовал правилу R»*[41]. Блур собирается защищать данный тезис, но проблема заключается в том, что при такой формулировке нельзя допустить возможность инновации, поскольку последняя предполагает наличие единичного инноватора, впервые вводящего правило. Если инновация возможна, сильный тезис неверен. Этот «аргумент от инновации» выдвигал К. Макгинн[42], представитель индивидуалистического направления. Блур обращается к широко обсуждаемому примеру – положению Робинзона Крузо на необитаемом острове – и дискутирует с индивидуалистами, с точки зрения которых Робинзон мог самостоятельно, без обращения к человеческому обществу, изобретать для себя правила и следовать им. Спорит Блур и с тем, что такое изобретение и следование были бы истинными изобретением и следованием и могли бы так называться. Например, Робинзон давал имена объектам на своем острове. Являлось ли это истинным именованием?

Для коллективистов, к которым Блур причисляет себя, именование есть социальный институт: иметь имя для вещи означает иметь свой социальный статус.

Вот как, согласно Блуру, должны рассуждать коллективисты: именование есть процесс. Как процесс оно имеет структуру, и эта структура *исторична и социальна*. Процесс именования (и любой инновации) имеет две фазы: инициацию и кульминацию. Индивидуалисты

[41] Bloor D. Wittgenstein, Rules and Institutions. P. 95.

[42] См.: McGinn C. Wittgenstein on Meaning: An Interpretation and Evaluation. Oxford, 1984.

обращают внимание на начало именования, его инициацию – первую стадию процесса, которая может обеспечиваться и единичным индивидом. Но они упускают из вида целостный процесс. Кульминацией данного процесса является принятие и поддержание идеи обществом. Робинзон, как любой инициатор, делал то, что могло *в принципе* положить начало именованию, но он не мог в одиночку основать социальный институт – дать предмету или растению имя. На это же, по Блуру, указывал и Витгенштейн, когда утверждал, что человек не может в одиночку следовать правилу. Начавшийся процесс основания института, не получивший надлежащего продолжения, не может иметь статус законченного процесса.

Витгенштейн писал: «Я могу, конечно, дать себе правило и затем следовать ему. Но оно не будет только поэтому правилом, это только аналогия тому, что называют "правилом" в человеческой деятельности»[43].

Все контрпримеры индивидуалистов, показывающие, что единичный индивид в отрыве от общества может следовать правилам, считает Блур, суть только аналогии. Также и в научном познании «то, что отвергнуто (сообществом. – *Ю.М.*) есть не отвергнутые открытия, но не открытия вообще»[44].

Таким образом, проблема инновации (в установлении правил, именовании, научной деятельности) предстает как проблема *статуса*. Это не проблема того, что *является* правилом, именованием, научным открытием, но проблема того, что так *называть* при аналитическом рассмотрении. Это проблема определения понятий и концептуализации феноменов. В самом деле, как отличить истинное «следование правилам» от «аналогий», если априорно не определить следование правилам как социальный институт и не исключить как «аналогии» случаи, не подходящие под это определение. Феномен (например, именование Робинзоном Крузо предметов на необитаемом острове) остается неизменным, он не появляется и не исчезает в зависимости от присвоения ему статуса или лишения его статуса (истинного именования, следования правилу и т.д.). Но решение вопроса об определении понятий может в философском дискурсе выглядеть как решение вопроса о сущности феноменов. Так, принятое решение называть истинно научными лишь социально обсуждаемые и разделяемые теории и методы можно представить как решение о социальной сущности науки как феномена. Из «общей неопределенности» феноменального поля определение вырезает фрагмент, которому суждено отныне рассматриваться относительно обособленно. *Но если определяемое понятие обладает, хотя бы вначале, как слово естественного языка, ценностной нагрузкой, то определение чаще всего дается так, чтобы не «дискредитировать» определяемое понятие отнесением к нему объектов или феноменов, обладающих отрицательной ценностью.*

[43] Цит. по: Bloor D. Wittgenstein, Rules and Institutions. P. 100.
[44] Ibid. P. 106.

Напротив, при определении такого понятия мысль старается отнести к нему возможно больше объектов и феноменов, ценность которых высока. Эта закономерность находит выражение в факте различного определения представителями индивидуалистического и коллективистического направлений таких понятий, как «значение», «научное открытие», «правило».

8. Д. Блур и Б. Латур. Кто реакционен?

Данный раздел является только штрихом к общей картине дискурса, в котором участвует Д. Блур. Так, Б. Латур, оппонент Блура по ряду вопросов[45], поднимает в числе остальных вопрос о политической подоплеке «сильной программы» Блура и своих собственных работ[46].

---

[45] Можно выделить основные пункты, по которым Блур активно полемизирует с Латуром. Это:

1) необходимость принятия исследователем субъект-объектной схемы познания. Латур утверждает, что социологи знания, как и их предшествующие критики, работали в рамках субъект-объектной полярности, и считает необходимым выйти за пределы данной схемы, в то время как Блур сознательно придерживается ее;

2) роль материальных объектов в формировании представлений (beliefs) о них;

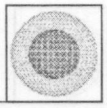
3) роль социологического объяснения. Латур приписывает Блуру стремление объяснить «природу» в терминах «общества». Блур отрицает за собой такое стремление: он рассматривает не «природу», но знание (beliefs) о ней;

4) отличие объектов от своих описаний. Это отличие постулирует Блур, в то время как Латур критикует данный постулат;

5) идея нейтрального словаря. Блур утверждает, что, хотя нейтрального словаря сенсорных данных не существует, описание учеными исследуемых ситуаций «в достаточной степени нейтрально». Латур указывает на высокую обусловленность словаря ученых традицией и другими культурными факторами.

Полемика Латура и Блура опубликована в: Studies in History and Philosophy of Science. 1999. Part A. V. 30 (1). К сожалению, данное издание недоступно в российских библиотеках. Материал опубликован на сайтах: http://www.melissa.ens-cachan.fr/IMG/pdf/bloor_-_anti-latour.pdf (Bloor D. Anti-Latour);http://www.ensmp.fr/~latour/poparticles/poparticle/p075.html (Latour B. For Bloor and Beyond – a reply to David Bloor's «Anti-Latour»); http://www.melissa.ens-cachan.fr/IMG/pdf/bloor_-_reponse_a_la_reponse_de_latour.pdf (Bloor D. Discussion Reply to Bruno Latour).

[46] См.: Latour B. For Bloor and Beyond – a Reply to David Bloor's «Anti-Latour» // Studies in History and Philosophy of Science. 1999. Part A. V. 30 (1) / http://www.ensmp.fr/~latour/poparticles/poparticle/p075.html.



Латур считает, что «...все методологические вопросы базируются на метафизике, а каждая метафизика является в сердце своем моральной и политической проблемой»[47]. Блур якобы счел программу самого Латура реакционной[48]. Так преподносит ситуацию Латур, поскольку

[47] Ibid.

[48] Латур, наряду с М. Каллоном и Дж. Ло, является автором «теории актор-сети» (actor-network theory, ANT). Критиковал сильную программу Блура за «социологический редукционизм» и антропоцентризм. Латур призывает социологов отвергнуть субъект-объектную схему познания, которую Блур принимает. Социологи знания, утверждает Латур, как и их предшествующие критики, работали в рамках субъект-объектной полярности, разделяя исследуемую реальность на субъект и объект. Субъект при этом мог рассматриваться как индивидуальный или коллективный

Концепции в области теории познания занимают, по Латуру, различные позиции на субъект-объектной шкале в зависимости от того, представляют они познание как более зависящее от субъекта или от объекта. «Сильную программу» Блура Латур идентифицирует как субъективистскую, в которой общество играет роль субъекта. (См.: Bloor D. Anti-Latour // Studies in History and Philosophy of Science. 1999. Part A. V. 30 (1) / http://www.melissa.ens-cachan.fr/IMG/pdf/ bloor_-_anti-latour.pdf).

Идея Латура состоит в том, чтобы не описывать ни природу в терминах общества (как, он считает, это делает Блур), ни общество в терминах природы, но и общество и природу описывать в одних терминах, неспецифичных ни для того, ни для другого. Общество и природа «сопроизводны» («co-produced»), по Латуру (см.: Latour B. One More Turn after the Social Turn... // McMullin E. (Ed.). The Social Dimension of Science. Notre Dame, 1992).

Латур предлагает новый принцип симметрии в противоположность принципу, предложенному Блуром. Называя принцип симметрии «сильной программы» «первым» таким принципом, Латур предлагает «вторую» версию принципа, в котором и природа, и общество рассматриваются симметрично относительно их активности (agency), и активность приписывается вещам в той же мере, в какой и людям.

Так, при формировании различий в системах знания немаловажную роль играют не-человеческие факторы – «актанты» (приборы, лаборатории, исследуемое вещество в экспериментальных ситуациях и т.д.). Латур оперирует также такими терминами, как «энтелехии», «монады», «силы», «вместо людей, таких как Пастер и Милликен, и вещей, таких как бактерии и электроны». (см.: Bloor D. Anti-Latour // Studies in History and Philosophy of Science. 1999. Part A. V. 30 (1) / http://www.melissa.ens-cachan.fr/IMG/pdf/bloor_-_anti-latour. pdf).

Классическую субъект-объектную схему познания Латур заменяет другой схемой соотношения природы и общества, в которой по вертикальной оси варьирует мера «стабильности» единства природы и общества (см.: Latour B. One more turn after the social turn... // McMullin E. (Ed.). The Social Dimension of Science. Notre Dame, 1992. P. 285). Внизу данной оси находятся ситуации, в которых природа и общество, реальные объекты и социальные конструкты не дифференцированы. Выше по оси отме-

Блур на самом деле назвал его программу «шагом назад» скорее в методологическом, научном, чем в моральном или политическом смысле[49].

«Дэвид полагает, что моя позиция является реакционной – "шагом назад", как он говорит. Он думает, что только становясь по обе стороны во всех научных спорах, одинаково удаленных от доступа к вещам в себе… мы… избежим абсолютизма»[50].

Блур в своих работах объявляет себя релятивистом, признавая, что все научные утверждения должны рассматриваться наравне друг с другом, в том смысле, что вопрос о вероятности каждого из них остается открытым[51]. «Релятивист признает, что его предпочтения не могут быть сформулированы в абсолютной форме, независимой от контекста. Он осознает локальность правдоподобности (credibility) обоснования его собственных убеждений»[52].

Латур же рассматривает релятивизм Блура в его моральном ценностном аспекте, делая упор на романтический источник релятивизма[53]. Он трактует принципы эквивалентности и симметрии с точки зрения отражения ими принципов демократии[54].

чены ситуации, в которых агенты различают природу и общество и проводят между ними границы. Отношения между субъектом и объектом, таким образом, не могут рассматриваться как строго полярные, поскольку полярность сама варьирует по вертикальной оси стабильности. Научные инновации предстают как движение вверх и вниз по этой оси. Инноватор пересматривает и изменяет смысл того, что есть «вещь в себе». Ученый в результате своей деятельности порождает как природу, так и общество («making and re-making both nature and society»).

Таким образом, Латур представляет программу, в которой не-человеческие и человеческие факторы, вещи и люди образуют единую систему.

[49] См.: Bloor D. Anti-Latour // Studies in History and Philosophy of Science. 1999. Part A. V. 30 (1) / http://www.melissa.ens-cachan.fr/IMG/pdf/bloor_-_anti-latour.pdf

[50] Latour B. For Bloor and Beyond – a Reply to David Bloor's «Anti-Latour» // Studies in History and Philosophy of Science. 1999. Part A. V. 30 (1) / http://www.ensmp.fr/~latour/poparticles/poparticle/p075.html

[51] См.: Barnes B., Bloor D. Relativism, Rationalism and the Sociology of Knowledge // Hollis M. & Lukes S. (Eds.). Rationality and Relativism. Cambridge, 1982. P. 23.

[52] Ibid. P. 27.

[53] См.: Hollis M., Lukes S. (Eds.). Rationality and Relativism. Cambridge, 1982. P. 1–20. В предисловии к книге анализируются основные источники релятивизма, в том числе релятивизма Блура и Барнса. Среди них: «романтизм»; научная позиция; философская антиэпистемологическая позиция.

[54] Напомним, что принцип эквивалентности заключается в том, что «социология знания должна объяснять все виды знания, оставаясь безразличной к его истинности или ложности, рациональности или иррациональности», а принцип симметрии – в том, что «социологическое объяснение должно сводить истинное и ложное, рациональное или иррациональное знание к одному и тому же типу причин» (Bloor D. Knowledge and Social Imagery. P. 4–5).

По Латуру, Блур считает, что релятивизм «защитит нас против избытка власти некоторых ученых»[55]. В трактовке Латура, принципы эквивалентности и симметрии утверждают, что все теории имеют одинаковую правдоподобность. Он сравнивает релятивистов, к которым относит себя Блур, с адвокатами, стремящимися во что бы то ни стало доказать «невиновность» любой научной теории, которой предъявлено (учеными) обвинение в нелогичности или несоответствии фактам[56]. Блур возражает: согласно принципам его «сильной программы», вовсе не все теории имеют одинаковую правдоподобность, но «все убеждения равно находятся перед лицом проблемы правдоподобности, и различия в степени правдоподобности также нуждаются в каузальном объяснении»[57]. Полемизируя, он приводит другую юридическую метафору, сравнивая себя скорее с «философом закона, который утверждает отсутствие абсолютных стандартов правосудия, и абсолютных "прав"…»[58].

Также Латур утверждает, что Блур в своем «Анти-Латуре» представляет перед читателями его позицию как реакционную, поскольку он не протягивает руку помощи слабым (теориям!) и не защищает их против абсолютизма (сильных теорий).

На самом деле в «Анти-Латуре» не встречается само слово «реакционность». «Абсолютизм» упомянут Блуром только один раз, там, где говорится, что Латур следует распространенной тенденции рассматривать «релятивизм» как оппозицию «реализму» (в то время как на самом деле он оппозиционен абсолютизму)[59]. Ясно, что в данном случае слово «абсолютизм» употреблено Блуром в методологическом смысле без придания ему моральной окрашенности. Абсолютизм здесь представляет собой методологическую установку, согласно которой возможно найти абсолютный критерий истинности научных утверждений. Латур воспринимает методологическую критику Блура как моральную, как обвинение в абсолютизме, и, в свою очередь, обвиняет своего противника «в том же самом грехе»[60]. Дело в том, говорит Латур, что, устанавливая демократическое равенство между теориями и становясь на защиту слабых теорий против сильных, Блур участвует в другой дискриминации, жертвой которой становится природа. Если мы будем принимать природу как простой нейтральный

---

[55] Latour B. For Bloor and Beyond – a Reply to David Bloor's «Anti-Latour» // Studies in History and Philosophy of Science. 1999. Part A. V. 30 (1) / http://www.ensmp.fr/~latour/poparticles/poparticle/p075.html

[56] См.: Ibid.

[57] Bloor D. Anti-Latour // Studies in History and Philosophy of Science. 1999. Part A. V. 30 (1) / http://www.melissa.ens-cachan.fr/IMG/pdf/bloor_-_anti-latour.pdf

[58] Ibid.

[59] См.: Ibid.

[60] Latour B. For Bloor and Beyond – a Reply to David Bloor's «Anti-Latour» // Studies in History and Philosophy of Science. 1999. Part A. V. 30 (1) / http://www.ensmp.fr/~latour/poparticles/poparticle/p075.html

фон, не делая ее темой наших размышлений, мы никогда ее не познаем. Блур провозглашает «принцип недостаточной детерминации», который заключается в том, что апелляции к самим материальным факторам недостаточно для объяснения различия человеческих убеждений относительно природы этих факторов[61]. Иными словами, простым влиянием объекта нельзя объяснить разницу в восприятии этого объекта различными наблюдателями – «для объяснения необходимо нечто о самих наблюдателях»[62]. Признание Блуром различия между природой и обществом, между объяснениями, апеллирующими к естественным и социальным факторам, переносится Латуром на политическую и моральную почву. «Вопрос, перед которым мы оказываемся, в том, какое изучение науки может более открыто поддержать гражданское общество против постоянной угрозы абсолютизма, – считает он, – а обращение к одинаково конвенциональному характеру всего научного знания не только эмпирически ложно, но и политически бесполезно»[63]. «Сильная программа» Блура рассматривается Латуром в том числе как политическая и ценностно нагруженная метафора. В данном случае мы не разделяем подобную точку зрения. Сильная программа – методологический проект, но это не освобождает ее от указанных нами ранее ценностных предпосылок.

9. Заключение

Суммируя основные мысли данной статьи, можно сказать, что социология знания Блура как программа возникает в результате ценностного осмысления понятий «знание» и «социальное», когда, по общей закономерности, знанию как ценностно нагруженному понятию приписывается ценное качество – социальность, а любое социально разделяемое убеждение получает статус знания. Тенденции наделять ценностно нагруженные концепты ценными для мыслителя качествами мы дали название «присвоения». Мы осмелились подозревать, что эта тенденция не является артефактом нашего case study, узкого анализа трудов отдельного философа, но проявляется в более широком масштабе, влияя на рефлексию любого мыслителя.

У Блура присвоение сопровождается соответствующим переопределением понятий. Так, знание он понимает как социально разделяемое убеждение. «Приватное» убеждение, присущее единичному инди-

---

[61] См.: Bloor D. Discussion. Reply to Bruno Latour // Studies in History and Philosophy of Science. 1999. Part A. V. 30 (1) / http://www.melissa.enscachan.fr/IMG/pdf/bloor_-_reponse_a_la_reponse_de_latour.pdf

[62] Ibid.

[63] Latour B. For Bloor and Beyond – a Reply to David Bloor's «Anti-Latour» // Studies in History and Philosophy of Science. 1999. Part A. V. 30 (1) / http://www.ensmp.fr/~latour/poparticles/poparticle/p075.html

виду, он однозначно лишает статуса знания. Из такого переопределения следует и то, что знанием можно называть только вербализованные (или иначе, формализованные) убеждения. Личностного знания не существует для Блура.

Философская аргументация никогда не бывает чисто рассудочной, неизбежно наличие ценностного аспекта. Даже рациональность и свобода от ценностных предпосылок являются ценностными предпосылками и не обосновываются рационально.

Но откуда берутся ценности, становящиеся предпосылками философского анализа?

Проводя параллель между концепциями Поппера и Куна, с одной стороны, и просвещенческой и романтической идеологиями, с другой, Блур высказывает положение о том, что философское знание (в частности философские концепции в области теории познания) подчинено «социальным и политическим стереотипам» (идеологиям)[64]. Такие стереотипы (идеологии), конечно, не могут быть ценностно нейтральными. На примере спора Блура и Латура мы также продемонстрировали, что сама позиция Блура может в некоторых случаях восприниматься как идеологическая метафора, подчиненная социально-политическим стереотипам. Мы, тем не менее, считаем, что и «стереотипы», и позиции философов выражают общекультурные ценности, изменяющиеся исторически и вытекающие из общей культурной ситуации. Следовательно, рассматривать «идеологии» как первичные по отношению к философским концепциям, как «архетипы» позиций философов не вполне корректно. Взаимодействие политических идеологий, философских концепций и общекультурных ценностей имеет значительно более сложный характер, и его понимание – одно из значимых условий адекватной социокультурной реконструкции развития знания.

[64] Bloor D. Knowledge and Social Imagery. P. 57.

Всероссийский научный семинар «Модели рассуждений – 1»: проблемы соотношения логики и теории аргументации в историческом и теоретическом аспектах

А. Г. ПУШКАРСКИЙ

Логическое кантоведение берет начало с ноября 1987 г., когда в Калининградском государственном университете прошел теоретический семинар «Наследие Канта и современные логико-лингвистические исследования». Учение Канта об активности субъекта становится созвучным новейшим направлениям исследований в логике в 1970–1980 гг., которые показывают, что философия Канта дает целый арсенал действенных методов анализа зависимости характеристик знания от структуры деятельности субъекта познания[1].

С 3 по 5 октября 2006 г. в Калининграде и Светлогорске состоялся Всероссийский научный семинар «Модели рассуждений – 1: логика и аргументация», организованный Российским государственным университетом им. И. Канта (РГУ) при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Он стал естественным продолжением серии семинаров по логическому кантоведению, регулярно проводимых в этих городах с 1987 г. Основными темами, вынесенными на обсуждение, были:

1) взаимодействие логики и нелогических средств моделирования аргументации;

2) логика в исследовании аргументации: история и современность;

3) как возможно логическое моделирование аргументации в конкретных философских и других текстах?

В семинаре приняли участие ведущие специалисты в области логики, теории аргументации и философии из России и стран СНГ.

Понятие рациональности не только одно из самых важных для философии, но является таковым и для самых разнообразных видов человеческой деятельности, поскольку определяет тот объем знаний, сведений и информации, которые есть у человека и которые могут быть

[1] См.: Брюшинкин В.Н. Логическое кантоведение в Калининграде // Научные доклады высшей школы. Философские науки. 1989. № 12. С. 128.

обоснованы с сохранением истинности и переданы другим людям. А рациональность человека связана с его способностью рассуждать и использовать результаты своих рассуждений в коммуникативной деятельности. На протяжении многих веков признанной теорией рассуждений была логика, которая постоянно совершенствовала способы определения правильности рассуждений и расширяла класс рассуждений, доступных логическому анализу. В XX в. в рамках когнитивных наук, искусственного интеллекта, теории аргументации, новой риторики появились альтернативные модели рассуждений, ставящие задачу приближения моделей к реальным рассуждениям. Возникла проблема исследования разнообразия моделей рассуждений и их соотношения с логикой. Поиску различных подходов к решению этой проблемы и был посвящен данный семинар.

Семинар начался с выступления профессора *В.Н. Брюшинкина* (Калининград), посвященного взаимодействию логических и нелогических средств аргументации в разработанной им системной модели. Этот подход предполагает соединение логического, когнитивного и риторического аспектов аргументации. Кафедра философии и логики РГУ им. И. Канта имеет определенные результаты в области практического применения системной модели, разработки модели аргументации в конкретных текстах, обоснования применимости системной модели аргументации в компаративистских исследованиях. Использование различных методов, наработанных в когнитивной науке, – семантических сетей, фреймов, матриц, когнитивных карт и др. – позволяет показать, что системная модель аргументации переводит сравнение философских систем в область сравнения структур сознания, лежащих в основании аргументации в данных системах. Дальнейшее совершенствование системной модели аргументации состоит в выявлении новых аспектов взаимодействия логической, когнитивной и риторической подсистем, уточнении понятия пресуппозиций философского текста, разработке методов выявления пресуппозиций на основе системной модели аргументации, исследовании нелогических средств моделирования аргументации, в том числе иррациональной аргументации. Профессор *Е.Д. Смирнова* (Москва) обратила внимание участников семинара на то, что в XX в. в современной философской семантике был разработан обширный технический инструментарий, который можно эффективно использовать для реконструкции логического аспекта аргументации. В частности, были рассмотрены концепция идеальных форм Д. Гильберта, анализ неполных символов, приведший Б. Рассела к созданию теории дескрипций, а также идеи Я. Хинтикки о стратегии анализа концептуального аппарата теоретического знания. Поскольку любая аргументация включает в себя обоснования, возможно использование современного аппарата математической логики для логического синтеза рассуждений различного плана с учетом их интенсиональных и прагматических контекстов.

Профессор *В.С. Меськов* (Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании) дал обоснование постнеклассической методологии, соответствующей обществу знания (в отличие от классической методологии, присущей обществу потребления), и поставил проблему ее использования для моделирования рассуждений. По его мнению, на логику пора посмотреть как на науку о контенте, т.е. науку, учитывающую смысловое содержание особого мира информации – Инфомира. По мнению Меськова, новый взгляд на предмет логики, учитывающий мир информации, мог бы существенно продвинуть исследования по теории аргументации.

Профессор *А.И. Мигунов* (Санкт-Петербург) предложил обратиться к первоистокам науки логики. По его мнению, следуя Аристотелю, мы должны включать в логическое знание два раздела: аналитику и диалектику. То, что ныне называют теорией аргументации, представляет собой диалектический раздел логики. Если бы Гегель не придал этому выражению особый смыл, то можно было бы говорить о диалектической логике и аналитической логике. Как известно, Аристотель отличал диалектический силлогизм от аналитического и пытался показать, что диалектический силлогизм имеет логико-коммуникативный характер, являясь составной частью реального процесса речевого общения. Аргумент в этом случае становится логико-коммуникативной характеристикой речевого акта.

Исследование процессов аргументации должно включать в себя методы диагностики ошибок в рассуждениях. Они могут быть основаны как минимум на двух необходимых условиях: (1) наличие грамматически корректного и вразумительного с языковой точки зрения выражения; (2) наличие правил, регулирующих языковую практику и способ рассуждения. Нарушение, по крайней мере, одного из этих условий влечет ошибку в рассуждении. В обыденных рассуждениях ошибка часто играет роль рационального маркера, обозначающего, где на практике пролегает граница нормативной приемлемости. Совершая ошибку, участник дискуссии случайно или сознательно нарушает правила, составляющие нормативные основы рассуждения.

В докладе *Е.Н. Лисанюк* (Санкт-Петербург) проанализированы взгляды Аристотеля и У. Оккама на ошибки в рассуждениях. Докладчик отметила, что в истории аргументации вопрос о симптомах ошибочного рассуждения возникал крайне редко, тем не менее тематика ошибок в рассуждениях находится в исследовательском поле уже более двух тысяч лет. Позиция Оккама в отношении ошибок в рассуждениях сводится к формальному подходу: сигналом о совершенной ошибке является логическая непоследовательность в форме ложного заключения вне зависимости от каких-либо прагматических условий. Намеренно совершена ошибка или нет, считает Оккам, не столь важно, аппарат логики позволяет ее выявить и устранить. В отличие от Оккама, Аристотель указывает на прагматическую сторону: тип диалога, намерения говорящего и виды ошибок – существенные элементы в процессе выявления ошибки.

Совсем по-другому смотрит на указанные проблемы *Д.В. Зайцев* (Москва). По его мнению, специфика моделирования аргументативной деятельности состоит в том, что хотя соответствующие логические средства для ее осуществления имеются, но в зависимости от целей моделирования их применение является оправданным в разной степени. Если речь идет о разработках в сфере искусственного интеллекта, то аппарата логического программирования вполне достаточно. Если исследователь стремится к отысканию критерия эффективности аргументации, то, очевидно, логики будет недостаточно. Это происходит потому, что аргументация – не просто сумма или пересечение логики, психологии, риторики, когнитологии, а совершенно самостоятельный феномен, требующий выработки новых методов изучения, наряду с использованием уже имеющихся в других науках. Более того, существует метауровень аргументации, который представляет собой рефлексию над лингвистическим и процедурным уровнями аргументации. А моделирование этого уровня средствами какой-либо научной дисциплины, будь то логика, computer science или другая наука,

представляется изначально неплодотворным. Скорее, речь должна идти о разработке нового инструментария для новой науки об аргументации.

Конкретное применение аппарата современной математической логики для моделирования некоторых аспектов аргументации предложил *А.Г. Кислов* (Уральский государственный университет). Идея частичного описания возможных миров, т.е. идея модельных (или хинтикковских) множеств, не только значительно упрощает метатеоретическую работу и предлагает формулировать теорию квантификации без экзистенциальных допущений, но несет некоторую философскую нагрузку и, позволяя различным образом интерпретировать кванторы, привлекает в структуру логики эффекты реального языка и способствует обобщению витгенштейновской образной точки зрения на функционирование языка, а также помогает развивать классификацию и анализ различных сценариев аргументационной деятельности. Процедуры поиска моделей являются эффективным способом анализа некоторых аспектов процесса аргументации. Докладчик продемонстрировал, как возможно применить модельные множества для логического моделирования коммуникативной природы аргументационной деятельности, выражающейся в системе предложений, принимаемых или отвергаемых в результате диалога. Более того, идея коммуникативно-ориентированной интерпретации пропозициональных установок может быть обобщена и на современные исследования в области неклассических логик. Возможность такого обобщения, благодаря своей естественности, присутствует в большинстве «околосодержательных» оправданий неклассических способов рассуждения. И было бы крайне интересно и перспективно взглянуть на феномен деуниверсализации классической логики с точки зрения именно аргументационной проблематики.

Профессор *Г.В. Сорина* (Москва) показала, что без реконструкции вопроса, на который отвечает конкретный акт аргументации, невозможно построить его адекватную модель. Докладчик предложила методику постановки вопросов к философским текстам, позволяющую улучшить понимание содержания.

К проблеме соотношения интенциональности и конвенциональности речевого общения в своем выступлении обратилась *Л.А. Демина* (Москва). Она использовала теорию речевых актов Джона Остина, а также идеи Дж. Серля, Г. Грайса и П.Ф. Стросона. По мнению докладчика, наиболее перспективным подходом к этой проблеме является стремление уловить при анализе речевой деятельности сочетание интенциональных и конвенциональных аспектов, понять характер языковых конвенций и их связь с речевой деятельностью и конституирующими ее правилами. В то же время нельзя абсолютизировать полученные в теории речевых актов результаты и следует рассматривать их лишь как один из шагов в направлении углубления наших представлений о природе языка, коммуникации и деятельности.

При анализе и оценке аргументации часто используют такие термины, как «структура аргументации», «схема аргументации», «форма аргументации». Иногда эти термины рассматривают как синонимы. Но как считает профессор *И.В. Хоменко* (Киев), более целесообразно было бы их различать. Понятия «структура» и «схема» можно отличить по следующим параметрам. Во-первых, структуру выделяют в сложной аргументации, а схему – в единичной. И, во-вторых, структура фиксирует внешний каркас сложной аргументации, а схема – внутренний каркас единичной аргументации. Когда мы определяем «форму» аргументации, то задействуем фор-

мальные критерии для оценки правильности аргументации, а, выделяя структуру и схему, – неформальные критерии для оценки достаточности аргументации и приемлемости аргументов для защиты точки зрения. Однако чтобы грамотно сформулировать практические рекомендации по оценке аргументации для широкого круга «пользователей», необходимо сначала четко определиться с теоретическими вопросами, относящимися к этой области. В истории философии есть темы, которые на протяжении длительного времени привлекают внимание логиков и философов. К ним относится знаменитое доказательство бытия Бога, изложенное Ансельмом Кентерберийский в трактате «Прослогион» и названное позже онтологическим аргументом.

Профессор *Е.Г. Драгалина-Черная* (Москва) попыталась взглянуть на онтологический аргумент как раз с точки зрения современной проблематики теории аргументации. Определенный ответ на вопросы, поставленные Ансельмом, возможен, на ее взгляд, при перформативном истолковании онтологического аргумента. С перформативной точки зрения любое доказательство есть демонстрация того, каким образом исполнение простых когнитивных актов делает возможным компетентное исполнение более сложного когнитивного акта и оказывается переходом не от одних истинных высказываний к другим, а от одних обоснованных действий к другим, получающим таким образом свою обоснованность. Такого рода обосновывающим действием в случае онтологического аргумента является референция к «тому, больше чего нельзя помыслить». Осуществляя эту референцию, рациональный субъект не только может, но и обязан мыслить объект своей референции существующим реально. Вместе с тем перспектива «первого лица», т.е. субъекта, проводящего доказательство, оказывается неустранимой из онтологического аргумента. Таким образом, аргумент Ансельма может восприниматься как художественный текст и приобретает модальный характер. Только эта модальность носит не внутренний, а внешний характер. Для субъекта доказательства, осуществляющего нормальную референцию, бытие «того, больше чего нельзя помыслить» доказано абсолютно, вне какого-либо модального контекста. Вместе с тем «внешний наблюдатель», воспринимающий аргумент как художественное повествование, как бы помещает его в модальную рамку, наличие которой может быть выражено, например, нарративными операторами: «Как полагает Ансельм, …», «Согласно концепции "Прослогиона", ….». Тем самым, приобретая убедительность в модусе «взаимного согласия» (assensus), аргументация «Прослогиона» тяготеет не к необходимости логического следования, а к «свободной достоверности» риторики. В докладе доктора политических наук *Ю.В. Ярмака* (Москва) был проанализирован практический аспект аргументативных процедур в применении к аргументации, используемой политической элитой.

К примерам из истории философии, которые могли бы дать ценный материал для исследований в области теории аргументации, обратился заведующий кафедрой философии Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича профессор *С.А. Чернов*. Он считает, что особенно интересна в этом отношении аргументация Ф. Якоби, довольно таинственной фигуры в истории немецкой философии. Якоби убежден, что наука и логика не знают свободы. Самая суть идеи логики – необходимость в мышлении. Самая суть идеи науки – познание причинности и законов, т.е. необходимости в природе. А сущность свободы заключается в том, чтобы быть первой причиной поступка, начать причинный ряд событий и быть в состоянии поверх все-

го этого детерминированного ряда событий сдержать слово или обещание, удерживая в виду поставленную цель – результат, который образует начало и причину. Сознание свободы требует выйти за пределы научной логики, и сделать это можно лишь посредством «прыжка», salto mortale, поскольку, по его мнению, между наукой и жизнью, Богом и логикой никакого моста не существует, и можно лишь перепрыгнуть через разделяющую их пропасть. Абсолютно авторитетный внутренний «приказ» совершить его может дать лишь религиозное чувство, или то, что Кант называл метафизической склонностью человека. Эта склонность составляет самый глубокий корень личности и разума. Метафизическое чувство заставляет совершать интеллектуальное сальто и делает человека способным на этот поступок. Второй серьезный аргумент Якоби в пользу необходимости логического «сальто» состоит в том, что весь «мир» науки – лишь мир абстракций, представлений, лишь мыслимый, идеальный мир. Реальность, по Якоби, вообще дана исключительно в живом восприятии, в непосредственном опыте жизни. А реальность высшего порядка (абсолютное, безусловное, сверхчувственное) дана исключительно в опыте свободы, или, что то же самое, в опыте безусловного. Докладчик предлагает попытаться понять логику рассуждения, ограничивающего возможность логики, и, если можно так сказать, логику отрицания логики, логику интеллектуального сальто.

Аргументация, используемая И. Кантом в его философских работах, всегда вызывала особенный интерес у логиков и философов. К анализу различных аспектов кантовской философской аргументации обращались многие выступающие. В выступлении профессора *Л.А. Калиникова* (Калининград) на примере кантовских текстов были подняты проблемы аргументативных возможностей иронии. Профессор *И.Д. Копцев* (Калининград) изложил результаты своих исследований субъектно-речевой структуры текста в «Критике чистого разума», а *С.Л. Катречко* (Москва) выделил процедуру построения цепей метафор, основанную на кантовском трансцендентальном схематизме.

На обширном историческом материале построили свои выступления ассистенты кафедры философии и логики РГУ им. И. Канта *В.А. Чалый* и *В.С. Попова*. Чалый всесторонне рассмотрел знаменитый аналитический аргумент, предложенный выдающимся английским философом аналитиком Стросоном. Попова сопоставила аргументацию Д.С. Милля и А.И. Введенского по вопросу о познавательной роли силлогизма, что позволило выявить разногласия знаменитых философов по конкретным логическим вопросам и в видении логики в целом, а затем показать гносеологическую обусловленность этих различий. Ассистент кафедры философии и логики РГУ им. И. Канта *А.Г. Пушкарский* изложил основные принципы разработки учебно-методического комплекса по истории логики.

Участники семинара неоднократно высказывали мнение о важности и актуальности результатов работы семинара для развития современной теории аргументации и некоторых разделов логики. По единодушному признанию специалистов, на семинаре удалось объединить ряд разрозненных ранее направлений исследования аргументации, что послужит дальнейшему развитию российских исследований этой актуальной проблематики.

Более подробно с итогами и материалами семинара можно ознакомиться на Интернет-портале «Ratio»: http://ratio.albertina.ru.

Натурфилософия античности в зеркалах науки и культуры: учения о первоначалах

И. А. ГЕРАСИМОВА

Как сделать курс по истории и философии науки жизненным? О жизненности можно говорить в разных смыслах. Преподавание любого образовательного курса предполагает комплексное решение сразу нескольких задач. Во-первых, учебный курс должен ясно и обобщенно отражать современное понимание и методологии исследования означенной тематики. Одно из проявлений жизненности – связь образования с уровнем научных знаний. Если речь идет о курсе по философии науки, то, учитывая установку на системность, можно предложить один из вариантов формулировки предмета курса: «основные концепции, модели, факты и закономерности развития науки и техники как форм культурной эволюции человечества от древности до современности». Эта формулировка включает в себя цели:

– сформировать (или дать) *целостное* представление о развитии науки и техники как историко-культурного феномена;

– обобщить и структурно представить информацию о достижениях человеческой мысли в разные периоды истории;

– дать общее представление об основных методологических концепциях современной науки;

– дать представление о современной научной картине мира в сопоставлении с философскими и вненаучными картинами мира;

– показать взаимообусловленность, а также взаимосвязь проблем и задач, решаемых специалистами по различным дисциплинам, с целями развития человека, общества, культуры, цивилизации.

В зависимости от выбора конкретных тем цели можно уточнить, расширить или сузить, однако общая установка на включение науки в контекст культуры должна сохраниться. Именно она отражает основную направленность современных философских рефлексий науки.

Содержание курса не будет жизненным, если его не донести в интересной и увлекательной форме. Второй аспект жизненности связан с мастерством преподавателя, на помощь которому приходят современные технологии так называемого саморегулируемого обучения: диалоговые методы обучения, семинары-дискуссии, проблемное обучение, тренинги рефлексии, методы проектов и направляющих текстов, контекстное обучение, организационно-деятельностные игры, имитационно-игровое моделирование и др.

Третий аспект жизненности самый значимый – личность обучаемого – студента, магистранта и аспиранта. И содержание обучения, и новейшие технологии обучающего общения будут отброшены как информационный мусор, если не затронут самого человека, не ассимилируются в навыки, умения, способности ориентации в природной и культурной среде, творчества в позитивных целях. Содержательные цели курса по философии науки должны быть дополнены практическими задачами по формированию навыков и умений. В своей авторской программе для магистрантов я сформулировала то, что *должен уметь магистрант*, следующим образом:

– аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значение ученых и инженеров;

– грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части культуры;

– давать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернативного знания в различных культурно-исторических условиях;

– грамотно комментировать содержание основополагающих концепций науки и техники;

– самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники, аргументированно представлять и защищать свою точку зрения.

Рассуждения о жизненности останутся мертвыми, если благие цели и задачи не реализовать в конкретных действиях. Как это сделать, во многом зависит от индивидуального стиля преподавания. Я предпочитаю сочетать академическое изложение материала на лекциях с практическими занятиями, где больше времени можно уделить интерактивному общению и развитию личностных качеств будущих специалистов. По моему мнению, философское образование станет жизненным, если, образно говоря, делать философские прививки на стволе жизненного опыта и профессиональных познаний и интересов слушателей. Этого не произойдет, если сам человек не осознает и не почувствует твердую почву под ногами и не будет иметь определенной доли уверенности в своих познаниях и способностях воспринимать философские рассуждения. Уверенность магистрантов в себе стоит всячески пробуждать, например, рассказывая о неизвестном на языке известного, непознанное вводя в оборот понятого или пережитого. Так, наряду с философским видением полезно

рассматривать обсуждаемые проблемы с точки зрения профессиональных дисциплин, а порой экзистенциальных вопросов, которые порождают фон сегодняшней культурной жизни. Хочу предложить некоторые особые плоскости видения в изучении тем по науке античности. Разумеется, речь идет не о систематичности изложения материала, а об отдельных импульсах античной мысли, которые оживают в современной научной и культурной жизни.

К натурфилософии античности можно относиться по-разному. Широко распространен подход, сопряженный с чувством превосходства и снисходительного отношения к людям колыбельных и древних цивилизаций, занимавшихся магией, веривших в общение с духами и одушевлявших даже камни, что в глазах современного человека выглядит наивным. (Впрочем, не без основания делаются выводы о влиянии магических представлений на формирование научного понятийного мышления, «пропозициональной» парадигмы[1].) Поэтом античной философии можно назвать А.Ф. Лосева, который силой художественных образов добился возвышенной эстетизации натурфилософской мысли. Однако реконструкции историко-культурного контекста античной философии свидетельствуют о примитивно-грубоватой простоте нравов. Для контраста интересно почитать книгу Д. Лауэнштайна, который на основании материала археологических раскопок последних десятилетий создал объемлющую реконструкцию элевсинских мистерий, символы которых трансформировались в образы литературы и понятия философии[2]. Для философии истории науки важно обнаружить и описать связь времен. В учебных пособиях проводится мысль о том, что возникновение античной науки – революционный перелом в мировой культуре («греческое чудо»), который проложил дорогу западноевропейской цивилизации и ее науке. Но не только. Натурфилософское мировоззрение оказывается во многом созвучным холистическим установкам актуального научного поиска, идеалам целостности и гармонии. Некоторые исследователи, например доктор физико-математических наук Г.М. Идлис, соединяют воедино античную и современную фазы науки, делая выводы о циклическом резонансе идей[3].

Есть еще один аспект – образовательный, который способен ввести дополнительные измерения в видение натурфилософии. Зачем нужно изучать историю? Разумеется, чтобы яснее и глубже понять себя и особенности своего времени, научиться понимать Другого (иные культуры). Можно сделать более смелый шаг, заявив, что история нужна для развития творческого мышления. Творчество предполагает и развивает самостоятельность и свободу, однако свобода воображения в диалоге с древними мыслителями не всегда корректна по отношению к историческим временам, но этот недостаток можно исправить. Творчество как особое состояние сознания отличается тонкой восприимчивостью к идеям и активизацией механизмов памяти. Такое

[1] См.: Меркулов И.П. Эпистемология (когнитивно-эволюционный подход). Т. 1. Спб., 2003.

[2] См.: Лауэнштайн Д. Элевсинские мистерии. М., 1996.

[3] См.: Идлис Г.М. Революции в астрономии, физике и космологии. М., 1985.

состояние можно вызвать, побудив задуматься над вопросами необычного, нестандартного характера.

Путь к философской систематике и далее к рациональной науке был тернист и долог. Философское мышление, пытающееся осмыслить мир природы и природу человека через слово-понятие и разумное рассуждение, зарождалось в недрах мифологических представлений и символических практик – мистерий и ритуалов. То, что первые натурфилософы пытались познать, опираясь на сознание и рассуждение, в мистериальных практиках постигалось путем созерцания, преимущественно в экстатических состояниях сознания. Эту двойственность можно обнаружить в зеркалах современной культуры: с одной стороны, научный метод видит в натурфилософии первую рациональную картину мира и ряд эвристических идей, а с другой стороны, те же идеи оказываются не менее эвристичными для вненаучных практик, таких как искусство, литература, психотерапия, альтернативная медицина и модные, особо популярные в фитнес-клубах, медитативные практики. Изучение натурфилософии может побудить к размышлению над проблемами и ситуациями, которые ставит нынешняя бурная жизнь. Рассмотрим некоторые натурфилософские сюжеты, освещая их разноплановые выходы в культуру. В аспекте научного познания и философии согласимся с А.О. Маковельским: «Истина едина, но бесконечны исторические формы ее обнаружения, всегда неизбежно несовершенные. Следуя Лейбницу станем отыскивать у досократиков лучи "вечной философии" и в то же время, по совету Кондильяка, будем на них изучать заблуждения человеческого ума. Будем помнить, что старые идеи в философии и науке *всегда живы* и что за пренебрежение к себе они мстят тем, что входят в современную жизнь не своей ценной вечной стороной, но стороной отрицательной, – в форме повторения старых ошибок»[4].

Учения о первоначалах. Стихии. Философы не были первыми, кто задумался над тем, откуда все появилось и каковы скрытые причины, порождающие этот многокрасочный мир жизни. Но если для обывателя невидимый, но не недоступный мир был полон богов, которые ваятели и художники изображали в телах людей, то для мыслителей он был полон первоначал (хотя первый из известных натурфилософов – Фалес все-таки утверждал, что все созерцаемое полно богов). Среди первоначал особую роль играли стихии – земля, вода, воздух, огонь и эфир. Каждый из натурфилософов, говоря современным языком, предлагал свою интерпретацию Целого – Вселенной (Природы), возникающей из первоначал. Студентов и молодых ученых можно озадачить рядом вопросов:

Как вы понимаете, что такое первоначала?

Можно ли найти разумные основания для принятия стихий в качестве первоначал?

[4] Досократики. Первые греческие мыслители в их творениях, в свидетельствах древности и в свете новейших исследований: историко-критический обзор и перевод фрагментов, доксографического и биографического материала Александра Маковельского. Казань, 1914. Ч. I, 1915. Ч. II, 1919. Ч. III. Цит. по: Ч. I. С. XIV–XV. В виду библиографической редкости этого издания с переводами источников и научными комментариями можно ознакомиться по: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. М., 1989; Философия природы в античности и в средние века. М., 2000.

Первоначала можно пояснить через конкретные примеры, указав, что земля нас кормит, воздухом мы дышим, огонь суть необходимое топливо или энергия, без которой вообще немыслим ни один процесс, а сам человек в разные периоды своей жизни состоит из от 70% до 98% воды и пр. Строго говоря, эти представления – лишь свидетельства проявлений свойств первоначал-стихий, но не сами стихии. На теоретическом языке первоначала можно пояснить через понятия необходимых универсальных первопринципов, сущностей, всеобщей первоосновы (философия), канонических структур, схем, системообразующих принципов (наука). На языках духовных практик и их философских рационализаций первоначала-стихии мыслятся как элементы и космофизические энергии. Например, можно говорить об элементе земля на уровне физически-чувственного мира, но также об энергии элемента земля на уровне глубинного созерцательного переживания. Современная наука в рамках своей практики не находит особых энергий-стихий, лежащих в основании физической Вселенной. Космологическая теория Большого взрыва с гипотезой об изначально едином, однородном состоянии материи-энергии стремится объединить все силовые взаимодействия – сильное (силы сцепления внутри частиц и атомов), электромагнитное, слабое (силы отталкивания, приводящие к некоторым формам радиоактивного распада) и гравитационное. В прямом физическом эксперименте, ограниченном максимально возможными энергиями ускорителей, подтверждается объединение электромагнитного и слабого взаимодействий, а теоретически удалось объединить первые три типа взаимодействий. В теории Великого объединения сильное, электромагнитное и слабое взаимодействия рассматриваются как три различных проявления единой силы, что подтверждается астрофизическими наблюдениями. Осталась проблематичной природа гравитационного взаимодействия.

С физической точки зрения уместно интерпретировать стихии как агрегатные состояния вещества – твердое тело (земля), газообразное (воздух), жидкость (вода), плазма (огонь) и беспредельное пространство-время (эфир). Более конкретные интерпретации стихий в рамках критериев научности возможны по методу *творческой аналогии*, который не столь строг, но продуктивен в отношении воображения. Можно предложить студентам воспользоваться творческой аналогией, например, так, как это делали ученые.

Интересные творческие аналогии и размышления о натурфилософии античности с точки зрения современного естествознания можно найти в уже упомянутой монографии Идлиса. Приведу только несколько примеров.

Мнение ученого-физика Б.И. Спасского: «Решение Фалеса остановиться в поисках всеобщего материального первоначала именно на воде было для своего времени отнюдь не более наивным заключением, чем, например, предложенная в 1815 г. английским химиком У. Праутом (1785–1850) гипотеза, что атомы всех веществ состоят из атомов водорода, рассматриваемых в качестве своеобразных элементарных частиц первоматерии»[5]. У Анаксимена в качестве первоначала выступает материя как таковая, «определяющая все ее частные формы и их ка-

[5] Цит. по: Идлис Г.М. Революции в астрономии, физике и космологии. С. 79 (см.: Спасский Б.И. История физики. Ч. II. М., 1977).

чества, но сама неопределенная, бесформенная, бескачественная, представляющая собой единство противоположностей, уравновешивающих друг друга до взаимного уничтожения, т.е. по сути дела абсолютное ничто, равнозначное всему неисчерпаемому потенциальному многообразию Вселенной, или, по современной терминологии, сама Вселенная как целое, эквивалентная максимально однородному универсальному космологическому форну (физическому вакууму, пустому пространству-времени). По Анаксимандру, это – "апейрон" (ἄπειρου) – Беспредельное»[6].

Описания стихии огня у Гераклита вызывает особые симпатии у основателей энергетического мировоззрения в физике. Приведу мнение В. Гейзенберга, усматривавшего истоки квантовой теории в учениях натурфилософов об элементах:

«В наших представлениях мир раскрывается как бесконечное многообразие вещей и событий, цветов и звуков. Но чтобы его понять, необходимо установить определенный порядок. Порядок означает выяснение того, что тождественно. Он означает единство. На основании этого возникает убеждение, что должен существовать единый принцип; но в то же время возникает трудность, каким путем вывести из него бесконечное многообразие вещей. Естественный исходный пункт: существует материальная первопричина вещей, так как мир состоит из материи. Однако при доведении до логического конца идеи о принципиальном единстве приходят к бесконечному неизменному, бессубстанциональному "бытию", которое само по себе не может объяснить все бесконечное многообразие вещей безотносительно к тому, считаем ли мы это бытие материальным или нет. Отсюда полярность бытия и становления и, в конце концов, идея Гераклита, что основной принцип – это изменение, вечное превращение, которое, по словам поэта, обновляет мир. Но само превращение не является материальной причиной. Этим объясняется, что в философии Гераклита материальная причина представлена в виде огня. Огонь как первоэлемент является одновременно и материей и движущей силой.

Мы теперь можем сказать, что современная физика в некотором смысле близко следует учению Гераклита. Если заменить слово "огонь" словом "энергия", то почти в точности высказывания Гераклита можно считать высказываниями современной науки. Фактически энергия это то, из чего созданы все элементарные частицы, все атомы, а потому и вообще все вещи. Одновременно энергия является движущим началом. Энергия есть субстанция, ее общее количество не меняется, и, как можно видеть во многих атомных экспериментах, элементарные частицы создаются из этой субстанции. Энергия может превращаться в движение, в теплоту, в свет и электрическое напряжение. Энергия есть субстанция, ее общее количество не меняется, и, как можно видеть во многих атомных экспериментах, элементарные частицы создаются из этой субстанции»[7].

Перейдем теперь к культурным зеркалам и отражениям стихий в психокосмах. Продолжим тему огня. Древнейшие представления об огне как первоначале укоренились в языке, как в прямом, так и мета-

[6] Идлис Г.М. Цит. соч. С. 85.

[7] Гейзенберг В. У истоков квантовой теории. Сборник. М., 2004. С. 99.

форически-символическом смысле; в русском языке огонь – космическая сила (огонь небесный, неопалимая купина). Огонь – символ вечности, всеначальная энергия (пространственный огонь), символ творческого начала и разума: «душа есть огонь», «огненная природа мысли», «огненный взгляд», «прометеев огонь», «огонь живой лесной, лекарственный, купальский», символ домашнего очага и уюта, символ света, тепла, символ жизни и смерти: «около царя, как около огня, опалишися», «огнем и мечом», огненные стрелы, а также символ чистоты: очищающий огонь, «геенна огненная», символ вечной переменчивости: «смерть старого и одновременно рождение нового». Огонь это начало и одновременно конец. Это некая пограничная сущность между состояниями (мнение одного из студентов), символ страсти: «работать с огоньком», «искриться от счастья», «пылкая, как огонь». Знак пылающего огня – знак удачи и соблаговоления судьбы человеку (олимпийский огонь), а также символ вечной памяти. Можно привести немало контекстуальных примеров и о других стихиях, а еще лучше поручить это студентам. Все примеры подобраны студентами-социологами первого курса, которым было дано задание расшифровать смысл притчи: «Один начинающий ученик спросил Риши, который говорил ему об Агни: "Если буду несчетно повторять слово "Агни", произойдет ли мне польза?" Риши отвечал: "Конечно, произойдет. Ты стоял так далеко от этого понятия, что природа твоя хотя бы в звуке приобщится к великой основе Сущего"».

О восприятии стихий в поэзии, литературе и философии заинтересованным студентам можно рекомендовать прочесть замечательные книги французского философа и литературоведа, химика по основной специальности Гастона Башляра. На примере литературных произведений он анализирует действенность того, что называет динамическим и материальным воображением. Пять книг (пенталогия) о поэтике стихий Башляра – одно из интереснейших исследований по психологии творчества и действенной силе воображения, создающего миры культуры и миры индивидуальных психокосмов[8].

Представления об организующих мир стихиях осваивались натурфилософами разумом, но эти же представления можно обнаружить и в дологических формах мышления. По свидетельству Плутарха, египетские жрецы, танцуя, изображали во время мистерий движения различных небесных светил[9]. В Элевсине – месте совершения сокровенных таинств в Древней Элладе – сезонные праздники проходили, следуя строгому астрологическому порядку[10]. Музыка, танцы, пение органи-

---

[8] Башляр Г. Психоанализ огня. М., 1993; Он же. Вода и грезы. Опыт о воображении материи. М., 1998; Он же. Грезы о воздухе. Опыт о воображении движения. М., 1999; Он же. Поэтика пространства. М., 2004. Рекомендую также прочесть историко-философскую монографию Визгина В.П. «Эпистемология Гастона Башляра и история науки». М., 1996. Он же. Земля и грезы о покое. М., 2001.

[9] См.: Бороздина Т.Н. Древне-египетский танец. М., 1919.

[10] См.: Лауэнштайн Д. Элевсинские мистерии. М. 1996. Об эволюции танца и пластического интеллекта см.: Герасимова И.А. Философское понимания танца // Вопросы философии. 1998. № 4.

чески включались в общее действо, в котором переживались мифологические сюжеты. Интересно, что индийская традиция до наших дней сохранила космологические танцы. В одном из клубов Москвы в исполнении отечественного ансамбля индийского танца мне удалось посмотреть танец-повествование о сотворении мира стихиями.

Стихии с их особыми качествами входят в древнейшие медицинские классификации болезней. Основатель античной научной медицины Гиппократ вполне в духе традиций древних цивилизаций представлял человека структурно соотнесенным со средой – как природной (космической), так и социальной (сочинение «О водах, ветрах и местностях»). Любые нарушения в среде откладывают отпечаток на конституцию человека, его характер и болезни. Так, избыток или недостаток первоэлементов в природной среде ведет к нарушению баланса, физиологическим и психическим расстройствам. Классификация Гиппократа, синтезирующая предрасположенности к болезням, времена года, типы жидкостей и элементы, в приписываемой ему работе «О природе человека» основана на четырех состояниях. Из этой классификации вырастало учение о четырех темпераментах[11]. К сожалению, до наших времен не дошли конкретные древнегреческие практики, задействующие элементы. Но я думаю, полезно провести некоторые сравнения, опираясь на живые традиции других народов. Сходные, говоря современным языком, экологические позиции занимают традиционная китайская и тибетская медицина. Кроме того, сохранились оригинальные практики работы с пятью элементами в традициях тибетского шаманизма, Тантры и Дзогчен (высшая ступень и учение о природе ума в практиках Бон – добуддийской традиции Тибета). Учения о пяти элементах в этих практиках интересны тем, что действие элементов распространяется на мышление и психику человека, и, соответственно, отрабатываются упражнения, приводящие к восстановлению равновесия путем психической саморегуляции. Знакомство с этими учениями проливает дополнительный свет на истоки натурфилософских воззрений.

В книге современного наставника традиции Бон Тендзина Вангьяла Ринпоче «Исцеление формой, энергией и светом. Пять элементов в тибетском шаманизме, Тантре и Дзогчене» объясняется смысл учений об элементах и даются телесно-ориентированные и медитативные практики[12]. Интересно описание связи элементов с типами личности и познавательными способностями. Элемент земля мыслится как основание обычной жизни. Если земля уравновешена, то человек чувствует в себе устойчивость, основательность и уверенность. Его нелегко вывести из равновесия, он не отвлекается от того, что для него важно, умеет настоять на своем. Избыток земли ведет к излишне инертному состоянию, которому недостает движения. Мышление при этом замедленное, лишенное образованности и творческих способностей.

Обычно отрицательным аспектом земли считают неведение. Не-

[11] См.: Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. I. Античность. М., 1994. С. 84–91.

[12] Тендзин Вангьял. Исцеление формой, энергией и светом. Пять элементов в тибетском шаманизме, Тантре и Дзогчене. СПб., 2003.

достаток земли проявляется в легкомыслии, возбужденности, лишенности опоры. «Достигая в духовной практике полного развития, элемент земля становится мудростью беспристрастности»[13].

Практики, развивающие равновесие элемента воды эмоциональны. Высшее измерение воды в личном переживании – это радость бытия, удовлетворенность тем, что ты есть. Жизнь «течет, как по маслу», человек хорошо ориентируется в жизненных ситуациях и взаимоотношениях с другими людьми. Избыток воды ведет к поглощению человека эмоциями, а недостаток вызывает безрадостное состояние и напряженные отношения между людьми («черствость души»). Позитивный аспект огня связан со способностью созидать, «давать толчок процессам на любом уровне и завершать то, что творческая сила приводит в движение. Поскольку огонь воодушевляет и возбуждает, с ним связана интуиция»[14]. Избыток огня ведет к перевозбудимости, многословию, неустойчивости, а недостаток проявляется в отсутствии вдохновения. Воздух – это элемент, который несет перемену. «Воздух связан с любознательностью, жаждой знания и гибкостью ума. В своем высшем аспекте – это мудрость свершения». Воздух все соединяет. Практики, которые развивают воздух, включают дыхательные упражнения. Наконец, эфир мыслится как пространство, в котором все возникает, существует и растворяется. Для человека вместилище-пространство связано с сознанием. Избыток элемента пространства – недостаток присутствия, человек «теряет контакт» с окружающим миром, а при его недостатке все окружающее начинает властвовать над человеком. У человека с уравновешенным пространством есть время для всего, он открыт другим людям, толерантен и способен вмещать другие точки зрения – иные сознания-пространства. С пространством в высших медитативных практиках связана мудрость пустоты, пребывание в «природе ума», состоянии универсального сознания. В более тонких медитативных состояниях переживаются энергии элементов как чистые света, которые при дальнейшей дифференциации в восприятии порождают все другие энергии. Если перенести эти характеристики на мышление, то окажется, что кропотливая аналитика связана с элементом земля, творческий аспект – с огнем, воображение и вдохновение – с воздухом, вчувствование (эмпатия) – с водой, а синтез – с пространством.

Атомистика. Вернер Гейзенберг отмечал, что для теоретической физики особенный интерес представляют две идеи натурфилософии: «убеждение, что материя состоит из мельчайших неделимых единиц – атомов, и вера в творческую силу математических построений»[15]. Учение Демокрита и Левкиппа об атомах широко пропагандируется во всех учебниках философии. Согласно атомистам, элементарные кирпичики Вселенной различаются только по геометрическим свойствам – форме, положению и движению, которые мыслились достаточными для порождения всего чувственного многообразия. Современная физика, восприняв идею атомистов о том, что качественное разнообразие мира можно объяснить с помощью аналитически обозримых форм, по мне-

[13] Там же. С. 47.
[14] Там же. С. 49.
[15] Гейзенберг В. У истоков квантовой теории. С. 220.

мнению Гейзенберга, идет дальше наивного материализма натурфилософов: «Данные современной физики показывают, что атомы не существуют как простые телесные предметы, но что введение понятия атома делает возможной простую формулировку взаимосвязей, определяющих все физические и химические процессы»[16]. Внимательное знакомство с текстами Демокрита показывает, что в понятие атома он вкладывал и другие смыслы, которые не были восприняты естествознанием в начале XX в., но актуальны сегодня. Предложим для размышления следующие отрывки из солидного исследования С.Я. Лурье текстов Демокрита[17].

«*Первоначалами вселенной являются атомы и пустота, а относительно всего прочего только считается, что оно существует*» (с. 228) <...> «*пустота – это несуществующее, однако ничуть не менее реальное, чем существующее*» (с. 246).

«*Может существовать атом, величиной равной всему нашему миру*» (с. 255).

«*Все предметы обладают коекакой душой, даже мертвые тела* <...> *элементы имеют души и те являются причиной возникновения камней*» (с. 316).

Размышляя над этими фрагментами, магистранты, химики-технологи, использовали творческую аналогию: «Рассматривая теорию катализа (а как известно, практически все катализаторы – неорганические соединения), ученые из Новосибирска во главе с академиком Юшкиным выдвинули гипотезу о неорганическом происхождении жизни. Согласно ей, минеральная матрица (у Демокрита – камни) способна аккумулировать некую субстанцию – органику и превращать ее в более сложные структуры. Именно так можно объяснить появление белковой структуры из низкомолекулярных аминокислот на "активных" ("живых минералах"). В новосибирских исследованиях эта матрица – глина и околоподобные минералы – катализаторы – алюмосиликаты, цеолиты. Вспоминается миф о глиняном человеке, которого вылепил Бог и вдохнул в него "душу", а потом отобрал ее и глиняный человек обратился в прах».

«*Душа – огнеобразное соединение умопостигаемых частиц*». «*Атомы души малы и очень быстро движутся. Отсюда душу нельзя увидеть, хотя она телесна*» (с. 546).

Эти рассуждения обычно комментировали, указывая на энергию как основу психических процессов.

Индивидуальный когнитивный стиль Демокрита, если говорить языком современной психологии, отличается от общепринятого научного, но весьма близок художественному (и медитативному): «*Более (пяти) чувств имеется у бессловесных животных, у мудрецов и богов*» (с. 227). «*Когда незаконнорожденная мысль уже не может больше (ввиду перехода) к очень мелкому ни видеть, ни слышать, ни обонять, ни чувствовать вкус, ни познавать осязанием, а (приходится прибегать) ко все более тонкому, тогда приходит на помощь законнорожденная мысль*» (с. 86).

Космос Демокрита материалистичен, но это далеко не грубый и не механистичный материализм. Для натурфилософа-мыслителя физический космос неотделим от пси-

[16] Там же. С. 223.

[17] См.: Лурье С.Я. Демокрит. Тексты. Перевод. Исследования. Л., 1970. Ссылки на фрагменты с указанием страниц даются в тексте в скобках. – *Прим. ред.*

хокосма, и материя в своей основе – живая субстанция. Идеи одушевленного космоса, эволюции материи, предрасположенной к появлению разума в многообразных формах, вновь зазвучали у мыслителей эколого-ноосферного направления, среди которых русские космисты – Н.А. Умов, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, В.Л. Чижевский, Н.К. Рерих.

В текстах натурфилософов можно найти немало наивного, недосказанного, непоследовательного, надуманного. Их фантастические вымыслы о земле, то плывущей в океане вод (Фалес), то окруженной воздушными кольцами – звездными, лунными, солнечными с соответствующими огнедышащими отдушинами, наблюдаемыми нами в виде звезд, Луны и Солнца (Анаксимандр), то окруженной сферами в виде хрустальной небесной тверди с воткнутыми в нее наподобие гвоздей звездами чисто огненной природы (Анаксимен) и пр., у современного читателя могут вызвать ироническую улыбку. Возможно, такова природа азартного научного ума – находить или скорее *вносить* что-то ценное в обескураживающий порой ворох нелепиц и даже более того преображать материал, создавая логически выстроенные концепции. Что-то подобное случается, когда работаешь с молодыми исследователями, когда они приносят «сырые» тексты, в которых глупость соседствует с вызревающей оригинальной идеей. И радостно наблюдать первые профессиональные успехи. Умение узреть истину в видимости хаоса, откликнуться на любые повороты мысли, придать верный импульс любым идеям выделяет мастера. Творческие аналогии ученых-теоретиков и историков философии, вызванные прочтением античной философии, могут служить тому примером.

Кризис экономической науки как потеря ее жизненной значимости

В. А. КОЛПАКОВ

Тема кризиса сегодня чрезвычайно остра и самоочевидна. Кризис затронул многие сферы жизни, и наука не является исключением. Однако требуется разъяснение понятия «кризис», с тем чтобы оно не стало характеристикой перманентного состояния науки и рассуждений о ней. Ниже мы предлагаем анализ кризиса экономического знания в соответствии с традицией, идущей от Э. Гуссерля, где под кризисом понимается прежде всего утрата наукой связи с жизненным миром, потеря ее жизненной значимости.

* * *

Проблема кризиса европейских наук была поставлена Гуссерлем. Сообщая в письме Р. Ингардену (1935) о своем докладе в Вене, где были изложены основные приметы кризиса, Гуссерль отмечает два обстоятельства. Во-первых, кризис он связывает с идеей *европейского человечества* и ограничивает его европейской культурой. Кризис, согласно Гуссерлю, проявляется в том, что перспективы, изначально открытые культурой и историей, теперь оказываются закрытыми для человечества. Во-вторых, «основание кризиса, развернувшегося с конца XIX века, основание несостоятельности философии и ее ветвей, современных частных наук – их неспособности исполнить свое призвание (свою телеологическую функцию): дать нормативное руководство более высокому человеческому типу, который как идея должен был развиться в Европе исторически»[1]. То есть, с одной стороны, Гуссерль видел кризис европейских наук в том, что они сужают перспективу дальнейшего развития европейского человека, предназначенного ему его историей, которую они должны были ему приоткрывать. С другой стороны, Гуссерля не оставляла идея переноса успехов научного освоения окружающего мира на жизненный мир человека. Он считал, что нравственную, куль-

[1] Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Предисловие немецкого издателя. СПб., 2004. С. 6.

турную и интеллектуальную высоту европейца можно и нужно обеспечить с помощью философии и науки.

Рассуждая о кризисе науки, Гуссерль сомневается в том, что его мысль изначально будет понятна правильно, ибо под кризисом можно понимать также и кризис научности. Но даже неспособность классической физики объяснить новые явления и критика идеалов классической физики, пишет Гуссерль, не привела ее к потере научности: «Представлена ли физика Ньютоном, М. Планком, А. Эйнштейном, или, в будущем, кем-либо еще, она всегда была и остается точной наукой»[2]. То же относится и к наукам о духе. Пожалуй, только психология, считает Гуссерль, отстает в методах и научных достижениях.

Но научность имеет и другой смысл, согласно которому кризис психологии, длящийся несколько столетий, становится симптоматическим, – это кризис всех наук в их понимании субъекта. Наука не интересуется субъектом, реальным человеком. «Научная, объективная истина есть исключительное установление того, чем фактически является мир, как физический, так и духовный. Но может ли мир и человеческое вот-бытие в нем обладать поистине каким-либо смыслом, если науки признают истинным только то, что может быть таким способом объективно установлено, если история может научить только одному – тому, что все формы духовного мира, все когда-либо составлявшие опору человека жизненные связи, идеалы и нормы возникают и вновь исчезают, подобно набегающим волнам… Можем ли мы смириться с этим, можем ли мы жить в этом мире, где историческое свершение представляет собой не что иное, как непрерывное чередование напрасных порывов и горьких разочарований, вытекающих из победившей фактичности, устранения смысла и позитивистской редукции?»[3]. *Кризис науки воспринимается Гуссерлем как потеря ее жизненной значимости.* Для естествознания жизненный мир оказывается забытым смысловым фундаментом. Философия также перестала быть источником смыслов для жизненного мира. Она сама нуждается в восстановлении своих утраченных функций самоосмысления человечества и самоосуществления разума, отсутствие которых и закрывает те исторические перспективы, которые, как казалось, будут открыты европейскому человеку всегда. В этой связи Гуссерль обращает внимание на начавшийся в европейской культуре процесс «снижения» от высших ее предназначений к чему-то более посредственному и заниженному.

После проведенного Гуссерлем анализа кризиса европейских наук невозможно говорить о кризисе какой-либо науки без учета всех его возможных характеристик. И пытаясь обнаружить, есть ли в экономической науке кризис в смысле Гуссерля, необходимо учитывать ее решающее значение как для человечества в целом, ибо глобальный рынок объемлет сегодня все страны и народы, так и для любого человека в его редукции к экономическим целям и человеку экономическому. Экономические смыслы в мышлении современного человека пронизывают почти все формы его ментальности. В традиционных обще-

[2] Там же. С. 18.
[3] Там же. С. 21.

ствах человек меньше уделял внимания своему экономическому положению, чем теперь при капитализме. Парадоксально и то, что в высокоразвитых капиталистических странах экономические смыслы в жизнедеятельности людей вытесняют все остальные жизненные смыслы в большей степени, чем в остальных странах. Проявлением кризиса в современной цивилизации можно считать то, что производство все новых и новых потребностей, вплоть до формирования потребительского общества, не делает людей более счастливыми, а высокий уровень потребления в отдельных странах создает теперь уже новые формы глобальной несправедливости, несправедливости в распределении экономически созданных богатств между странами и целыми континентами.

Таким образом, о кризисе экономической науки в смысле Гуссерля можно говорить в следующем аспекте. С одной стороны, экономическая наука активно участвует в формировании экономической жизнедеятельности общества и тем самым активно вытесняет многообразие жизненных смыслов человека «докапиталистического общества», заменяя их экономическими. Деньги, потребности, товары и т.п. становятся универсальными категориями современного дискурса. С другой же стороны, жизненный мир, замкнутый на смыслы, присущие только экономическому человеку, обнаруживает свою скудность, теряет свою безмерность и универсальность. Обедненный экономическим обрезанием жизненный мир современного человека утрачивает свою жизненную значимость, и как все искусственное и чуждое настоящей жизни оставляет пребывать человека в состоянии постоянного разочарования.

Однако было бы неверно утверждать, что экономическая наука, вырабатывая внутри себя смыслы, навязывает их обществу в виде целей или других идеальных планов деятельности. Вопрос о механизмах вхождения научных смыслов в общественную практику требует специального пояснения, если мы хотим разобраться в сути кризиса, поразившего экономическое знание. Для этого необходимо ответить на следующий вопрос: ставит ли экономическая наука цели обществу, или эти цели ставит само общество? Однозначный ответ сегодня вряд ли возможен. В науке есть не только финализация – формирование когнитивного аппарата для достижения наукой поставленных обществом внешних целей, но и собственное участие в постановке целей на основе осознанных ею возможностей. По мнению известного экономиста А. Сена, субъект экономической науки выполняет три различные задачи: предсказание будущего и причинное объяснение событий прошлого; выбор приемлемых описаний состояний и событий в прошлом и настоящем; осуществление нормативной оценки состояний, институтов и политики[4]. Эти разветвленные функции, безусловно, включают более широкий класс проблем, который позволяет экономической науке участвовать в постановке общественно значимых целей, видеть последствия экономоцентризма, культивирования в об-

[4] См.: Sen A. Economic Methodology: Heterogenity and Relevance // Social Research. An International Quaterly of the Social Sciences. 2004. V. 71. № 3. P. 585.

ществе «экономического человека», сосуществования неравенства и нужды на одном полюсе и потребительства на другом. Следовательно, методологически ограниченная натуралистической программой экономическая наука смотрит на себя как на полезный инструмент, отказываясь от ответственности за реальное состояние общества, которое, в свою очередь, сильно зависит от экономики. Критика же инструмента часто не имеет смысла, так как существуют и другие способы, методы и средства, совокупно ответственные за результат. Гуссерль, собственно, винит философию, допустившую позитивистский переворот в науках. Но, может быть, он исходит из интересов философии, а не науки? В противном случае мы будем требовать от экономической науки участвовать в постановке целей, отвечать за результат применения – все то, что должны делать философия, политика, этика и общество в целом. Может быть, в существующем виде экономическая наука – это инструмент и в этом ее роль? Не надо требовать от молотка или микроскопа ни мировоззренческих функций, ни ответственности за то, что молотком пробили голову, а микроскоп применили, как молоток. Ведь в обществе всегда существует разделение труда. И все же уход экономической науки от связи с множеством реальных проблем, превращение ее из политической экономии в инструментальную дисциплину, потерявшую связь с повседневностью, безусловно, заслуживает критики.

Экономическая наука не может не нести ответственности за социальные последствия своих рекомендаций, так как грандиозные социальные преобразования все же отчасти осуществляются по ее проектам. Среди аргументов критики есть требование к экономической теории не терять ценностного отношения к миру, формировать нормативные, а не только основанные на фактах представления о реальности, чувствовать «требования нужды». Упомянутый выше Сен отмечает, что в экономике легко увидеть «контрфактуальные» предложения. «Такой (контрфактуальный. – *В.К.)* тип исследования отрицается в современной экономике частично из-за доминирования позитивистской методологии и узкого круга научных интересов в современной экономической науке (специализации. – *В.К.*), и он может выглядеть как возврат к значимому классическому интересу, подчеркивающему часть мотиваций для поиска "теории ценности"»[5].

Таким образом, современная экономическая наука, в той части, где она ориентируется на позитивистскую методологию, продолжает утрачивать свою жизненную значимость. И этот кризис дополняется ностальгией по классической научности. В экономике «снижение» произошло не только в мировоззренческой сфере, но и в самих критериях и идеалах научности. В частности, чрезвычайная эмпиричность и преобладание количественных подходов, редуцирование экономических процессов к часто непроверенным моделям, а затем научный анализ этих моделей усиливают уход экономических теорий от жизненной реальности и отказ от ориентации на эвристичность[6].

[5] Ibid. P. 588.

[6] Landreth H., Colander D.C. History of Economic Thought. Boston, Toronto, 2002. P. 382.

М. Блауг писал: «Сегодня, если вы спросите экономиста, идущего по экономическому мейнстриму, о каком-либо аспекте экономической жизни, ответ будет: полагаю, мы моделируем ситуацию и смотрим, что получится… Есть тысячи примеров; суть в том, что современный экономический мейнстрим содержит мало чего, кроме примеров таких процессов»[7].

Придание слову «мейнстрим» в отечественной литературе едва ли ни терминологического значения часто противоречит здравому смыслу. Это – обыденное слово английской речи (не парадигма, не исследовательская программа), обозначающее главное направление чего-то в определенный период. Употребление этого слова без указания доминанты – это нонсенс. Полагаю, что выделенный Блаугом мейнстрим сменился в период посткоммунистических революций с математизированно-моделирующего на неолиберальный с тем же формализмом и натурализмом в представлении о неизменной природе человека, онтологически истолкованной как экономическая – свойственная человеку по природе устремленность к максимуму удовлетворения при минимуме издержек. Буржуазный человек, субъект капиталистического производства во многом таков, но не по своей природе, а в связи с предложенным ему или выбранным для него способом деятельности. Для обоих мейнстримов экономического анализа – формализма и неолиберализма – характерны натурализм и отрыв от жизненного мира.

Хотя экономическая наука внесла огромный вклад в прогресс экономики развитых капиталистических стран, она как преимущественно натуралистически организованное знание обнаруживает несколько признаков кризисного состояния:

– кризис научности, т.е. соответствия фактам ее опыта, в том числе и определения области своей фактичности;

– кризис в понимании субъекта экономической деятельности;

– неспособность объяснить новые реальности, такие как глобализация капитализма, изменения в характере труда и мотиваций, ослабление влияния западных моделей, новые экономические мотивации капитализма в Азии, посткоммунистическая стагнация и др.;

– разрыв не только с повседневным миром людей, но и с обществом, ее обособление и уход от политической экономии, ее экономоцентризм;

– господство натуралистической исследовательской программы и игнорирование экспертных возможностей, вытекающих из взаимодействия с культурцентристской программой и вненаучным экономическим знанием;

– идеологизация экономических теорий (неолиберализм);

– слабый теоретический интерес к жизненному миру, повседневной экономической жизни людей.

Как видим, в соответствии с идеями Гуссерля, кризис экономической науки в конце XX в. проявился не только в утрате ее ценностного содержания, но и в стандартах ее научности. В сущности это – перманентный кризис. Напротив, в классической политической экономии не удавался «не измышляющий

[7] Blaug M. The Formalist Revolution on What Happened to Ortodox Economics After World War II // Discussion Paper in Economics. University of Exeter. 1998. № 98. 10 October. P. 2.

гипотез» эмпиризм. Поэтому справедливо утверждать, что «попытка построения системы строго научного экономического знания, основанная на непосредственном, некритическом заимствовании методологических идеалов классического естествознания, завершилась широкомасштабным кризисом, потрясшим основания политической экономии»[8]. Этот кризис состоял в переносе априорных познавательных форм естествознания на неадекватную им сверхчувственную предметную реальность экономики. Марксизм попытался дать свою альтернативу классической политической экономии, сохранив трудовую теорию стоимости, но вопреки марксистской системе взглядов экономика развитых стран оказалась способной к преодолению классовых антагонизмов посредством управления и введения социальных программ. Попытка преодоления кризиса натуралистической программы классической политической экономии посредством обращения к субъективной реальности – предельной полезности – была предпринята в маржинализме. Однако рассмотрение предельной полезности в качестве готового, а не формируемого свойства лишает маржинализм устойчивой связи с жизненным миром человека и способности изменять этот мир.

На мой взгляд, истоки современного кризиса экономического знания начинаются с маржиналистов и имеют временные рамки, определяемые господством маржинализма и неолиберализма, т.е. натуралистических теорий в экономике, составивших ее мейнстрим в XX в. Главное, что произошло между этими вехами развития экономической науки, это отрыв экономического знания от жизненного мира. Как уже было сказано, Гуссерль упрекал естествознание в том, что оно забыло свой смысловой фундамент, включающий жизненный мир. Критика фактологичности науки и такого понимания объективности у Гуссерля имеет отнюдь не абстрактный характер. Он формулирует ее как «проблему "жизненного мира"», как частную проблему «всеобщей проблемы объективности науки»[9]. Концепцию жизненного мира для ученого он описывает так: «Напомним о том приобретшем для нас значимость факте, что наука есть свершение человеческого духа, которое исторически и для каждого изучающего предполагает исхождение от созерцаемого окружающего жизненного мира, предданного всем в качестве сущего, а также в своем осуществлении и дальнейшем проведении постоянно предполагает этот окружающий мир, как он в тот или другой момент предлагает себя ученому»[10]. Гуссерль отмечает связь научного познания с донаучным. Жизненный мир «образует постоянную почву значимости, всегда готовый источник само собой разумеющегося, которым мы без лишних разговоров пользуемся и как практические деятели, и как ученые»[11].

Жизненный мир может стать предметом научного познания, если покинет пределы натуралистической

[8] Сорвин К.В. Проблема аксиоматики экономической науки // Самосознание: мое и наше. М., 1997. С. 174.

[9] Гуссерль Э. Цит. соч. С. 166.

[10] Там же.

[11] Там же. С 167.

программы науки, в данном случае экономики. Гуссерль находит следующее отношение между наукой и объективным миром: «Объективные науки как субъективные образования – образования особой, теоретико-логической практики, сами принадлежащие к полной конкретности жизненного мира»[12].

Антинатурализм гуссерлевской критики науки оказал большое влияние на формирование антинатуралистической феноменологической исследовательской программы. В новой исследовательской программе экономическая наука тесно связывается с повседневной экономической жизнью и хозяйственной деятельностью: люди имеют собственные возможности судить о состоянии экономики, свои способы адаптироваться к экономической ситуации и свое повседневное экономическое знание. Согласно феноменологической трактовке, которая задает основания культурцентристской программы, повседневность является граничным условием познания и практики. Экономическая наука, построенная в рамках культурцентристской исследовательской программы, наиболее ярко выражает тенденции неклассической и постнеклассической научности. Кроме того, культурцентристская программа перестает ассоциироваться «с элиминацией из эпистемологических моделей свободной, креативной деятельности человека»[13].

Как показали И.Т. Касавин и С.П. Щавелёв, философия, с одной стороны, стремится к преодолению повседневности с ее часто мнимыми самоочевидностями и обыденной рациональностью. С другой стороны, она пытается ослабить действие онаучивающей рациональности посредством обращения к повседневности, установления связи с жизненным миром и интерсубъективностью[14]. Это вписывается в разделение философских направлений на классические и неклассические. Первые тяготеют к научной объективности философии, они опираются на нормы классической научности естествознания. Вторые задают образцы антинатуралистических, культурцентристских подходов. Среди философов, которые принадлежат ко второму направлению, можно особо отметить Гуссерля, А. Шюца, П. Бергера, Т. Лукмана. Среди отечественных исследователей проблемой жизненного мира занимаются, помимо названных, также Л.А. Микешина, Н.В. Мотрошилова, Н.М. Смирнова, В.П. Филатов. Феноменология, герменевтика, философия жизни, философская антропология, гуманитарные науки делают анализ повседневности своим предметом и включают в свой метод соотнесение жестких социальных структур с более аморфными структурами повседневности, что приводит к появлению «мягких» методов в социологии, экономической социологии, политологии и пр. Контекст повседневности имеет верифицирующее значение и для натуралистической исследовательской программы в экономической науке. Но в культурцентристской программе повседневность включают в предмет исследования, причем не только в качестве стабильного, но и меняющегося феномена. Шюц обращается именно к меняющейся повседневности, конфликтам старой

[12] Там же. С. 177.
[13] Сорвин К.В. Цит. соч. С. 153.
[14] См.: Касавин И.Т., Щавелёв С.П. Анализ повседневности. М., 2004.

и новой повседневности. В работах «Чужак» и «Возвращающийся домой» показаны изменения жизненного мира, утрата самоочевидностей прежней повседневности.

Шюц отвергает натурализм, для которого социальная реальность была раз и навсегда данной. Эта реальность не только окружает людей, но и создается ими. Бергер и Лукман утверждают, что реальность не совпадает с теоретическими конструктами, но включает повседневность и знание людей о ней. Феноменология предлагает для учета повседневности метод формирования коллективных представлений как социальных институтов.

В «Анализе повседневности» Касавин и Щавелёв показывают, что гносеологические потребности имеют свойство резко изменяться в период социальных трансформаций. Повседневное знание теряет прежние ориентиры и требует быстрых изменений. Думая о собственной адаптации и безопасности, люди должны узнавать все больше и больше об окружающих их людях, продуктах, товарах, ибо автоматизмы и очевидности новой жизни еще не сложились. В частности, даже ориентация покупателя становится формой социализации[15].

В теоретическом плане сегодня очевидно, что в таких дисциплинах, как экономика, конструктивистский элемент, математизация, глубокие абстракции не должны отсекать ту линию исследования, в которой сохраняется наивный реализм и восприятие экономической реальности как части повседневности. Основатель феноменологии Гуссерль разделял «жизненный мир как универсум всего принципиально доступного созерцанию» и «"объективно-истинный мир" как принципиально недоступную созерцанию "логическую" субстанцию»[16]. Исходя из этого, он различал «два основных возможных способа тематизировать жизненный мир: наивно-естественная прямая установка и идея последовательно рефлексивной установки на то, каким способом осуществляется субъективная данность жизненного мира и его объектов»[17]. Понятие «жизненный мир» совпадает или близко понятию «повседневность». Онтология жизненного мира у Гуссерля – это мир опыта, который не может отвергать наивной установки на непосредственное восприятие мира. Эти важные методологические принципы я использовал в анализе кризиса экономической науки.

Неспособность экономической науки объяснить новые реальности является признаком ее кризиса. Существует, скорее, кризис не экономической теории вообще, а экономических направлений, работающих в натуралистической программе, среди которых можно указать на формализованные теории, ориентированные на анализ математизированных моделей, и экономические теории, служащие основанием для неолиберальной политики. Абстрактная трактовка человека как человека экономического, устремленного к максимуму удовлетворений при минимуме издержек, типологически близка к характеристике человека буржуазного общества, но она не универсальна и потому несет черты формализма, отрыва от жизненного мира. Модель экономиче-

[15] Там же. С. 261–262.

[16] Гуссерль Э. Цит. соч. С.174–177.

[17] Там же. С.195–200.

ского человека не способна отобразить повседневность большей части человечества, поэтому так трудно осуществить цель экономики – улучшение жизни людей. Эти приметы кризиса и ставят перед экономическим знанием новые эпистемологические и методологические вопросы.

* * *

К основным результатам, полученным в настоящем исследовании, можно отнести следующее.

Показано, что натуралистически ориентированная экономическая теория отличается незначительным теоретическим интересом к жизненному миру, к повседневной экономической жизни людей.

Обоснована точка зрения о том, что на примере экономики можно наблюдать не только разрыв науки с повседневным миром людей, но и с обществом, ее обособление и уход от политической экономии.

Продемонстрирована недостаточная эвристичность экономической науки, проявляющаяся в том, что она плохо приспособлена объяснять такие новые реальности капитализма, как глобализация, изменения в характере труда и мотиваций на постиндустриальных фазах, ослабление влияния западных моделей, новые экономические мотивации капитализма в Азии, посткоммунистическая стагнация и др.

Установлено, что одна из причин кризиса состоит в господстве натуралистической исследовательской программы и в пренебрежении экспертными возможностями, вытекающими из взаимодействия с культурцентристской программой и вненаучным экономическим знанием.

Утверждается, что прочность позиции формальной, натуралистической парадигмы в экономическом знании обеспечивает идеологизация экономических теорий в форме неолиберализма, утверждающего неизменную природу человека.

Наконец, в экономическом знании обнаружен феномен, который может быть назван «перманентным кризисом научности», т.е. излишняя ориентация на анализ математизированных моделей и забвение области своей фактичности.

Язык и онтологическая относительность

П. С. КУСЛИЙ

Вопросы онтологии всегда привлекали внимание философов. Из каких объектов состоит мир? Какими свойствами обладают эти объекты? В каких отношениях между собой находятся? Какова структура мира? На эти вопросы отвечала метафизика, которая конструировала реальность, опираясь на некоторые априорные философские дисциплины. Можно упомянуть в этой связи великие метафизические системы Г.В.Ф. Гегеля, Ф.В. Шеллинга, А. Шопенгауэра, А. Бергсона, созданные в XIX в. Однако в XX в. создание таких систем привлекало философов значительно меньше. Это объясняется, с одной стороны, тем, что обоснованную и широкую картину мира создала наука и тем самым сильно ограничила сферу философских спекуляций по поводу реальности; с другой стороны, в самой философии произошел «лингвистический поворот», благодаря которому рассмотрение вопросов онтологии стало осуществляться опосредованно через исследование вопросов языка. Развитие математической логики, логической семантики, лингвистики привело к формированию аналитического подхода в философии, рассматривающего анализ языка как важное средство решения философских проблем. Вопрос о том, какова структура мира, в аналитической философии начал формулироваться как вопрос о том, какую онтологию заставляет нас принять используемый нами язык. Говорить об онтологии без апелляции к какому-либо языку стало как минимум проблематичным. Новая точка зрения на онтологию приводит к многообразным и интересным следствиям.

Темой моих исследований является теория онтологической относительности, являющаяся прямым следствием описанного нового взгляда на вопросы онтологии. Данная теория была разработана американским философом У. Куайном в 60-е и 70-е гг. прошлого столетия и до сих пор остается актуальной для целого ряда проблемных областей философии. Именно он стал использовать термин «онтология» как синоним термина «универсум сущностей». Теория онтологической относительности является, в свою очередь, следствием утверждения о том, что язык задает тот или иной универсум сущностей. Таким обра-

зом, если языков много, то много и универсумов. Поэтому о единой реальности в классическом смысле говорить не приходится, а любая реальность задается концептуализирующим ее языком. Следствиями, образующими неразрывный комплекс с теорией онтологической относительности, являются семантический и эпистемологический холизм, прагматизм в выборе языков и, соответственно, универсумов и, наконец, натурализм в вопросах познания. В данной работе осуществляется попытка исследовать природу теории онтологической относительности, ее генезис, а также роль в современных философских дискуссиях.

У истоков новой точки зрения на онтологию, по-видимому, стоит Г. Фреге. Его интересовали проблемы, связанные с обоснованием математики посредством выведения ее из простых логических принципов. В процессе решения этих проблем он обратился к анализу языка математики и создал семантическую систему, которая в течение всего XX в. служила исходным пунктом для семантических исследований. Все языковые выражения Фреге рассматривал как имена, обозначающие объекты. У каждого имени, по мнению Фреге, был объект, который выступал в качестве значения этого имени. Наряду со значением каждое имя, по Фреге, обладало и смыслом, т.е. некоторой объективной мыслью, связанной с именем. Например, выражения «Вечерняя звезда» и «Утренняя звезда» обозначают планету Венера – этот объект является значением данных выражений. Однако по своему смыслу эти выражения отличаются. Даже предложения Фреге рассматривал как имена истины и лжи, смыслом же предложения он считал выражаемую ими мысль. Таковы основные идеи «трехчастной» семантики Фреге, до сих пор служащей средством анализа языковых выражений.

Если у Фреге все языковые выражения рассматривались как имена и, следовательно, как обозначения каких-то объектов, то для Б. Рассела подобная картина казалась недопустимой. Проблему он видел в том, что онтологическая картина, создаваемая языком, включала в себя самые разнообразные объекты, как конкретные, так и абстрактные. В своей статье «Об обозначении» (1905) Рассел показал, что подобное понимание может расходиться со здравым смыслом и приводить к противоречиям. Среди языковых выражений далеко не все являются подлинными именами, обозначающими какие-либо сущности. Если «Буцефал» обозначает некую реальную лошадь, то термину «Пегас» вряд ли будет соответствовать какая-либо реально существующая сущность. Поэтому, говорит Рассел, лучше рассматривать языковые выражения не как имена, а как дескрипции (описания), которым может соответствовать некоторый объект, а может и не соответствовать. Сама по себе дескрипция ничего не обозначает и обретает значение лишь в предложении.

Еще дальше в этом направлении идет У. Куайн, проводя строгое различие между именами и синкатегорематическими терминами. Последние, подобно дескрипциям, ничего не обозначают и обретают значение лишь в контексте. Встает вопрос: какие же выражения языка являются подлинными именами? Куайн отвечает, что таковыми являются термины, которые можно подставлять вместо переменной, связанной квантором. Отсюда его знаменитый критерий: существовать значит быть значением связанной переменной. Язык, таким образом, указывает на

то, какой универсум принимается теми, кто его использует. Принятие же того или иного языка обязывает к принятию той или иной онтологии.

Утверждение зависимости онтологии от языка имело далеко идущие следствия. Если универсум задается языком, а различных языков много, то много и различных универсумов, а об одном универсуме, лежащем в основе всех языков, говорить не приходится. В этом и заключается суть тезиса об онтологической относительности. Здесь, однако, не утверждается, что вопросы реальности и существования, с одной стороны, и вопросы языка, с другой, – это одно и то же. В самих вопросах существования нет ничего лингвистического. Однако важно понимать, что говорить о какой-либо реальности можно, только концептуализировав ее в языке. Поэтому анализ вопросов существования и должен осуществляться посредством анализа вопросов о языке.

Важным фактором для обоснования теории онтологической относительности является отдельное исследование вопросов значения (смысла) языковых выражений. Это вызвано тем, что куайновский критерий существования говорит о том, что не существует единого первого универсума, так как объекты постулируются языком. Однако здесь может быть выдвинуто следующее возражение: если нельзя отыскать первую реальность, то, может быть, можно отыскать первый язык, в который были бы переводимы все остальные языки различных теорий, и рассматривать его как язык, говорящий о первой реальности. На опровержение данного подхода нацелена куайновская критика понятия значения и аналитичности.

Куайн подверг критике верификационистскую теорию значения и дихотомию аналитического–синтетического. В статье «Две догмы эмпиризма» (1951) он показал, что такое высказывание, как «Холостяк – это неженатый мужчина», следует скорее рассматривать как синтетическое. Данное утверждение привело его к тезису о неопределенности перевода, представленному в книге «Слово и объект» (1960) и сводящемуся к отрицанию существования значения как объективной независимой сущности во фрегевском смысле. Носителем значения, по Куайну, является язык или теория в целом. Отдельные же языковые единицы следует рассматривать как значимые лишь в контексте общей теории, в которой они употреблены. Эта позиция получила наименование «холизма» и, как утверждается в диссертации, должна рассматриваться как неотъемлемое следствие теории онтологической относительности.

Семантический холизм говорит о том, что термины и предложения обретают значение в рамках языковой системы. Эпистемологический холизм добавляет, что эмпирической проверке подвергаются не отдельные предложения, а система в целом. Последнее утверждение известно как тезис Дюгема–Куайна. Данные взгляды нашли выражение в философии науки, в частности в концепциях Т. Куна и П. Фейерабенда. Касаясь взаимоотношений между разными концептуальными системами или языками, Куайн показал, что точный перевод утверждений одной системы в другую невозможен. Это послужило отправным пунктом для разработки Куном и Фейерабендом тезиса о несоизмеримости конкурирующих парадигм.

Холистская концепция Куайна вполне последовательна и кажется

весьма привлекательной. Она послужила логико-семантической основой для многих философско-методологических концепций, появившихся во второй половине XX в. Ее влияние на развитие аналитической философии проявилось также и в том, что она вызвала многочисленные возражения и подверглась серьезной критике. И семантический холизм, и эпистемологический холизм в том виде, в каком они были представлены в работах Куайна, а также Д. Дэвидсона, развившего идеи последнего, представляются не вполне удовлетворительными. В частности, сложно согласиться с тем, что значения терминов и предложений определяются концептуальной системой в целом, так как из этого вытекает, что для того чтобы понять значение слова «снег», необходимо уже заранее знать весь русский язык. Однако этого очевидно не требуется. То же самое относится и к языкам научных дисциплин: чтобы понять значение таких терминов, как «сила», «скорость», «химический элемент» или «биологический вид», не нужно изучать всю физику, химию или биологию. Если же допустить, что эмпирическую проверку допускает только вся концептуальная система в целом, то оказывается, что я не могу убедиться в истинности или ложности таких отдельных предложений, как «Снег бел» или «Удельный вес золота выше удельного веса железа». Однако это, очевидно, не соответствует ни повседневной практике, ни практике науки.

Возможно, очевидных недостатков холизма можно избежать за счет некоторого ослабления его основных принципов: значения терминов и предложений определяются не всей концептуальной схемой, элементами, которой они являются, а лишь контекстом текущей проблемной ситуации и прагматическими целями участников данной ситуации. Так, значение термина «сознание» будет разным, скажем, в философии, психологии и нейрофизиологии. Более того, в каждой из этих дисциплин данный термин может иметь также разное значение в зависимости от конкретного направления в рамках той или иной дисциплины. Значение термина может меняться от контекста к контексту. Сколько различных контекстов, столько различных значений терминов. Данная позиция может быть названа «контекстуальным холизмом». Кажется, контекстуальный холизм более удачно сочетается с теорией онтологической относительности, так как помогает избежать многих трудностей классической версии холизма.

О VI РАЗДЕЛЕ «ЗАМЕТОК ПО ОСНОВАНИЯМ МАТЕМАТИКИ» Л. ВИТГЕНШТЕЙНА[1]

(предисловие к русскому переводу)

В. А. СУРОВЦЕВ, В. А. ЛАДОВ

Заметки Л. Витгенштейна, написанные им в период с 1937 по 1944 г. и посвященные философии математики, впервые были опубликованы на немецком языке с параллельным переводом на английский в 1956 г. в издательстве «Basil Blackwell» (Oxford) под названием «Заметки по основаниям математики» под редакцией Г.Х. фон Вригта, Р. Риса и Г.Э.М. Энском, которые в предисловии отмечали, что публикуемый текст является выборкой из более объемистых рукописей. С незначительными редакторскими правками этот же текст был издан второй раз в 1967 г. В предисловии к данному тексту редакторы указывали на то, что желательным было бы более полное издание этих заметок, что и было осуществлено позднее. В 1974 г. сначала на немецком языке в издательстве «Suhrkamp Verlag» (Frankfurt am Main), а в 1978 г. на английском в издательстве «Basil Blackwell» (Oxford) вышло третье издание «Заметок по основаниям математики», которое не только было значительно расширено, но и имело иную структуру. В частности, текст, который ранее фигурировал как *Приложение 2* к *Разделу I*, был дополнен новыми заметками и образовал самостоятельную часть, фигурирующую теперь как *Раздел II*. Структура *Раздела I* была несколько изменена, а содержание расширено за счет близких по содержанию заметок, к тому же к нему были добавлены два новых приложения (первое повторяло содержание отдельных параграфов «Философских исследований», второе было посвящено неожиданному в математике). *Разделы II* и *III* первой редакции в третье издание вошли без изменений и стали соответственно *Разделами III* и *IV*. За счет включения нового, но сходного по содержанию материала были значительно расширены *Разделы IV* и *V*, причем первый из них стал *Разделом V* нового издания, а второй *Разделом VII*. Последнее было обусловлено тем, что в третье из-

[1] При поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 05-03-03402.

дание редакторами был включен совершенно новый *Раздел VI*, материалы которого, относящиеся к 1943–1944 гг., в первом издании отсутствовали вообще. Содержание этого раздела почти полностью посвящено крайне важной для философии позднего Витгенштейна проблеме следования правилу. Первоначально находившаяся в тени других тем, таких как понятия языковой игры или формы жизни, эта проблема стала предметом бурного обсуждения в среде аналитической философии последних трех десятилетий, что во многом было инспирировано публикацией расширенной версии «Заметок по основаниям математики».

Нельзя сказать, что эта тема впервые появилась именно здесь. Первые упоминания термина «правило» можно найти уже в материалах к лекциям, прочитанным Л. Витгенштейном в 1933–1934 гг. в Кембридже (так называемая «Голубая книга»). Здесь мы можем обнаружить, к примеру, такой пассаж:

«Помни, что вообще-то мы не используем язык в соответствии со строгими правилами – мы даже не обучались языку посредством строгих правил. С другой стороны, в наших дискуссиях *мы* постоянно сравниваем язык с исчислением, проводимым по точным правилам»[2].

Еще большее распространение тема правила получает в лекциях по основаниям математики, прочитанных Витгенштейном в 1939 г. В тексте, изданном К. Даймонд в 1976 г. на основании конспектов Н. Малколма, Р. Риса, А. Тьюринга, Г. фон Вригта и др., в 25-й лекции мы читаем:

«Я постоянно подчеркивал, что для данного множества аксиом и правил мы могли бы вообразить различные способы их использования. Вы могли бы сказать: "Итак, Витгенштейн, вы, по-видимому, хотите сказать, что *нет* такой вещи как необходимость того, что эта пропозиция следует из той". – Следует ли нам говорить: Поскольку мы утверждаем, что какие бы правила или аксиомы вы не задавали, их все равно можно применять многообразными способами, постольку это, в определенном смысле, лежит в основании математической необходимости?»[3].

В еще большей степени обсуждение вопросов, связанных с темой формулировки правил и их применений, можно обнаружить в «Nachlass» – объемном рукописном наследии Витгенштейна, особенно в тех разделах, где представлены подготовительные материалы к «Философским исследованиям». Под «Nachlass» здесь понимается корпус заметок Витгенштейна (около 20 тысяч страниц), составленный на основе материалов его архивов, находящихся в Австрийской национальной библиотеке, в Бодлеанской библиотеке Оксфорда, архиве Б. Рассела в Гамильтоне (Онтарио) и каталоге фон Вригта в библиотеке Тринити колледж в Кембридже. Имеется электронная версия «Nachlass», которая распространяется университетским издательством Оксфорда и университетом Бергена.

Но главным источником сведений по проблеме следования пра-

[2] Wittgenstein L. Blue and Brown Books. Oxford: Blackwell, 1958. P. 25.

[3] Wittgenstein's Lectures on the Foundations of Mathematics, Cambridge 1939 / (Ed.). Diamond C. Ithaca, New York: Cornel Univwrsity Press, 1976.

вилу в формулировке Витгенштейна конечно же были и остаются «Философские исследования» – основное сочинение, относящееся к так называемому позднему периоду его творчества, которое впервые было опубликовано в 1953 г.[4] Здесь в § 201 четко сформулирована основная проблема, касающаяся понятия правила и вытекающих из него следствий:

«Наш парадокс был таким: ни один образ действий не мог бы определяться каким-то правилом, поскольку любой образ действий можно привести в соответствие с этим правилом. Ответом служило: если все можно привести в соответствие с данным правилом, то все может быть приведено и в противоречие с этим правилом. Поэтому тут не было бы ни соответствия, ни противоречия.

Мы здесь сталкиваемся с определенным непониманием, и это видно уже из того, что по ходу рассуждения выдвигались одна за другой разные интерпретации, словно любая из них удовлетворяла нас лишь на то время, пока в голову не приходила другая, сменявшая прежнюю. А это свидетельствует о том, что существует такое понимание правила, которое не является интерпретацией, а обнаруживается в том, что мы называем "следованием правилу" и "действием вопреки" правилу в реальных случаях его применения.

Вот почему мы склонны говорить: каждое действие по правилу – интерпретация. Но "интерпретацией" следовало бы назвать лишь замену одного выражения правила другим»[5].

После выхода в свет «Философских исследований» прошло уже более полувека. За это время было написано огромное количество сочинений философов-аналитиков, интерпретирующих точку зрения Л. Витгенштейна относительно правил, и выраженные в них взгляды, возможно, достойны того, чтобы рассматривать их даже как более авторитетные, нежели тексты самого Витгенштейна, в виду глубины и скрупулезности проработки данной проблематики. учтены и проработаны. они, возможно, должны званалитиков, интерпретирующих взгляды Это относится как к попыткам адекватно истолковать взгляды самого Витгенштейна, так и к попыткам построить, отталкиваясь от его идей, собственную философию. И хотя во многом можно согласиться с мнением А.Ф. Грязнова, что «для западной философии последних лет практически потеряло значение какое-либо противопоставление теоретических реконструкций смысла витгенштейновских текстов (так называемое *витгенштейноведение*) и позитивной разработки актуальных философско-лингвистических проблем, базирующейся на идеях австрийского философа (так называемое *витгенштейнианство*)»[6], можно утверждать, что, по крайней мере, в отношении проблемы следования правилу указанное выше противопоставление не просто продолжает существовать, но и является одним

[4] Wittgenstein L. Philosophical Investigation. Basil Blackwell, Oxford and Macmillan, New York, 1953 (русский перевод: Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994. С. 75–319).

[5] Витгенштейн Л. Философские исследования. С. 163.

[6] Грязнов А.Ф. Язык и деятельность: Критический анализ витгенштейнианства. М., 1991. С. 6.

из определяющих в развитии современной аналитической философии. Здесь достаточно указать на крайне интересную дискуссию наиболее почитаемых витгенштейноведов, оксфордских философов Г. Бейкера и П. Хакера с американским философом и логиком С. Крипке, пожалуй, наиболее ярким витгенштейнианцем в указанном выше смысле[7].

К проблеме следования правилу, как она поставлена у Витгенштейна, и вытекающим из нее парадоксальным следствиям, сформулированным современными философами-аналитиками, эпизодически обращались и отечественные исследователи[8]. Однако, учитывая сколь значительное место обсуждение этой проблемы занимает в современной англоязычной философской литературе, нельзя сказать, что эта тема в полной мере освоена отечественными философами. В сложившейся ситуации представляется, что русскоязычному читателю было бы небезынтересно ознакомиться не только с интерпретациями, но и с одним из важнейших источников этой дискуссии. Дело в том, что имеющийся русский перевод М.С. Козловой и Ю.А. Асеева «Заметок по основаниям математики» сделан по первой редакции, поэтому включенные в третье издание материалы и в том числе крайне важный *Раздел VI*, относящийся исключительно к проблеме следования правилу, здесь отсутствуют[9]. Нижеследующая публикация в русском переводе *Раздела VI* третьего издания стремится компенсировать этот пробел.

---

[7] См.: Крипке С. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке. Томск, 2005; Бейкер Г.П., Хакер П.М.С. Скептицизм, правила и язык. М., 2007 (в печати).

[8] См., например, статьи Грязнова А.Ф. и Сокулер З.А. в сборнике: Философские идеи Людвига Витгенштейна. М., 1996.

[9] См.: Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. II. Кн. I. М., 1994.

ЗАМЕТКИ ПО ОСНОВАНИЯМ МАТЕМАТИКИ*
Раздел VI
(около 1943–1944)

Людвиг ВИТГЕНШТЕЙН

1. Доказательства упорядочивают предложения. Они придают им взаимосвязь.

2. Понятие формальной проверки предполагает понятие правила преобразования и, значит, техники.

Ибо только посредством техники мы можем *понять* регулярность.

Техника является внешней по отношению к изображению доказательства. Можно точно видеть доказательство, но не понимать его как преобразование в соответствии с этим правилом.

Наверное, человек будет называть сложением чисел …, дабы посмотреть, дают ли они 1000, формальную проверку цифр. Но все-таки это происходит *только* тогда, когда сложение является практикуемой техникой. Ибо как в противном случае этот процесс мог бы быть назван некой проверкой?

Только в рамках *техники* преобразования доказательство является формальной проверкой.

Когда ты спрашиваешь, по какому праву ты высказываешь это правило, ответом является доказательство.

По какому праву ты это говоришь? По *какому* праву ты это говоришь?

Как ты проверяешь тему контрапунктного свойства? Ты преобразуешь ее в соответствии с *этим* правилом, ты объединяешь ее так-то и так-то с другим правилом и тому подобное. Так ты получаешь определенный результат. Ты получаешь его, как получил бы посредством эксперимента. Быть может то, что ты делаешь, даже и является экспериментом. Слово «получаешь» используется здесь с учетом времени; ты получил этот результат в три часа. – В математическом предложении, которое я формулирую затем, глагол («получает», «составляет» и т.д.) употребляется вневременно.

Действие проверки принесло такой-то и такой-то результат.

---

*Перевод сделан по изданию: Wittgenstein L. Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1974.

При поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 05-03-03402. – *Прим. пер.*

До сих пор проверка была, так сказать, экспериментальной. Теперь она понимается как доказательство. И доказательство – это *образ* проверки.

Доказательство, как и применение, образует фон предложения. Оно выставляется вместе с применением.

Доказательство – это путь проверки.

Проверка является формальной только постольку, поскольку мы понимаем результат как результат формального предложения.

3. И если этот образ оправдывает предсказание – то есть, если тебе нужен был только он, чтобы увидеть и убедиться, что процесс будет протекать так-то и так-то – тогда этот образ естественно оправдывает также и правило. В этом случае доказательство стоит за правилом, как и образ, который оправдывает правило.

Ведь почему образ движения механизма оправдывает убеждение, что данное движение – это способ, которым всегда действует механизм. – Он дает нашей уверенности определенное направление.

Когда предложение при применении кажется не верным, то доказательство все-таки должно показать мне, как и почему оно *должно* быть верным; то есть, *как* я должен примирить его с опытом.

Таким образом, доказательство есть также руководство к использованию правила.

4. Как доказательство оправдывает правило? – Оно показывает, как и, тем самым, почему правило может использоваться.

Королевский слон показывает нам, *как* 8 × 9 дает 72 – но здесь правило счета не признается за правило[1].

Королевский слон показывает нам, *что* 8 × 9 дает 72: теперь мы признаем это правило.

Должен ли я говорить: королевский слон показывает мне, как 8 × 9 *может* дать 72; то есть он показывает мне *некий* способ?

Процесс показывает мне, как получается результат.

В том отношении, в котором 8 × 9 = 72 есть правило, оно, естественно, не намеревается сказать, что показывает мне, *как* 8 × 9 = 72; если оно не подразумевает следующее: кто-нибудь показывает мне процесс, через рассмотрение которого приходят к этому правилу.

Но разве прохождение любого доказательства не является таким процессом?

Подразумевает ли его нечто следующее: «Я хочу показать тебе, как 8 × 9 изначально давали 72»?

5. Странно, что предложение должно быть в состоянии указывать на образ! Как если бы здесь сам образ принимал на себя роль реальности. – Но все же это не так: ибо из образа я вывожу только правило. И это правило не относится к образу так, как предложение опыта к реальности. – Образ, конечно, не показывает, что происходит то-то и то-то. Он только показывает, что то, что происходит, может *так* пониматься.

Доказательство показывает, как беспрепятственно поступать в соответствии с правилом.

---

[1] Редакторы английского издания (Wittgenstein L. Remaks on Foundations of Mathematics. Oxford, Basil Blakwell, 1978) указывают, что речь здесь идет о шахматной фигуре, но затрудняются сказать, какую именно практику подсчета имеет в виду Витгенштейн. – *Прим. пер.*

Значит, можно также сказать: процесс, доказательство показывает мне, в какой мере $8 \times 9 = 72$.

Образ, конечно, показывает мне не то, что происходит нечто, но то, что происходящее всегда позволяет смотреть на себя таким образом.

Мы подведены к следующему: эта техника применяется в этом случае. Я подведен к этому и постольку, *поскольку* я в чем-то убежден.

Смотри, так 3 и 2 дают 5. Запомни этот процесс. При этом ты сразу запомнишь правило.

6. Евклидово доказательство бесконечности ряда простых чисел могло быть проведено так, что исследование чисел между p и $p! + 1$ проводилось бы на одном или более примерах, и так научали бы технике исследования. В таком случае, сила доказательства, конечно, не состояла бы в том, что в *этом* примере было бы найдено простое число $> p$. И на первый взгляд это странно.

Теперь говорят, что алгебраическое доказательство строже, чем доказательство посредством примеров, поскольку оно представляет собой, так сказать, экстракт действенного принципа этих примеров. Но ведь алгебраическое доказательство также облачено в *некое* одеяние. Понимание – я мог бы сказать – необходимо в обоих случаях!

Доказательство учит нас технике нахождения простого числа между p и $p! + 1$. И мы убеждаемся, что эта техника всегда должна приводить к простому числу $> p$. Или что мы обсчитались, если этого не происходит.

Можно ли здесь склоняться только к тому, чтобы сказать, что доказательство показывает нам, *как* существует бесконечный ряд простых чисел? Теперь это можно сказать. И во всяком случае: «Поскольку существует бесконечно много простых чисел». Ведь также можно было бы вообразить, что мы имеем доказательство, которое вполне определенно говорит нам, что существует бесконечно много простых чисел, но не научает нас находить простое число $> p$.

Теперь, пожалуй, скажут: «Но, несмотря ни на что, оба эти доказательства доказывают одно и то же предложение, один и тот же математический факт». И неважно, могла бы наличествовать подходящая причина сказать это или нет.

7. Зритель видит целостный, впечатляющий процесс. И он в чем-то убеждается; он получает особое впечатление. Он покидает зрелище убежденный в чем-то; убежденный (например), что он придет к тому же результату с другими числами. Он готов выражаться так-то и так-то согласно своему убеждению. Убеждению в чем? В психологическом факте?

Он говорит, что сделал вывод из того, что видел. – Но *не* как из эксперимента. (Подумай над периодическим делением).

Может ли он сказать: «То, что я видел, было очень впечатляющим. Оттуда я сделал вывод. В будущем я буду …»?

(Скажем: В будущем я всегда буду вычислять *так*.)

Он рассказывает: «Я видел, что это должно быть так».

«Я осознал, что это должно быть так» – так он говорит.

Сейчас он, пожалуй, мысленно пробегает процесс доказательства.

Но он не говорит: я понял, что происходит *это*. Но: что это должно быть так. Это «должно» показывает, какого рода урок он извлек из этого эпизода.

«Должно» показывает, что он описал круг.

Для этого я решаюсь рассматривать вещи *так*. А значит, так-то и так-то действовать.

Я полагаю, что тот, кто видит этот процесс, сам извлечет из него мораль.

«Это должно быть так» означает, что результат разъясняется как существенный для этого процесса.

8. Это *должно* показывает, что он предполагал понятие.

Это *должно* означает, что он впал в круг.

Вместо естественно-научного предложения он вычитал из процесса определение понятия.

Понятие означает здесь метод. В противоположность применению метода.

9. Смотри, *так* 50 и 50 дают 100. Скажем, к 50 пять раз прибавляют 10. И прослеживают увеличение числа до 100. Здесь, конечно, был наблюдаемый процесс, процесс счета определенным способом (скажем, на счетах), доказательство.

Значением «*так*», конечно, не является то, что говорит предложение «50 + 50 = 100»: это имеет место где-то еще. Оно также не таково, как если я говорю: «Смотри, лошадь скачет галопом так» – и показываю ему образ.

Но можно сказать: «Смотри, *вот почему* я говорю "50 + 50 = 100"».

Или: «Смотри, *так* получается 50 + 50 =100».

Но если я теперь говорю «Смотри, *так* 3 + 2 дают 5» и при этом кладу на стол 3 яблока, а потом еще 2, то я хочу сказать: 3 яблока и 2 яблока дают 5 яблок, если ничего не опускается и не добавляется. – Или можно было бы кому-нибудь также сказать: «Если ты (так же, как я) положишь на стол 3 яблока, а потом еще 2, то почти всегда случается то, что ты видишь сейчас, и теперь там лежит 5 яблок».

Приблизительно, я хочу показать ему, что 3 яблока и 2 яблока не дают 5 яблок *так*, как они могли бы дать 6 яблок (если бы вдруг так показалось). Это – действительно объяснение, определение операции сложения. И действительно, так ведь можно было бы объяснить сложение на счетах.

«Если мы считаем 3 вещи за 2, то в итоге можем получить иную численность вещей. Но как *норму* мы рассматриваем процесс, что 3 вещи и 2 вещи дают 5 вещей. Смотри, когда они дают 5, это выглядит *так*».

Разве нельзя сказать ребенку: «Покажи мне, как 3 и 2 дают 5». И ребенок после этого должен был бы на счетах посчитать 3 + 2.

Когда, обучая ребенка считать, спрашивают «Как 3 + 2 дают 5?» – что он должен показать? Очевидно, он должен только пододвинуть три костяшки к 2 костяшкам и затем посчитать эти костяшки (или нечто подобное).

Разве нельзя сказать: «Покажи мне, как эта тема задает канон». И тот, кого спросили об этом, должен теперь доказать, что она действительно задает канон. – Можно было бы спросить «*как*», если хотеть, чтобы некто показал, что он действительно понимает, о чем здесь идет речь.

И если ребенок теперь показывает, как 3 и 2 дают 5, он показывает процесс, который может рассматриваться как основание правила «2 + 3 = 5».

10. Но предположим, ученика просят: «Покажи мне, как существует бесконечно много простых чисел». – Здесь сомнительной является грамматика! Но здесь приемлемо сказать: «Покажи мне, в какой мере можно говорить, что существует бесконечно много простых чисел».

Когда говорят «Покажи мне, что существует …», то вопрос *существует ли* уже поставлен, и остается только сказать «да» или «нет». Но

если говорят «Покажи мне, *как* существует …», то языковая игра есть то, что прежде всего нуждается в объяснении. В любом случае, нет *ясного* понятия о том, что вообще нужно делать с этим утверждением. (Так сказать, спрашивается: «Как вообще может быть оправдано это утверждение?»)

Должен ли я давать разные ответы на вопросы: «Покажи мне, *как*…» и «Покажи мне, что …»?

Из доказательства ты извлекаешь теорию. Если ты извлекаешь теорию из доказательства, то ее смысл должен быть независим от доказательства; ибо иначе теорию никогда нельзя было бы отделить от доказательства.

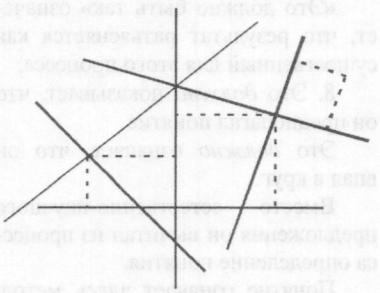
Сходным образом, как я могу удалить линии конструкции на рисунке, а остальное оставить нетронутым.

Значит, дело обстоит так, как если бы доказательство не определяло смысл доказанного предложения; и все же, как будто оно определяет его.

Но разве так не происходит с каждой верификацией каждого предложения?

11. Я убежден: только в более широком контексте вообще можно говорить, что существует бесконечно много простых чисел. Это означает: для этого уже должна существовать распространенная техника счета кардинальных чисел. Только в рамках такой техники это предложение получает смысл. Доказательство предложения задает ему место в целостной системе вычислений. И это место теперь может быть описано более чем одним способом, ведь эта целостная сложная система все еще предполагает фон.

Если, например, 3 системы координат упорядочены друг относительно друга определенным способом, то я могу теперь определить положение точки относительно всех них посредством того, что я задал его относительно какой-то одной.



Ведь доказательство предложения не упоминает и не описывает всю систему вычисления, которая стоит за этим предложением и задает его смысл.

Предположим, что взрослый человек с интеллектом и опытом выучил только первые элементы счета, скажем, четыре основных операции с числами до 20.

При этом он также выучил словосочетание «простое число». И ему некто говорит: «Я докажу тебе, что существует бесконечно много простых чисел». Ну и как он сможет доказать ему это? Он должен *научить его считать*. Здесь находится часть доказательства. Он должен, так сказать, прежде всего придать смысл вопросу «Существует ли бесконечно много простых чисел?».

12. На *этом* уровне познания философия должна избавиться от искушения неверного понимания. (На другом уровне существуют новые искушения.) Но это не облегчает философствования!

13. Разве не абсурдно говорить, что смысл последней теоремы Ферма непонятен? – И можно ответить: математики ведь *вовсе не* обескуражены в ее отношении. Во всяком случае, они все-таки пробуют применить известные методы доказательства; и *поскольку* используются эти методы, постольку они понима-

ют это предложение. – Но правильно ли это? *Понимают* ли они ее не столь всеобъемлюще, насколько ее можно понимать?

Теперь мы предполагаем вопреки ожиданиям математиков, что было доказано противоположное. Значит, теперь показано, что этого *не может* быть вообще.

Но разве я не должен знать, чтобы знать, что говорит предложение типа предложения Ферма, каким является критерий для того, чтобы это предложение было истинным? И мне, конечно, известен критерий истинности *подобных* предложений, но не критерий истинности этого предложения.

«Понимать» – это смутное понятие.

Во-первых, есть нечто типа: *убеждение* в понимании предложения.

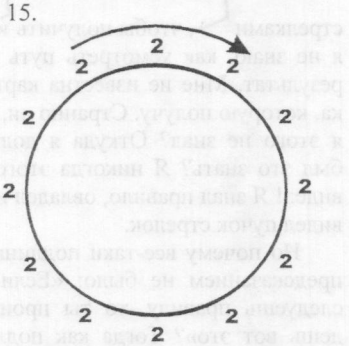
И если понимание есть психический процесс – почему он должен нас так сильно интересовать? Разве не опыт связывает его со способностью употреблять это предложение.

«Покажи мне как …» означает: покажи мне в каком контексте ты употребляешь это предложение (эту часть механизма).

14. «Я показываю тебе, как существует бесконечно много простых чисел» предполагает условие, при котором предложение, что существует бесконечно много простых чисел, для другого не имело или имело бы только смутное значение. В отношении него это могло бы быть только шуткой или парадоксом.

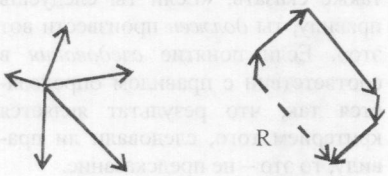
Если этот процесс тебя убеждает, тогда он должен быть очень впечатляющим. – Но таков ли он? Ничего подобного. Почему не нечто *большее*? Я убежден, что он был бы впечатляющим, если бы объяснялся коренным образом. Например, если бы не просто записывалось $p! + 1$, но прежде объяснялось и иллюстрировалось примерами. Следовательно, если бы эти техники не предполагались в качестве чего-то само собой разумеющегося, но чего-то собой представляющего.

15.



Мы копируем знак «2», все время двигаясь по кругу вправо до конца. Если мы копируем правильно, то последний знак, вновь будет копией первого.

Языковая игра:

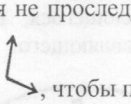


Один человек (*A*) предсказывает результат другому (*B*). Другой, проявляя любопытство, следует стрелкам с напряженным вниманием так, как они его направляют, и радуется тому, что они в конце концов приводят его к предсказанному результату. Он реагирует на это приблизительно так, как реагируют на остроту.

A мог простроить результат заранее или только угадать. *B* не знает об этом и это его не интересует.

Если бы он даже знал правило, он все равно не следовал бы ему *таким образом*. Сейчас он *делает* нечто *новое*. Даже если путь уже пройден, все-таки есть любопытство

и удивление. Можно перечитывать историю снова и снова, даже знать ее наизусть и все же вновь удивляться определенному повороту.

Пока я не проследую за обеими стрелками  , чтобы получить R, я не знаю, как усмотреть путь или результат. Мне не известна картинка, которую получу. Странно ли, что я этого не знал? Откуда я должен был это знать? Я никогда этого не видел! Я знал правило, овладел им и видел пучок стрелок.

Но почему все-таки подлинным предсказанием не было: «Если ты следуешь правилу, то ты произведешь вот это»? Тогда как подлинным предсказанием определенно является следующее: «Если ты следуешь правилу, руководствуясь знанием и добросовестно, то ты …». Ответ таков: первое не является предсказанием, поскольку я мог бы также сказать: «Если ты следуешь правилу, ты *должен* произвести вот это». Если понятие *следования* в соответствии с правилом определяется так, что результат является критерием того, следовали ли правилу, то это – не предсказание.

A говорит: «Если ты будешь следовать правилу, то получишь вот *это*», или он просто говорит: «Ты получишь вот это». При этом он прочерчивает туда результирующую стрелку.

Так было ли то, что сказал *A* в этой игре, предсказанием? Черт побери, в определенном смысле – Да! Не становится ли это особенно ясным, когда мы предполагаем, что предсказание *ошибочно*? Это не было бы предсказанием только в том случае, когда данное *условие* преобразовывает предложение в плеоназм.

A мог бы сказать: «Если ты находишься в согласии с каждым своим шагом, то придешь *к этому*».

Предположим, что пока *B* вычерчивал многоугольник, стрелки пучка немного изменили свое направление. *B* всегда проводил стрелку параллельно, как он делает в данный момент. Теперь он удивлен и взволнован так же, как в предыдущей игре, хотя здесь результат не является результатом вычисления. Значит, он воспринял первую игру так, как вторую.

«Если ты следуешь правилу, то дойдешь до туда» не является предсказанием постольку, поскольку это предложение просто говорит: «Результатом этого вычисления является …» – а это есть истинное или ложное математическое предложение: намек на будущее и на тебя самого – просто одеяние.

Должен ли *A* вообще иметь ясное понятие о том, понимается ли его предсказание математически или как-то иначе? Он просто говорит «Если ты следуешь правилу, то придешь к…» и испытывает удовольствие от игры. Если, например, предсказание ни к чему не приводит, то он не проводит дальнейшего исследования.

16. И этот ряд определяется посредством правила. Или также натаскиванием на образ действия в соответствии с правилом. И неумолимым предложением является то, что в соответствии с этим правилом это число следует за тем[2].

[2] Улучшение и дополнение к четвертому предложению § 4 Раздела I гласит: «А что, если этот ряд вовсе не определяется такой последовательностью?». В одном варианте, относящемуся к тому же периоду, что и стоящее выше, затем идет: «Не последовательностью, но правилом, или натаскиванием на употребление правила». – *Прим. пер.*

Но это предложение не является предложением опыта. Почему оно не предложение опыта? Все-таки, правило есть нечто такое, согласно чему мы движемся вперед и производим одну цифру из другой. Но разве опыт не заключается в том, что это правило ведет кого-то отсюда туда?

И если правило + 1 однажды привело его от 4 к 5, то, быть может, в другой раз оно приведет его от 4 к 7. Почему это невозможно?

Спрашивается, что мы воспринимаем как критерий образа действия в соответствии с правилом? Является ли таковым, например, чувство удовлетворения, которое сопровождает акт действия в соответствии с правилом? Или интуиция (вдохновение), которая говорит мне, что я действую правильно? Или это определенное практическое прослеживание действия, которое определяет, действительно ли я следовал правилу? – Тогда, пожалуй, 4 + 1 иногда давали бы 5, а иногда что-нибудь другое. Вполне допустимо, что это означает: экспериментальное исследование показало бы, всегда ли 4 + 1 дает 5.

Если то, что правило ведет от 4 к 5, не должно быть предложением опыта, то *это*, результат, должно восприниматься как критерий того, что действовали согласно правилу.

Значит, истина предложения, что 4 + 1 дает 5, так сказать, *переопределена*. Переопределена посредством того, что результат операции считается критерием того, что эта операция осуществлена.

Это предложение покоится на множестве подпорок, чтобы быть предложением опыта. Оно становится определением понятия «применение операции + 1 к 4». А именно, теперь мы можем в новом смысле судить, следует ли некто правилу.

Отсюда, 4 + 1 = 5 теперь само является правилом, в соответствии с которым мы оцениваем процессы.

Это правило есть результат процесса, который мы принимаем за основополагающий для оценки других процессов. Обоснованный правилом процесс есть доказательство правила.

17. Как описывают процесс обучения правилу? – Всегда, когда *A* хлопает в ладоши, *B* должен делать так же.

Вспомни, что описание языковой игры уже является описанием.

Я могу натаскать кого-то на *равномерную* деятельность. Скажем, проводить карандашом на бумаге линию следующего вида:

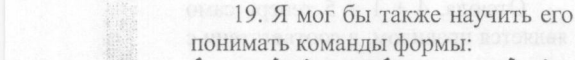
Теперь я спрашиваю себя: «Итак, что, как мне хочется сказать, он должен сделать?» Ответ следующий: «Он всегда должен продолжать так, как я ему показал». А что я, собственно, подразумеваю под «Он всегда должен продолжать так»? Лучший ответ на это, который я могу себе дать, – это пример, который я только что дал.

Я мог бы употребить этот пример, чтобы сказать ему, а также *самому себе*, что я подразумеваю под равномерным.

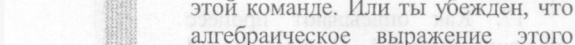
Мы разговариваем и действуем. Это уже предполагается во всем, что я говорю.

Я говорю ему «Так будет правильно», и это выражение является носителем интонации, жеста. Я препоручаю его этому. Или я говорю «Нет!» и сдерживаю его.

18. Означает ли это, что «следование правилу» неопределимо? Нет. Я все равно могу определить его несметным количеством способов. Только от определений в этих рассмотрениях мне не будет никакой пользы.

19. Я мог бы также научить его понимать команды формы:

(Читатель догадается, что я имею в виду.)

Итак, что я хочу, чтобы он сделал? Лучший ответ, который я могу себе дать, это еще раз следовать этой команде. Или ты убежден, что алгебраическое выражение этого правила предполагает меньше?

Теперь я натаскиваю его следовать правилу  и т.д.

И снова, я сам не знаю, что же я хочу от него еще, кроме того, что мне показывает сам пример. Я, конечно, могу перефразировать правило во всевозможных формах, но это сделает его более понятным только для того, кто уже может следовать этим парафразам.

20. Значит, примерно так я обучал человека считать и умножать в десятичной системе.

«365 × 428» – это команда, и он выполняет ее тем, что выполняет умножение.

При этом мы настаиваем на том, что одинаковые условия задачи всегда сопровождаются одинаковым изображением умножения и, значит, одинаковым результатом. Различные изображения умножения с одинаковыми условиями задачи мы отклоняем.

Бывает ситуация, что вычисляющий ошибается при вычислении; а также ситуация, что он исправляет ошибки в вычислении.

Дальнейшая языковая игра является следующей: Его спрашивают «Сколько будет "365 × 428"»? Он может ответить на этот вопрос двояко. Либо он выполнит умножение, либо, если он уже сделал это раньше, он предоставит полученный прежде результат.

21. Применение понятия «следование правилу» предполагает привычку. Поэтому было бы бессмысленно сказать: только однажды в мировой истории некто следовал правилу (или указателю; играл в игру, произносил предложение или понимал его и т.д.).

Здесь нет ничего сложнее, чем избежать плеоназмов, и просто сказать, что нечто действительно описывает.

Ибо здесь преодолевается искушение сказать нечто еще, когда все уже описано.

Величайшую важность имеет то, что между людьми почти никогда не возникает спор о том, является ли цвет этого предмета таким же, как и цвет того является ли длина этого бруска такой же, как и длина того, и т.д. Это мирное согласие является характерным окружением употребления выражения «тот же самый».

И аналогичное нужно сказать о действии согласно правилу.

Не возникает спора о том, действовали согласно правилу или же нет. Дело, например, не доходит до насильственных действий.

Это принадлежит строительным лесам, на которых действует наш язык (например, дает описание).

22. Теперь некто говорит, что в ряду кардинальных чисел, подчиняющихся правилу + 1, технике которого мы были обучены так-то и так-то, 450 следует за 449. То, что мы переходим от 449 к 450, когда нам случается применить операцию + 1 к 449, не является предложением опыта. Скорее, предписанием является то, что мы только тогда применяем эту операцию, когда результатом является 450.

Дело обстоит так, как если бы мы утвердили предложение опыта в качестве правила. И теперь у нас есть не гипотеза, которая проверяется на опыте, но образец, с которым опыт сравнивается и в соответ-

ствии с которым оценивается. Значит, некий новый вид суждения.

А именно, следующее суждение: «Он вычислял 25 × 25, при этом был внимателен и добросовестен и получил 625»; и другое суждение: «Он вычислял 25 × 25 и получил 615 вместо 625».

Но разве оба суждения не приводят к одному и тому же?

Арифметическое предложение не является предложением опыта: «Когда я делаю *это*, я получаю *это*» – где критерием для того, что я делаю *это*, не может быть то, что при этом получается.

23. Разве мы не можем вообразить, что при умножении главным образом все зависит от концентрации ума на определенном способе действия и что при одинаковых исходных положениях не всегда получается одно и то же, но для определенных практических проблем, которые мы хотим разрешить, выгодны как раз различия результатов?

Разве главное не в том, чтобы при *вычислении* основная тяжесть ложилась на то, правильно или ошибочно проведено вычисление за вычетом психологических обстоятельств и т.д. вычисления?

Оправдание предложения 25 × 25 = 625 состоит, естественно, в том, что тот, кто вычисляет так-то и так-то, при нормальных обстоятельствах, умножая 25 × 25, получит 625. Но арифметическое предложение не *высказывает этого*. Оно, так сказать, является предложением опыта, затвердевшим в правиле. Оно определяет, что правилу следуют только тогда, когда результат умножения является таковым. Оно, таким образом, уклоняется от проверки опытом, но служит лишь образцом для обсуждения опыта.

Если мы хотим воспользоваться вычислением на практике, то мы убеждаем себя в том, что оно было «осуществлено правильно», что получен *правильный* результат. И правильный результат умножения, например, может быть только *один* и он не зависит от того, что дало *применение* вычисления. Таким образом, мы судим о фактах при помощи вычисления совершенно иначе, чем мы это делаем, когда не рассматриваем результат вычисления как нечто раз и навсегда определенное.

В философии не эмпиризм и даже не реализм является самым трудным. (Против Рамсея.)

Ты сам понимаешь правило не больше, чем можешь объяснить.

24. «У меня есть определенное понятие правила. Если ему следуют в данном смысле, то от этого числа можно прийти только к этому числу». Таково спонтанное решение.

Но почему я говорю «Я *должен*», если это мое решение? Может ли не быть такого, что я должен решать?

То, чем является спонтанное решение, не означает ли только: так я действую, не спрашивай на каком основании!

Ты говоришь, что ты должен; но не можешь сказать, что заставляет тебя.

У меня есть определенное понятие правила. Я знаю, что я должен делать в каком-то особом случае. Я знаю, т.е. я не сомневаюсь: это очевидно для меня. Я говорю: «Это разумеется само собой». Я не могу привести основание.

Когда я говорю «Я решаю спонтанно», это, естественно, не означает: я обдумываю, какое число здесь, пожалуй, могло бы быть лучшим и затем решаю…

Мы говорим: «Во-первых, вычисление должно быть сделано правильно, и тогда можно вынести суждение о фактах природы».

25. Человек изучил правило счета в десятичной системе. Теперь он развлекается тем, что записывает число за числом в «натуральном» ряде чисел.

Или он следует команде в языковой игре «Записывай число, следующее за числом …, в ряду …» – Как могу я объяснить кому-нибудь эту языковую игру? Я могу описать пример (или примеры). – Чтобы видеть, понял ли он языковую игру, я могу поручить ему решить пример.

Предположим, некто проверяет таблицу умножения, таблицу логарифмов и т.д., так как он им не доверяет. Если он приходит к отличающемуся результату, он верит ему и говорит, что он так сконцентрировал свой ум на правиле, что его результат должен считаться правильным. Если ему указывают на ошибку, он говорит, что охотнее усомнится в достоверности своего понимания и своего разумения *сейчас*, нежели тогда, когда он прежде проводил вычисление.

Мы можем принять согласие как данное во всех вопросах вычисления. Но вносит ли это какое-то различие в то, высказываемся ли мы о предложении вычисления как о предложении опыта или как о правиле?

26. Должны ли мы тогда признавать за правило $25^2 = 625$, если мы не все и не всегда приходили к этому результату? Ладно, почему тогда мы не должны быть в состоянии использовать предложение опыта вместо правила? Разве ответ такой: «Потому что противоположное не заключается в следующем: предложение опыта не соответствует тому, что противоположно правилу»?

Когда я выписываю тебе часть ряда, тогда ты видишь в нем *ту* закономерность, которая может быть названа фактом опыта, психологическим фактом. Но *если* ты увидел в нем закон и продолжаешь ряд *так*, это уже больше не факт опыта.

Но почему это не факт опыта? – ведь «видеть *это* в нем» все-таки не *то же самое*, что и: продолжать его *так*.

Можно только сказать, что фактом опыта не является то, что этот шаг на этом уровне *объясняют* как шаг, который соответствует выражению правила.

Таким образом, ты говоришь: «Согласно правилу, которое *я вижу* в этой последовательности, она продолжается *так*». Нет: как показывает опыт! Но тому, что является смыслом этого правила.

Я понимаю: Ты говоришь «Это не так, как показывает опыт» – но то, что это не так, разве все равно не показывает опыт?

«Согласно данному правилу это продолжается *так*»: т.е. ты *задаешь* этому правилу область применения.

Но почему я не могу задать ему эту область применения сегодня, а ту завтра?

Я могу это сделать. Я мог бы, например, задавать ему одну из двух интерпретаций попеременно.

27. Если я однажды постиг правило, то я связан в том, что буду делать дальше. Но это, естественно, означает только то, что я связан в своем *суждении* о том, что соответствует правилу, а что – нет.

Если теперь я вижу правило в заданной мне последовательности – может ли оно просто состоять в том, что я, например, вижу перед собой алгебраическое выражение? Разве это не должно принадлежать языку?

Некто выписывает последовательность чисел. Наконец, я говорю: «Теперь я понимаю; я всегда должен…». А это ведь и *есть* выраже-

ние правила. *Но* все-таки только в языке!

Ведь когда я говорю, что вижу это правило – или какое-то правило – в этой последовательности? Когда, например, я могу сказать себе об этой последовательности определенным образом. Но разве также не просто тогда, когда я могу ее продолжить? Нет, я даю самому себе или кому-то другому общее объяснение того, как она должна быть продолжена. Но разве я не мог дать это объяснение только в уме и, значит, без какого-либо реального языка?

28. Некто спрашивает меня: Какого цвета этот цветок? Я отвечаю: «Красного». – Ты абсолютно уверен? Да, абсолютно уверен. Но разве я не мог обмануться и назвать «красным» ошибочный цвет? Нет. Уверенность, с которой я называю цвет «красным», есть жесткость моего критерия, жесткость, из которой я исхожу. При моем описании *она* не должна ставиться под сомнение. Это характеризует как раз то, что мы называем описанием.

(Также здесь я естественно мог бы предположить оговорку, но не более.)

Следование в соответствии с правилом находится в ОСНОВАНИИ нашей языковой игры. Оно характеризует то, что мы называем описанием.

Сходство моей трактовки с теорией относительности в том, что она, так сказать, есть трактовка часов, с которыми мы сравниваем события.

Является ли $25^2 = 625$ фактом опыта? Ты хотел бы сказать: «Нет». – Но почему нет? – «Потому что согласно правилу не может быть иначе». – Но почему? – Потому что *таково* значение правил. Потому что это – процесс, на котором мы строим все суждения.

29. Когда мы выполняем умножение, мы задаем закон. Но в чем различие между законом и предложением опыта, которым мы задаем этот закон?

Когда меня научили правилу повторять орнамент

и теперь говорят: «Продолжай так дальше», откуда я знаю, что я должен делать в следующий раз? – Теперь я делаю это с уверенностью, я буду также знать, как это защитить – а именно, до известного пункта. Если и это не должно быть защитой, тогда нет никакой.

«То, как я понимаю правило, приходит затем».

Следование правилу – это человеческая деятельность.

Я задаю правилу область применения.

Могу ли я сказать: «Смотри сюда, если я следую команде, то прочерчиваю эту линию»? В определенных случаях я буду говорить это. Когда, например, я строю кривую согласно уравнению.

«Смотри сюда! Если я следую команде, я делаю *это*!» Естественно, это не должно означать: если я следую команде, я следую команде. Значит, я должен отождествлять «это» по-иному.

«Так *вот* как выглядит следование этой команде!»

Могу ли я сказать: «Опыт учит меня: если я схватываю правило *так*, то я должен продолжать *так*?»

Этого нельзя сказать, если я отождествляю «схватывать так» с «продолжать так».

Следование правилу преобразования не более проблематично, чем следование правилу: «снова и снова записывай то же самое». Ибо преобразование есть разновидность равенства.

30. Все-таки могут спросить: если все люди, которые воспитывались так, и без того вычисляют *так* или, по крайней мере, сходятся на *этом* вычислении как на правильном, тогда для чего нужен *закон*?

«$25^2 = 625$» не может быть предложением опыта не потому, что люди вычисляют так, поскольку тогда $25^2 \neq 626$ не могло бы быть предложением о том, что люди получают не этот, а иной результат; оно также могло бы быть истинным, если бы люди не вычисляли вообще.

Согласие людей в вычислении не есть согласие во мнениях или убеждениях.

Можно ли сказать: «При вычислении правила кажутся тебе неумолимыми; если ты хочешь следовать правилу, ты чувствуешь, что можешь делать только это и ничего другого»?

«То, как я вижу правило, *это* то, что оно требует». Оно не зависит от того, настроен я так или этак.

Я чувствую, что задал правилу интерпретацию прежде, чем последовал ему; и что эта интерпретация достаточна, чтобы *определить*, что я должен делать в определенном случае, чтобы ему следовать.

Если я схватываю правило так, как я его схватил, то ему будет соответствовать только *это* действие.

«Понял ли ты правило?» – Да, я понял – «Тогда примени его сейчас к числам…» Если я хочу следовать правилу, есть ли у меня все еще какой-то выбор?

Предположим, он приказывает мне следовать правилу, и я боюсь не подчиниться ему: разве теперь я не принужден?

Но так ведь происходит и тогда, когда он приказывает мне: «Принеси мне этот камень». Принужден ли я *этими* словами в меньшей степени?

31. В какой степени может быть описана функция языка? Того, кто не владеет языком, я могу натаскать на овладение им. Тому, кто владеет, я могу напомнить манеру натаскивания или описать; для особых целей; значит, при этом я уже использую технику языка.

В какой степени можно описать функцию правила? Того, кто не владеет правилом, я могу натаскать. Но как я могу объяснить сущность правила самому себе?

Трудность здесь не в том, чтобы докопаться до основания, но в том, чтобы имеющееся для нас основание распознать как основание.

Ибо это основание снова и снова обманывает нас большей глубиной, и когда мы стремимся достичь ее, мы снова и снова обнаруживаем себя на старом уровне.

Наша болезнь – это болезнь желания объяснить.

«Если ты обладаешь правилом, твой маршрут предопределен».

32. Что за публичность существенна для того, чтобы существовала игра, чтобы игру можно было придумать?

Какое окружение требуется для того, чтобы некто мог придумать (например) игру в шахматы?

Конечно, я мог бы придумать сегодня настольную игру, в которую никогда в действительности не играли. Я просто должен описать ее. Но это возможно, только поскольку уже существуют подобные игры, т.е. поскольку в такие игры *играют*.

Можно было бы также спросить: «Возможна ли регулярность *без* повторения?»

Пожалуй, я могу сегодня задать новое правило, которое никогда не применялось, и все-таки являющееся понятным. Но разве это было бы возможно, если бы ни одно правило *никогда* в действительности не применялось?

И если теперь говорят: «Разве не достаточно применения в воображении?», то ответ – нет. (Возможность индивидуального языка.)

Игра, язык, правило суть установления.

«Но как часто правило должно применяться в действительности, чтобы иметь право говорить о правиле?» Насколько часто человек должен складывать, умножать, делить, чтобы можно было сказать, что он овладел техникой этих видов вычисления? И под этим я не подразумеваю: насколько часто он должен был вычислять правильно, чтобы доказать *другим*, что он может вычислять, но: чтобы доказать самому себе.

33. Но разве мы не можем вообразить, что некто без какого-либо натаскивания при взгляде на арифметическую задачу обнаруживает у себя такое состояние души, которое при нормальном стечении обстоятельств является результатом натаскивания и тренировки? Значит, он знал, что мог вычислять, хотя никогда не вычислял. (Значит, по-видимому, можно сказать «Натаскивание было только историей и, как показывает опыт, оно было необходимо только для порождения знания».) – Но что, если сейчас он находится в таком состоянии уверенности и умножает неверно. – Натаскиванием, конечно, можно пренебречь как просто историей, если он *постоянно* умножает правильно. Но то, что он *может* вычислять, он показывает не только другим, но и самому себе тем, что он *вычисляет* правильно.

То, что мы называем «следованием правилу» в более сложном окружении, мы определенно не назвали бы так, если бы оно находилось в изоляции.

34. Язык, мне хотелось бы сказать, относится к *образу* жизни.

Чтобы описать феномены языка, нужно описать практику, а не одноразовый процесс, *какого бы вида он ни был*.

Это очень трудно осознать.

Вообразим, что некий бог в одно мгновение сотворил страну посреди пустыни, которая существует в течение двух минут и является точным отображением части Англии со всем тем, что там происходит в течение двух минут. Все люди, так же как люди в Англии, заняты различными делами. Дети находятся в школе. Некоторые люди занимаются математикой. Теперь рассмотрим деятельность каких-нибудь из этих людей на протяжении этих двух минут. Один из этих людей делает в точности то, что делает математик в Англии, который как раз осуществляет некое вычисление. – Должны ли мы сказать, что вычисляет и этот двухминутный человек? Разве мы не можем, например, вообразить то, что предшествует и следует за этими двумя минутами, таким, что заставило бы нас называть эти процессы совершенно различными?

Предположим, что эти существа не говорят по-английски, но явно понимают друг друга в каком-то неизвестном нам языке. На каком основании мы должны сказать, что они говорят на языке? И все-таки, разве *нельзя* то, что они делают, понимать так?

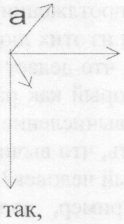
Предположим, они делают нечто такое, что мы склонны называть «вычислением»; скажем, потому что внешнее проявление выглядит похоже. – Но *является* ли это вычислением; и знают ли это люди, которые его выполняют, несмотря на наше незнание?

35. Откуда я знаю, что цвет, который я сейчас вижу, называется «зеленый»? Чтобы утвердиться в этом, я мог бы спросить других людей; но если они не согласились со

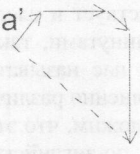
мной, должен ли я оказаться в полном замешательстве и, возможно, посчитать их или самого себя сумасшедшим. Это означает: я должен либо больше не доверять самому себе в суждении, либо не реагировать на то, что они говорят по поводу суждения.

Если я тону и кричу «Помогите!», откуда я знаю, что означает слово «помогите»? Я так реагирую в этой ситуации. – И *так* же я знаю, что называется «зеленым», и как я должен следовать правилу в отдельном случае.

Можно ли вообразить, что многоугольник сил



выглядит не так,



а иначе? Можно ли вообразить, что параллель *a* должна иметь не направление *a'*, а какое-то другое? Это означает: можно ли вообразить, что я должен рассматривать не *a'*, а иначе направленную стрелку как параллельную *a*? Я мог бы, например, вообразить, что каким-то образом видел параллельные линии в перспективе, и потому я называю ↗ ↑ параллельными стрелками, и что со мной никогда не случается такого, чтобы я использовал другой способ видения. Значит, можно вообразить, что я должен начертить другой многоугольник сил, соответствующий этим стрелкам.

36. А как насчет предложения: «Слово "*OBEN*"» имеет четыре звука»? Является ли оно предложением опыта?

Пока мы не посчитали буквы, мы не знаем этого.

Тот, кто считает буквы в слове «OBEN» для того, чтобы выяснить, сколько звуков имеет звуковая последовательность, звучащая подобным образом, делает совершенно то же самое, что и тот, кто считает для того, чтобы выяснить, сколько букв имеется в слове, которое написано там-то и там-то. Значит, первый делает нечто такое, что также могло бы быть экспериментом. И что могло бы быть основанием назвать предложение, что «OBEN» имеет четыре буквы, *априорно* синтетическим.

Слово «Plato» содержит столько же звуков, сколько пентакль углов. Является ли это предложением логики? – Является ли оно предложением опыта?

Является ли счет экспериментом? Он *может* быть таковым.

Вообразим языковую игру, в которой некто должен считать звуки в слове. Могло случиться так, что слово, по видимости, всегда имело одно и то же звучание, но если мы считаем звуки, то в различных ситуациях приходим к разным числам. Могло случиться, например, что слово казалось нам звучащим одинаково в разных контекстах (одним и тем же посредством акустической иллюзии), но при подсчете звуков различие обнаруживалось. В таком случае мы, возможно, всегда будем считать звуки слова в различных ситуациях, и это, пожалуй, будет видом эксперимента.

Но с другой стороны, возможно, что мы считаем звуки в словах раз и навсегда, делаем вычисление и используем результат этого подсчета.

В первом случае результирующее предложение имеет временный

характер, а во втором – вневременный.

Когда я считаю звуки в слове «Dädalus», я могу трактовать результат двояко: (1) Слово, которое стоит здесь (или выглядит так, или только что произнесено и т.д.) имеет 7 звуков. (2) Образ слова «Dädalus» имеет 7 звуков.

Второе предложение вневременно.

Использование обоих предложений должно различаться.

Подсчет в обоих случаях является одним и тем же. Различно только то, к чему мы посредством него приходим.

Вневременность второго предложения является, пожалуй, результатом не счета, но решения использовать результат этого счета определенным образом.

В немецком языке слово «Dädalus» имеет 7 звуков. Это все-таки предложение опыта.

Вообразим, что некто считал звуки в словах для того, чтобы обнаружить или проверить лингвистический закон, скажем, закон развития языка. Он говорит: «"Dädalus" имеет 7 звуков». Это – предложение опыта. Рассмотрим здесь *тождественность* слова. Одно и то же слово может иметь здесь то одно, то другое число звуков.

Теперь я говорю ему: «Пересчитай звуки в этих словах и запиши число для каждого слова».

Мне хотелось бы сказать: «Посредством подсчета звуков можно прийти к предложению опыта – но также и к правилу».

Сказать: «Слово … имеет … звуков – во вневременном смысле» – это предписание относительно тождественности понятия "слово …". Отсюда вневременность.

Вместо «Слово … имеет … звуков – во вневременном смысле» можно также сказать: «Слово … *по существу* имеет … звуков».

37.

$$p\,|\,p\,.\,|\,.\,q\,|\,q = p\,.\,q$$

$$p\,|\,q\,.\,|\,.\,p\,|\,q = p \vee q$$

$$x\,|\,y\,.\,|\,.\,z\,|\,u \overset{Def}{=} \|(x, y, z, u)$$

Определениям вовсе не нужно быть сокращениями; но они могли бы создавать новые взаимосвязи иным способом. Скажем, посредством скобок или же применением различных цветов для знаков.

Я могу, например, доказать предложение, указывая посредством цветов, что оно имеет форму одной из моих аксиом, но удлинено за счет определенной подстановки.

38. «Я знаю, как я должен продолжать» означает: Я не сомневаюсь, как я должен продолжать.

«Как можно следовать правилу?» Это то, что мне хотелось бы спросить.

Но как получается, что я хочу спросить это там, где я не нахожу никаких затруднений в том, чтобы следовать правилу?

Очевидно, здесь мы неверно понимаем факты, которые лежат у нас перед глазами.

Как может слово «Плита» указать мне, что я должен делать, ведь я все равно могу привести каждое действие в согласие с каждой интерпретацией?

Как я могу следовать правилу, ведь все равно, что бы я ни делал, может быть интерпретировано как следование ему?

Что я должен знать, чтобы быть в состоянии следовать команде? Существует ли *знание*, которое создает способность следовать правилу только *таким образом*?

Иногда я должен нечто *знать*, *иногда* я должен *интерпретировать* правило до того, как я применю его.

Как можно при обучении задать правилу интерпретацию, которая просчитывается до любой ступени?

И если эта ступень не была упомянута в объяснении, как тогда мы *можем* согласиться относительно того, что должно случиться на этой ступени, все равно ведь все, чтобы ни случилось, может быть приведено в согласие с правилом и с примерами?

Это значит, говоришь ты, об этих ступенях не было сказано ничего определенного.

Интерпретация имеет конец.

39. Истинно, что *все* как-нибудь может быть оправдано. Но явления языка основываются на регулярности, на согласии в действии.

Здесь величайшую важность имеет то, что мы все или подавляющее большинство из нас согласны в определенных вещах. Я могу, например, быть вполне уверен, что цвет этого предмета называется «зеленым» большинством людей, которые его видят.

Можно было бы вообразить, что люди разных племен обладали бы языками, все из которых имели бы один и тот же словарный состав, но значения слов были бы различны. Слово, которое означало зеленый у одного племени, в языке другого племени означало бы одинаковый, в языке третьего – стол и т.д. Мы могли бы даже вообразить, что племенами употреблялись одинаковые предложения, только с совершенно различным смыслом.

В этом случае я не могу сказать, что они говорят на одном языке.

Мы говорим, что люди, чтобы понимать друг друга, должны соглашаться друг с другом относительно значений слов. Но критерием этого согласия не является лишь согласие в одеянии из определений, например, указывающих определений – но *также* согласие в суждениях. Сущностным для взаимопонимания является то, что мы согласны в значительном числе суждений.

40. Языковая игра (2)[3], как я могу объяснить ее кому-то или себе самому? Всегда, когда *A* выкрикивает «Плита», *B* приносит *эту* разновидность предмета. – Я мог также спросить: как *я* ее могу понять? *Только* в той мере, в какой я могу ее объяснить.

Но здесь есть своеобразный соблазн, который выражает себя в том, что мне хочется сказать: Я не могу понять ее, поскольку интерпретация объяснения остается смутной.

То есть и тебе, и самому себе я могу дать только примеры применения.

41. Слово «согласие» и слово «правило» *родственны* друг другу, они двоюродные братья. Явления согласия и действия в соответствии с правилом взаимосвязаны.

Мог бы существовать пещерный человек, который для самого себя разработал *регулярную* последовательность меток. Он развлекал бы себя, например, тем, что чертил на стене пещеры:

– – · – – · – – · – – · или

— · — · · — · · · — · · · · —

[3] Философские исследования, § 2: «Этот язык должен обеспечить взаимопонимание между строителем *A* и его помощником *B*. *A* возводит здание из строительных камней – блоков, колонн, плит и балок. *B* должен подавать камни в том порядке, в каком они нужны *A*. Для этого они пользуются языком, состоящим из слов: «блок», «колонна», «плита», «балка». *A* выкрикивает эти слова, *B* доставляет тот камень, который его научили подавать при соответствующей команде. – Рассматривай это как завершенный примитивный язык». – *Прим. пер.*

Но он не следует общему выражению правила. И мы говорим, что он действует регулярно не потому, что мы можем построить такое выражение.

Но если теперь он продолжает ряд в числе π после запятой! (Я не подразумеваю общего выражения правила).

Только в практике языка слово может иметь значение.

Конечно, я могу задать правило самому себе и затем ему следовать. – Но не является ли оно правилом только потому, что оно аналогично тому, что называется «правилом» в общении людей?

Когда дрозд в своей песне раз за разом повторяет одну и ту же трель, скажем ли мы, что он, возможно, каждый раз задает себе правило, которому затем следует?

42. Рассмотрим очень простые правила. Выражением правила является фигура, скажем, такая:

|--|,

и правилу следуют тем, что рисуют прямой ряд таких фигур (скажем, в качестве орнамента).

|--||--||--||--||--|

При каких обстоятельствах мы сказали бы: посредством начертания такой фигуры некто задает правило? При каких обстоятельствах: некто следует этому правилу, когда он вычерчивает такую последовательность? Трудно описать это.

Если одна из двух шимпанзе однажды нацарапала на земле фигуру |--|, а другая затем ряд |--||--| и т.д., то первая могла и не задавать правило, а другая могла и не следовать ему, что бы не происходило при этом в душе каждой из них.

Но если наблюдалось, например, явление вида обучения, демонстрации и имитации, удачных и неудачных попыток, вознаграждения и наказания и тому подобное, если в конечном счете вторая шимпанзе обучилась располагать фигуры, как в первом примере, одну за другой в ряд так, как она никогда не видела ранее, то нам, пожалуй, следует сказать, что первая шимпанзе записывала правила, а другая им следовала.

43. Но что, если уже сразу шимпанзе *намеревалась* повторить этот процесс? Только в рамках определенной техники действия, проговаривания, мышления некто может намереваться сделать нечто. (Это "может" является грамматическим.)

Может быть так, что сегодня я изобрел карточную игру, в которую никогда не играл. Но это не значит сказать: в истории человечества однажды была изобретена игра, в которую никто не играл. Последнее не значит ничего. Не потому, что это противоречит психологическим законам. Слова «придумать игру», «играть в игру» имеют смысл только в совершенно определенном поведенческом окружении.

Точно так же нельзя сказать даже, что в истории человечества единственный раз некто следовал указателю. Но вероятно, можно сказать: единственный раз в истории человечества некто прогуливался параллельно рейке. И эта первая невозможность снова не является психологической.

Слова «язык», «предложение», «команда», «правило», «счет», «эксперимент», «следование правилу» относятся к технике, к привычке.

Первая ступень к действию в соответствии с правилом могла бы заключаться, скажем, в удовольствии от простых регулярностей, таких как выстукивание простых ритмов или начертание и просмотр простых орнаментов. Можно было бы обучить человека следовать команде: «начерти что-то регулярное», «стучи регулярно». И здесь снова

нужно вообразить определенную технику.

Ты должен спросить себя: при каких особых обстоятельствах мы говорим, что кто-то «просто сделал описку» или «он вполне мог сделать это, но намеренно не сделал», или «он имел намерение повторить фигуру, которую начертил, но не получилось».

Понятия «регулярное выстукивание», «регулярная фигура» уясняются нами так же, как «светлый», «грязный» или «цветной».

44. Но разве нас не направляет правило? И как может оно направлять нас, ведь его выражение все равно может быть интерпретировано нами и так, и по-другому? То есть ведь все равно ему соответствуют различные регулярности. Мы склонны сказать, что выражение правила направляет нас. Значит, мы склонны употреблять эту метафору.

Каково различие между действием в соответствии с правилом (скажем, алгебраическим выражением) выведения числа за числом в ряду и следующим действием: когда мы показываем кому-то определенный знак, например , ему на ум приходит цифра, если он видит эту цифру и этот знак, ему на ум снова приходит цифра и т.д. И всякий раз, когда мы проводим этот эксперимент, ему на ум приходит один и тот же ряд цифр. Является ли различие между этим и тем действиями в соответствии с правилом психологическим, поскольку во втором случае нечто приходило на ум? Разве я не могу сказать: «Когда он следовал правилу "|--|", ему снова и снова приходило на ум "|--|"?»

В нашем случае мы все-таки имеем интуицию, и ведь говорят, что интуиция лежит в основе действия в соответствии с правилом.

Итак, предположим, что, так сказать, магический знак создает ряд 123123123 и т.д.; не является ли *тогда* этот знак выражением правила? Нет.

Действие в соответствии с правилом предполагает узнавание *равномерности*, а знак «123123123 и т.д.» был естественным выражением равномерности.

Пожалуй, скажут, что |22| |22| |22| действительно является равномерной последовательностью цифр, а |2| |22| |222| |2222|, конечно, нет.

Но я мог бы назвать ее другим видом равномерности.

45. Но что, если бы существовало племя, представители которого, как кажется, понимали бы тот вид регулярности, который я не понимаю. То есть при этом существовали бы обучение и уроки, вполне аналогичные тем, что представлены в § 42. Если посмотреть на них, то можно было бы сказать, что они следуют правилам, учатся следовать правилам. Урок, например, состоит в согласии в действиях ученика и учителя. Но если мы смотрим на один из их рядов фигур, мы не видим никакой регулярности.

Что мы тогда должны сказать? Мы *могли бы* сказать: «Они выглядят как следующие правилу, которое ускользает от нас», но также «Здесь у нас есть проявление поведения со стороны людей, которое мы не понимаем».

Обучение действию в соответствии с правилом может быть описано без применения слов «и так далее».

Но, пожалуй, в этом описании может быть описан жест, интонация, знак, которые учитель использует при обучении специфическим образом и которым подражают ученики. Действие этих выражений также можно описать и снова без

помощи «и так далее» и, значит, конечно. Действие «и так далее» будет порождать согласие, выходящее за пределы урока, значит, оно является причиной того, что все мы или почти все одинаково считаем или одинаково вычисляем.

Но также можно было бы вообразить само обучение без «и так далее». Но, по окончании школы, люди все еще могли бы вычислять одинаково за рамками примеров этого обучения.

А что, если бы однажды обучение перестало порождать согласие?

Может ли существовать арифметика без согласия со стороны тех, кто вычисляет?

Может ли только один человек вычислять? Может ли только один следовать правилу?

Подобны ли эти вопросы, скажем, следующему «Может ли один человек заниматься торговлей»?

Говорить «и так далее» имеет смысл только тогда, когда «и так далее» *понимается*. То есть когда другой может продолжить точно так же, как я, т.е. продолжает так же, как я.

Могут ли два человека заниматься торговлей друг с другом?

46. Когда я говорю «Если ты следуешь правилу, это *должно* обнаруживаться», это не означает: должно, поскольку это всегда обнаруживается. Но: то, что это обнаруживается, есть одно из моих *оснований*.

То, что *должно* обнаруживаться, есть основание суждения, на которое я посягаю.

По какому случаю скажут: «Если ты следуешь правилу, это *должно* обнаруживаться»?

Это может быть математическое объяснение, скажем, посредством доказательства, что определенный шаг имеет разветвление. К тому же может быть так, что один говорит другому, чтобы врезалась в память сущность правила, чтобы сказать нечто следующее: «Здесь ты *не* экспериментируешь».

47. «На каждой ступени я ведь совершенно точно знаю, что я должен делать; что правило требует от меня». Правило, как я его схватил. Я не обдумываю, что к чему. Образ правила делает ясным, как должен продолжаться ряд.

«На каждой ступени я ведь знаю, что я должен делать. Я вижу это для себя совершенно ясно. Это может быть скучным, но нет сомнения в том, что я должен делать».

Откуда эта уверенность? Но почему я задаю этот вопрос? Разве не достаточно, что эта уверенность существует? Что я должен усмотреть в качестве ее источника? (И ведь я могу указать ее *причины*.)

Когда тот, кому мы боимся не повиноваться, приказывает нам следовать правилу …, которое мы понимаем, мы будем выписывать число за числом без раздумий. И это есть типичный вид того, как мы реагируем на правило.

«Ты уже знаешь, как это обстоит»; «Ты уже знаешь, как оно продолжается дальше».

Я могу сейчас заставить себя следовать правилу

Подобно этому:

Но удивительно, что при этом я не теряю значения правила. Но как я могу твердо его придерживаться?

Но – откуда я знаю, что твердо его придерживаюсь, что я его не утрачиваю? Вовсе нет смысла говорить, что я твердо придерживался его, если нет для этого внешнего критерия. (Если бы я падал в мировом пространстве, я мог бы нечто удерживать, но не остановить.)

Язык есть именно явление человеческой жизни.

48. Человек производит характерное движение рукой, как если бы

он хотел сказать «Вон!». Другой медленно пятится с выражением испуга. Разве я не могу назвать этот процесс «приказанием и повиновением», даже если бы он случился лишь однажды?

Что должно означать «Разве я не могу назвать этот процесс …»? Против такого названия можно естественно возразить, что вполне мыслимо, чтобы среди людей, отличных от нас, совершенно другой жест соответствовал «Пошел вон!», и что, возможно, наш жест для этого приказа имеет у них значение протянутой в знак дружбы руки. И то, какую интерпретацию нужно дать жесту, зависит от других действий, которые предшествуют жесту и следуют за ним.

Из того, как мы употребляем слова «приказание» и «повиновение», видно, что жесты, как и слова, вплетены в сеть разнообразных отношений. Поскольку я сейчас конструирую упрощенный случай, то неясно, должен ли все-таки я называть эти явления «приказанием» и «повиновением».

Мы сталкиваемся с чуждым племенем, язык которого не понимаем. При каких обстоятельствах мы скажем, что оно имеет вождя? Что склонит нас сказать, что это – вождь, даже если он одет более убого, чем другие? Разве вождем без сомнения является тот, кому подчиняются другие?

Каково различие между ошибочным выводом и отсутствием вывода? Между ошибочным сложением и отсутствием сложения? Обдумай это.

49. То, что ты говоришь, сводится, как кажется, к тому, что логика принадлежит естественной истории человека. И это не согласуется с суровостью логического «должно».

Но логическое «должно» есть составная часть предложений логики, а они *не* являются предложениями естественной человеческой истории. Если бы предложение логики говорило: Люди согласны друг с другом таким-то и таким-то способом (и что могло бы быть формой естественно-исторического предложения), тогда противоположное этому говорило бы, что здесь в наличии *дефицит* согласия. Нет, в наличии согласие другого вида.

Согласие людей, которое является предпосылкой феномена логики, не есть согласие *мнений*, не говоря уже о мнениях относительно вопросов логики.

Перевод с немецкого
В.А. Суровцева, В.А. Ладова

О книге И.А. Бесковой «Природа сновидения. Эпистемологический анализ»[1]

А. П. КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Книга ведущего научного сотрудника сектора эволюционной эпистемологии И.А. Бесковой может быть понята читающим, только если содержание этого текста глубоко интериоризируется и переживается экзистенциально. Смыслы, которые в ней излагаются, можно усвоить, заняв особую *неотстраненную* позицию по отношению к переживаниям интимного опыта жизни своего тела и связанных с ним «субъективных коллизий».

Бескова переставляет акценты в подходе к анализу такой противоположности, как «сон–бодрствование», задавая отношение к сновидению как к специфически значимой информации, и тем самым переозначивает ценностно-смысловые заряды на полюсах этой привычной оппозиции. Нужно признать, что у современного человека технократической культуры, так называемого человека западной рациональности (отрезавшего пуповину, единившую его когда-то с матерью-природой, и утратившего некоторые из способностей архаического человека понимать и воспринимать внешний мир и себя в нем как неотъемлемые части *неделимого целого*), существует некоторое небрежение к такому естественному процессу, как сон, а тем более, пренебрежение к его продукту – сновидению, воспринимающемуся, скорее, как мешающая отдыху и рекреации досадная помеха, которую хотелось бы – да не всегда получается – устранить и игнорировать как «ночной бред». На уровне обыденного сознания западного человека закрепилось представление о том, что «сон – это, скорее, отдых от трудов, время восстановления сил, переработки впечатлений, а бодрствование – это подлинная реальная жизнь, где, собственно, и происходит событие, определяющее путь человека» (с. 9)[2]. Современная технократическая культура характеризуется явным приоритетом активности над пассивностью, созидающего труда над бездействием, бодрствования над состоянием сновидения, что с позиции ценности *меры* и *гармонии*, наследуемой европейской культурой из античности, может квалифицироваться скорее как асимметрия, перекос, «флюс». Соответственно этим приоритетам выстраивается и иерар-

[1] Бескова И.А. Природа сновидения. Эпистемологический анализ. М.: ИФ РАН, 2006. 238 с.

[2] Ссылки на страницы книги здесь и далее даются в тексте в скобках.

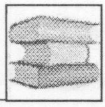
хическая пирамида критериев оценки значимости потоков информации, поставляемых с различных уровней человеческой жизни. И, конечно, устройство этой пирамиды говорит не в пользу оценки важности информации, поступающей к человеку с так называемого бессознательного уровня.

Отсюда и порядок вещей в западной культуре: ее представитель обращается к сновидениям и собственному бессознательному только тогда, когда уже не способен контролировать себя при помощи своего сознания, атакованного прорвавшимся в него хаосом бессознательных проявлений. И обращение это всегда является вынужденным и автоматически помещенным в контекст нормирующей (нежели гармонизирующей) терапии, к которой прибегают обычно уже в ситуации переворачивания иерархической пирамиды оценки значимости информации с ног на голову, когда индивид уже раздираем неврозом на части. Или хуже того – поглощенный психозом индивид и его бессознательное неизбежно становятся объектом интереса (и ответственности) соответствующих ведомств и специализированных органов, а статус психической адекватности легко трансформируется в статус невменяемости (М. Фуко).

Специфической тенденцией, пронизывающей современную западную культуру, является то, что легитимное обращение к упорядоченной работе со сновидением возможно только в рамках институционально-медицинской узкоспециализированной врачебной деятельности. Это сильно разнится с ситуацией в традиционных культурах, где навык работы со сновидениями является неотъемлемой практической частью обыденной жизни, а в некоторых из них – с раннего детства осваиваемым механизмом адаптации индивида к естественной и социальной среде и особо – к процессам жизнедеятельности собственного тела.

Предваряя основное содержание своей концепции, Бескова исследует историю отношения к сновидению и работе с ним в древних цивилизациях и традиционных культурах и приводит читателя к выводу о том, что практики обращения к сновидениям настолько разнообразны, а культурные техники, в которые они оформились, так изощренны и многофункциональны, что попытка отбросить этот специфический аспект анализа культуры была бы равноценна потере одной из самых загадочных стратегий адаптации человека к собственной природе. В Древнем Египте, античной Греции и других исторических типах цивилизаций обнаруживаются приемы обращения к источнику сновидений за советом и исцелением. Не менее яркими и удивительными, на взгляд современного человека, являются примеры интеграции специфических техник работы со сновидениями в сферу политики, образования и первичной социализации. Например, механизмом политической регуляции межплеменных отношений внутри группы народностей ирокезов (мохавк, онейда, онондага, кайюга, сенека и гурон) был ритуал «Онохаройа». Суть его заключалась в том, «что каждый год через некоторое время после первого снегопада представители разных народностей племени собирались вместе для совершения особого ритуала единения. Выбранные индейцы осуществляли длинные переходы к месту встречи. Собравшись вместе, участники с помощью масок должны были представить свои сны» (с. 58).

Примером уникальной техники работы со сновидениями, направленной в том числе и на выполнение функции первичной социализации, является практика племени сеноев – этнической группы, проживающей в горных джунглях Малайзии. «Сенои воспринимают сновидения как науку, которой с детства обучают своих детей. Каждое утро отец вместе со старшими сыновьями анализирует



сны всех своих детей. Учит их как правильно использовать толкование сна, инструктирует, каким образом поступить в следующий раз в ситуации, вызвавшей затруднение в данном конкретном случае. Так, например, если ребенку снится падение со скалы и он в ужасе просыпается, родители могут сказать, что это был очень важный, очень ценный сон, которого не нужно бояться. Это духи земли приглашали его к себе. И ничего страшного не произошло бы. В следующий раз, когда приснится что-то подобное, ребенок должен не пугаясь, мягко спланировать на землю, встретиться с обитателями той территории, на которую он опустился, постараться как можно больше узнать о месте, где побывал; если удастся, получить дары и принести их своему племени. <…> Важным является тот факт, что обсуждая совместно с другими свои сны, дети чувствуют себя социальными партнерами взрослых. Они ощущают, что приняты сообществом. Возможность передать свои переживания другим поддерживает детей, поскольку они весьма зависимы от того, как принимает их сообщество, а также от одобрения и критики взрослых» (с. 59).

Как же редуцированно выглядит место, отведенное сновидению в модернизированной культуре на фоне такого многообразия понимания ценности жизни, протекающей в сновидении, и использования его как ресурса познания и освоения мира. Несмотря на многочисленность обращений к исследованиям проблемы сна, осуществляемых в рамках современных представлений о природе сновидения (им посвящена вторая глава работы Бесковой), все они сводятся к констатации ограниченности возможностей рационально-теоретической методологии европейской научной парадигмы в попытке раскрыть суть такого феномена, как сновидение, как бы ни интересны были факты, собранные учеными о связи так называемого БДГ (быстрого движения глаз) и переживаниях тех, у кого оно наблюдается в парадоксальной фазе сна.

Третья глава работы Бесковой, на наш взгляд, самая интересная и сложная для понимания. Именно она, скорее всего, вызовет неоднозначные реакции у сторонников естественно-научной онтологии, потому что в этом разделе автор задает основные понятия и категории своей методологии, которая является попыткой представить интегративное диалоговое поле моделей анализа сновидений, укорененных в картинах мира, которые раньше традиционно не совмещались. Так, человек здесь моделируется на стыке информационно-синергетического подхода (уже легитимированного в рамках европейской научной картины мира) и представлений о человеке, восходящих корнями к традиционному знанию Востока.

Схематически уплощая предлагаемые Бесковой основания для построения нового отношения к триаде феноменов «человек как целое – телесность – сновидение», можно сказать, что триада эта рассматривается как информационно-энергетическая структура, образующаяся в результате использования приема взаимопроекций как минимум двух мыслительных плоскостей. На одной из них человек представлен как информационная (кибернетическая) система, перспектива существования которой находится в прямой зависимости от успешной переработки и усвоения потоков информации о ее собственном функционировании, поставляемых ей из различных частей самой себя и окружающей ее среды. На второй мыслительной плоскости Бесковой удается эвристически развернуть представления о человеке, выработанные в традиционных китайских и индийских системах знаний, в которых человек и мир суть энергетические взаимовлияющие

(порождающие и разрушающие) потоки энергии. На наш взгляд, важно отметить аргументированную проблематизацию Бесковой устоявшегося стереотипа об иерархической структуре управления системой «человек», которая обычно мыслится в рамках современных западных представлений как подчиненная индивидуальному «Я» человека, что, на взгляд автора, есть переупрощение и лишь идеальное представление современного западного человека о самом себе. Бескова предлагает рассматривать существование системы «человек» скорее как гетерархию, где управление поделено между сознательным «Я» и организмом–телом. Аналогично этому она проблематизирует и якобы ясную телеологию, обычно приписываемую такой системе, как «человек». В предлагаемой автором концепции в управлении системой «человек» так же гетерархированно разделены и цели, ни одна из которых не является исключительным приоритетом для системы в целом.

Кульминацией возможностей построения целостной модели человека является введение Бесковой концепта «поверхностная структура» (surface structure) и концепции диссоциированного человека. Автор выстраивает ясное объяснение сновидения как данного природой естественного механизма. Сновидение – это «бесконечно гуманный, щадящий механизм обусловливания личностного роста, духовной эволюции человека. Ведь если в реальности человек сделает неверный выбор, он пострадает реально, а может и умереть. Во сне же все обратимо. *Это удивительный вариант тренирующей практики, которая обеспечивает все плюсы успешных выборов и максимально сглаживает минусы неудач, снова и снова предоставляя человеку шанс разрешить значимую для него ситуацию, сделать тот внутренний шаг, который отделяет его от следующей ступени собственной эволюции*» (с. 162).

Предложенный Бесковой подход к сновидениям и работе с ними видится настолько эвристичным и методологически продуктивным, что имеет все задатки лечь в основу нового плана исследования культуры. Перспектива разработки и применения такой парадигмы открывает возможность провести анализ культуры в совершенно ином неожиданном ракурсе: ведь набор базовых предпосылок для нового представления культуры был заложен в рамках других подходов к исследованию культуры еще ранее. Такими предпосылками, например, являются: неоэволюционистское рассмотрение системы культуры как организма, разработанное в рамках структурализма знание о культуре как структуре отношений, возникающей в результате проекций человеческой телесности на окружающий мир и, наоборот, окружающего мира на человеческое тело, это и относительно новое представление культуры как процесса энергоинформационного обмена, разрабатываемое в рамках информационно-коммуникативного подхода. Среди информации, существующей в этом телесно-организмическом и коммуникативно-энергетическом целом культуры, до сего момента пустовало место «сновидений культуры», роль которых – и это можно предположить без особой натяжки – в культуре выполняют продукты художественного вымысла: от мифо-ритуальных практик и обрядов до современных произведений живописи, литературы, ТВ, кино и т.д.

Не менее уникален и интересен мощный философский посыл автора книги, провоцирующий в читателе припоминание, повторение и удивленную медитацию над древним вопросом о сновидческой природе сознания. Медитацию, ядром которой становится неожиданно звучащий на «языке эволюционной эпистемологии» все тот же вопрос: а не способность ли видеть сны есть источник сознания?

О книгах В.Л. Васюкова по логике[1]

И. А. ГЕРАСИМОВА

Современная логика довольно чутко реагирует на любые изменения в научной ментальности. 14 декабря 1900 г. считается датой рождения квантовой механики: Макс Планк делает в Берлине доклад «К теории распределения энергии излучения нормального спектра». Квантовый стиль мышления, в частности, инициируемый принципами дополнительности и неопределенности, не сразу вошел в научный обиход, а вопрос интерпретации квантовой теории до сих пор остается дискуссионным. На поразившие научный мир новшества математические логики отреагировали в 1936 г. выходом в свет статьи Г. Биркгофа и Дж. фон Неймана «Логика квантовой механики», которая заложила начала нового направления исследований. Авторы использовали алгебраические методы, что было привычно в то время, а сугубо логические методы многозначных систем, позднее предложенные Г. Рейхенбахом, поначалу воспринимались физиками весьма скептически. Наблюдается интересная закономерность – с изобретением новых, более мощных по своим выразительным возможностям точных средств меняются и представления о квантовой логике. Сможет ли логика дать ответ на вопрос о стратегиях мышления, адекватных для описания квантовой реальности?

В новой книге В.Л.Васюкова «Квантовая логика» говорится о втором рождении этого направления исследований. Причем автор выражает надежду на то, что наконец-то состоится конструктивный диалог физиков и логиков и станет возможным синтез теории относительности и квантовой логики.

И для специалиста-логика, и для методолога науки книга представит заслуженный интерес. Автор дает богатое содержательное введение в предмет квантовой логики, показывая, как язык квантовой физики можно представить на языках современной логики. Впервые в отечественной литературе делается систематический анализ подходов и результатов исследований в этой области. Для методологов весьма любопытно будет узнать

[1] Васюков В.Л. Квантовая логика. М.: Per Se. 2005. 192 с.; Васюков В.Л. Категорная логика. М.: АНО Институт логики. Москва. 2005. 194 с.

об истории знакомства физиков и логиков. В книге приведены интересные факты, показывающие, что мнения авторитетов копенгагенской школы относительно логических штудий и прежде всего многозначной версии квантовой логики разделялись. В литературе сформировались два устойчивых направления, отделяющих логику квантовой механики от квантовой логики. Примечательно, что в зарубежных философских исследованиях выделяется особая логико-эпистемологическая проблематика квантовой теории.

Особый интерес с точки зрения междисциплинарных исследований представляют последние три главы книги, посвященные построенной автором так называемой квантовой логике наблюдаемых. Неэффективность существующих систем квантовой логике с точки зрения физики вызвана тем обстоятельством, что математический аппарат современной квантовой теории далек от используемых в большинстве квантовологических исследований формализмов. Попытка К. Пирона перестроить квантовую теорию на основе квантовой логики, предпринятая им в 70–80-х гг. прошлого столетия, к сожалению, потерпела неудачу. В этой связи предложенная автором система квантовой логики наблюдаемых призвана преодолеть этот разрыв, поскольку ее семантика основывается на таких знакомых физику-теоретику математических структурах, как банаховы пространства, C*-алгебры, операторы на гильбертовых пространствах и т.д. В отношении философских проблем современной логики, на мой взгляд, представляются довольно оригинальными разработки автора, использующие технику комплексных чисел в описании понятия логической истинности. Структурное описание истинности высказывания, основанное на идее комплексности, позволяет учесть прагматические аспекты языка.

Возможно, потребуется немалый труд для специалиста, чтобы разобраться в мире формул и новых техник, однако для молодых и пытливых российских ученых формулы не станут помехой на пути проникновения в квантовую логику и реальность микромира.

Тенденция научного мышления к повышению его сложности проявляется, в частности, в конструировании многоуровневых структурных схем. Их упорядочивание возможно с помощью категорий, но уже более высокого порядка. С логической точки зрения встают задачи создания достаточно единообразных формальных языков, включающих выражения мета-мета-...уровней структурной иерархии языка. Одно из перспективных направлений исследований – категорная логика, которой посвящена первая в отечественной литературе по философской логике монография В.Л. Васюкова. В категорном видении дедуктивная система содержит наряду с формулами коды доказательств, преобразуемые по определенным правилам, и операции над ними. Автор показывает, что дедуктивная система может стать категорией в том случае, если задать систему тождеств для доказательств. Неоспоримым новшеством в книге является разработка теоретико-категорных семантик, которые могут соперничать с теоретико-множественными представлениями. Книга будет полезна не только специалистам, но и интересующимся современными философскими проблемами логики и математики.

НОВЫЕ КНИГИ ПО ЭПИСТЕМОЛОГИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

П. С. КУСЛИЙ

Новинки эпистемологической литературы, вышедшие в 2006 г. на английском языке, демонстрируют определенные тенденции, все четче прослеживающиеся в англо-американской философии. Главным образом, это касается антирелятивистского и антискептицистского настроя, свойственного целому ряду появившихся исследований (см. книги Богоссиана, Франкфурта, Бенсон и Стэнгрума). Также следует отметить целый ряд прикладных эпистемологических исследований (см. издание под ред. Мур и Сандерса, книги Лаудана и Руни).

Кроме этого, в свет продолжают выходить ставшие уже традиционными сборники статей ведущих эпистемологов как по классическим, так и по новым проблемам эпистемологии (в частности, сборники под ред. Сцабо и Хоуторна, Гетерингтона, а также Форда, Глаймура и Хэйеса). К сфере проблем, ставших в последние десятилетия для эпистемологии также традиционными, следует отнести противостояние экстернализма и интернализма (см. книги Бергмана и Макгрю).

Наконец, появились исследования на темы, которые вряд ли можно отнести к магистральным в современной эпистемологии (сборник под ред. Деброка и Халсвита, а также издание под ред. Матилала и Ганери).

Oxford Studies in Epistemology: Volume 1. Edited by Tamar Szabo Gendler and John Hawthorne. N. Y.: Oxford University Press, 2006. 352 p. ISBN-10: 019928590X, ISBN-13: 978-0199285907

Исследования по эпистемологии. Том 1 / Под ред. Т.С. Сцабо и Дж. Хоуторна.

Данное издание представляет новейшие статьи ведущих специалистов Северной Америки, Европы и Австралии по самому широкому спектру вопросов эпистемологии. К традиционным проблемам эпистемологии, рассмотренным в сборнике, относятся проблемы природы верования, обоснования, знания, статуса скептицизма и природы априорного знания. В качестве новых проблем эпистемологии исследуются вопросы, связанные с натурализованной эпистемологией, феминистской, социальной и аретической (virtue) эпистемологией, а также с контекстуализмом. Отдельно исследуются фундаментальные вопросы теории принятия решений, теории подтверждения в философии науки, когнитивной науки и социальной психологии.

Epistemology futures. Edited by Stephen Hetherington. N. Y.: Oxford University Press, 2006. 258 p. ISBN-10: 0199273324, ISBN-13: 978-0199273324

Будущее эпистемологии / Под ред. С. Гетерингтона.

Как становится понятно из названия, данная книга посвящена взгляду на будущее эпистемологии, т.е. на то, какими исследовательскими методами эпистемологи будут пользоваться, а какие отбросят, какие явления и концепты будут заслуживать более подробного внимания, какие препятствия стоят сегодня на пути развития эпистемологии, каковы пределы скептического аргумента, возможен ли вообще прогресс в эпистемологии в будущем и т.д. Все эти вопросы рассматриваются в предлагаемых тринадцати очерках, написанных ведущими современными специалистами в области эпистемологии, среди которых П. Черчленд, Р. Фельдман, У. Лайкан и др.

McGrew Timothy, McGrew Lydia. Internalism and Epistemology. (Routledge Studies in Contemporary Philosophy). Routledge, 2006. 224 p. ISBN-10: 041577067X, ISBN-13: 978-0415770675.

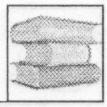
Тимоти Макгрю, Лидия Макгрю. Интернализм и эпистемология.

Считается, что статья Э. Геттиера под названием «Является ли знанием истинное обоснованное мнение?» явилась одним из серьезнейших возражений классической платоновской теории знания, так как продемонстрировала случайную природу эпистемических принципов. В связи с этим в последние десятилетия в эпистемологии имеет место противостояние между интерналистами и экстерналистами. Интерналисты утверждают, что факторы, обусловливающие обоснованность верования, должны быть внутренними, т.е. доступными для когнитивных и интроспективных способностей агента. Экстерналисты, в свою очередь, это отрицают, указывая на то, что не все факторы, делающие мнение обоснованным, доступны агенту. В данной книге авторы предлагают новую версию интерналистской эпистемологии, рассматривая аргумент о том, что экстернализм приводит не только к скептицизму, но и к нигилизму, т.е. отрицанию возможности обоснования вообще.

Bergmann Michael. Justification without Awareness: A Defense of Epistemic Externalism. N. Y.: Oxford University Press, 2006. 266 p. ISBN-10: 0199275742, ISBN-13: 978-0199275748.

Майкл Бергман. Обоснование без осознания: защита эпистемического экстернализма.

Новая книга профессора Бергмана посвящена аргументу в защиту эпистемологического экстернализма. Автор утверждает, что верование может быть обоснованным и без осознания этого со стороны его обладателя. Книга Бергмана делится на две части. Первая посвящена критике интернализма. В ней утверждается, что интерналистский аргумент приводит к бесконечному регрессу и в конечном счете к радикальному скептицизму. Вторая часть книги посвящена развитию экстерналистской теории, защищаемой автором. Важным аспектом аргумента Бергмана является утверждение о несостоятельности критики интерналистов. Данная книга не только предлагает аргумент в пользу одной из противостоящих позиций, но и представляет достаточно обширный обзор общей географии тем, обсуждаю-



щихся в рамках дискуссии интернализма и экстернализма в эпистемологии.

Boghossian Paul A. Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism. N. Y.: Oxford University Press, 2006. 152 p. ISBN-10: 019928718X, ISBN-13: 978-0199287185.

Пол Богоссиан. Боязнь знания: против релятивизма и конструктивизма.

Книга Пола Богоссиана направлена на критику постмодернистского скептицизма в стиле Р. Рорти относительно истины и знания. В ней утверждается, что мы можем прийти к знанию о том, каков мир, которое будет объективным и рациональным. Богоссиан вскрывает несостоятельность скептического аргумента, исследуя три возможных способа утверждения того, что знание конструируется социально. Один из них касается истины, два других обоснования. Автор отвергает все три, указывая на несостоятельность и даже бессмысленность каждого из них. Вопрос же об объективной истине и обосновании он рассматривает как сложный, но вполне разрешаемый современными методами философского анализа.

Benson Ophelia, Stangroom Jeremy. Why Truth Matters. Continuum International Publishing Group, 2006. 202 p. ISBN-10: 0826476082, ISBN-13: 978-0826476081.

Офелия Бенсон, Джереми Стэнгрум. Почему важна истина.

Цель данной книги – возвратить истине статус ценности, который она, по мнению авторов, утратила в XX в. вследствие распространения релятивистских и постмодернистских интерпретаций этого понятия и псевдонаучных дисциплин в университетах. Авторы борются с «модным нонсенсом», исследуя вопросы религиозного фундаментализма, отрицания Холокоста, постмодернизма и деконструкции, свободной интерпретации эволюционной биологии и т.д.

Frankfurt Harry G. On Truth. Knopf, 2006. 112 p. ISBN-10: 030726422X, ISBN-13: 978-0307264220.

Гарри Франкфурт. Об истине.

Гарри Франкфурт, профессор философии в Принстоне, автор нашумевшего философского бестселлера «О чепухе» («On Bullshit»), в котором он исследовал техники, используемые людьми для словесной манипуляции мнениями и поведением других людей. Новая книга Франкфурта исследует природу истины и в известной степени является продолжением более общего эпистемологического исследования. Автор исследует причины того, почему сегодня такие категории, как «истина» и «ложь», зачастую даже не рассматриваются как содержательные, а также то, какими могут быть последствия подобного отношения к истине. Несмотря на большое количество остроумных замечаний и примеров, данная книга представляет глубокое и серьезное исследование и совсем не является легким чтивом.

The Epistemology of Testimony. Edited by Jennifer Lackey and Ernest Sosa. N. Y.: Oxford University Press, 2006. 320 p. ISBN13: 9780199276011, ISBN10: 0199276013.

Эпистемология свидетельства. Под ред. Дж. Лэки и Э. Сосы.

Данный сборник из 12 статей посвящен одной из наиболее бурно обсуждаемых проблем современной эпистемологии – проблеме свидетельства. Мы очень часто

узнаем что-то через свидетельства других людей. Каков статус такого знания? Какие проблемы с ним могут быть связаны? Статьи написаны такими известными специалистами в области эпистемологии, как Э. Соса, К. Лерер, С. Голдберг и др. Книга разделена на пять основных разделов: 1. Свидетельство и наследие Томаса Рида, 2. Свидетельство и его место в эпистемологии, 3. Редукционизм и нередукционизм в эпистемологии свидетельства, 4. Свидетельство и степень нашей зависимости от него, 5. Новые области и направления в эпистемологии свидетельства. Редакторы сборника рассматривают его как отправную точку для более глубокого исследования знания, основанного на свидетельстве.

Thinking about Android Epistemology. Edited by Kenneth M. Ford, Clark Glymour and Patrick J. Hayes. AAAI Press, 2006. 384 p. ISBN-10: 0262562170, ISBN-13: 978-0262562171

Размышляя об андроидной эпистемологии. Под ред. Кеннета Форда, Кларка Глаймура и Патрика Хейса.

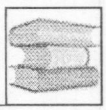
Данный сборник представляет собой обновленный и усовершенствованный вариант, выпущенный в 1995 г. издательством «MIT Press» под названием «Android Epistemology». Главной темой вошедших в книгу статей является вопрос о возможности существования других сознаний, т.е. физических систем, организованных отлично от строения человеческого мозга, но способных продуцировать знание и компетентность. Данные работы написаны ведущими специалистами в области философии и компьютерных наук, такими как Г. Саймон, Д. Деннет и П. Черчленд, и лежат в русле исследований искусственного интеллекта. В них ставятся следующие философские вопросы: (1) возможность абстрагирования операционной системы компьютера от конкретных особенностей аппаратного обеспечения, что, в свою очередь, ставит вопрос о возможности существования различных физических носителей знания и компетенции; (2) сравнение познавательных способностей человека и робота; (3) возможность творческой активности у роботов и (4) изучение каузальных связей с помощью алгоритмов.

Stanley Jason. Knowledge and Practical Interests. N. Y.: Oxford University Press, 2005. 208 p. ISBN-10: 0199288038, ISBN-13: 978-0199288038.

Джейсон Стэнли. Знание и практические интересы.

В своей новой книге профессор университета Ратгерс Джейсон Стэнли предлагает оригинальную теорию о том, что знание той или иной пропозиции определяется практическими интересами конкретного человека. Иными словами, Стэнли утверждает: знает человек нечто или нет, зависит от того, какова для него практическая выгода от знания или незнания этого. Свою позицию Стэнли защищает от нападок со стороны контекстуализма и релятивизма. Стратегии, предлагаемые автором для разрешения ряда философских парадоксов, различны и зачастую опираются на языковые свидетельства. Поэтому данная книга может представлять интерес не только для специалистов в области эпистемологии, но и для более широкого круга философов, в частности лингвистов и философов языка.

Living Doubt: Essays Concerning the Epistemology of Charles Sanders Peirce. Edited by G. De-



brock and M. Hulswit. Norwell: Kluwer Academic Publishers, 2006. 340 p.

Живое сомнение: очерки по эпистемологии Чарльза Сандерса Пирса / Под ред. Дж. Деброка и М. Халсвита.

Functional Models of Cognition. Self-Organizing Dynamics and Semantic Structures in Cognitive Systems. Edited by Arturo Carsetti. Norwell: Kluwer Academic Publishers, 2006. 312 p. ISBN-10: 0792360729, ISBN-13: 978-0792360728.

Функциональные модели в познании. Самоорганизующаяся динамика и семантическая структура в когнитивных системах / Под ред. Артуро Карсетти.

Anthropology in Theory: Issues in Epistemology. Edited by Henrietta L. Moore and Todd Sanders. Oxford: Blackwell Publishing Professional, 2006. 656 p. ISBN-10: 0631229159, ISBN-13: 978-0631229155

Антропология в теории: вопросы эпистемологии / Под ред. Г. Мур и Т. Сандерса.

Laudan Larry. Truth, Error, and Criminal Law: An Essay in Legal Epistemology. N. Y.: Cambridge University Press, 2006. ISBN-10: 0521861667, ISBN-13: 978-0521861663

Лэрри Лаудан. Истина, ошибка и уголовное право. Очерк по эпистемологии права.

Beilby James. Epistemology As Theology: An Evaluation of Alvin Plantinga's Religious Epistemology (Ashgate New Critical Thinking in Religion, Theology, and Biblical Studies). Aldershot: Ashgate Publishing, 2006. 247 p. ISBN-10: 0754638324, ISBN-13: 978-0754638322.

Джеймс Байлби. Эпистемология как теология: анализ религиозной эпистемологии Алвина Плантинги.

Speidell Todd H. On Hearing the Truth: An Epistemology of the Ear in a Postmodern World. Eugene: Wipf & Stock Publishers, 2006. 116 p. ISBN-10: 1597528056.

Тодд Спайдел. Слышать истину: эпистемология слуха в постсовременном мире.

Rooney Phyllis. Feminism and Epistemology (Understanding Feminist Philosophy). Routlege, 2006. 160 p. ISBN-10: 0415266610, ISBN-13: 978-0415266611.

Филлис Руни. Феминизм и эпистемология.

Epistemology, Logic, and Grammar in Indian Philosophical Analysis. Edited by Bimal Krishna Matilal and Jonardon Ganeri. N. Y.: Oxford University Press, 2006. 168 p. ISBN-10: 0195666585, ISBN-13: 978-0195666588.

Эпистемология, логика и грамматика в индийском философском анализе / Под ред. Б.К. Матилала и Дж. Ганери.